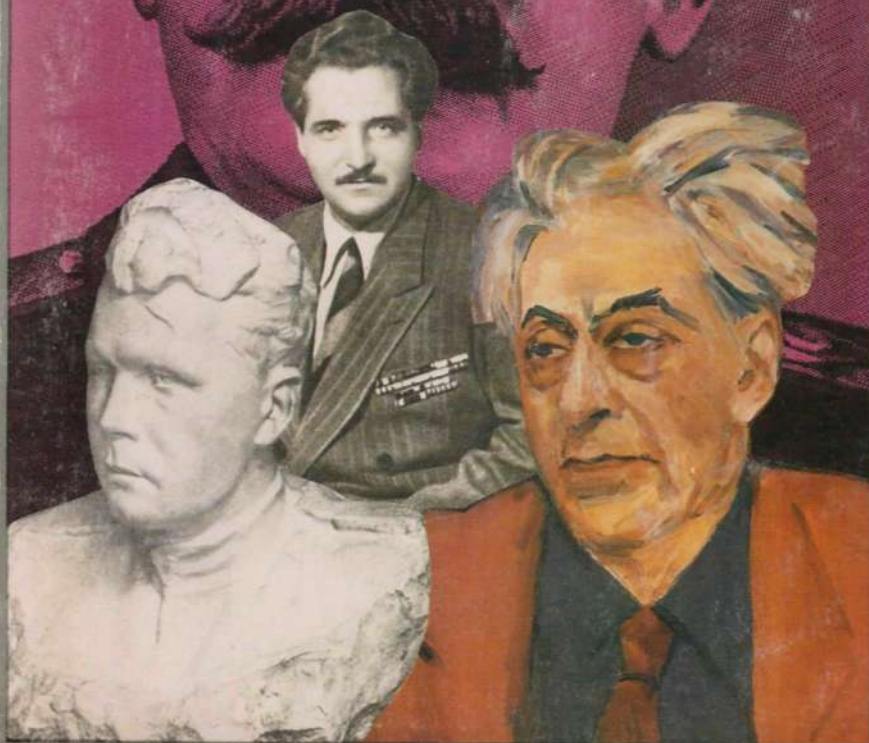


ВРЕМЯ
ИМЫ 102
1988

СТАЛИН,
СИМОНОВ
И
ДРУГИЕ



ВРЕМЯ И МЫ

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ**

Четырнадцатый год издания.

Выходит один раз
в три месяца

**102
1988**

НЬЮ-ЙОРК — ИЕРУСАЛИМ — ПАРИЖ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ И МЫ» — 1988

**ИЗДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

**ВАГРИЧ БАХЧАНЯН
ЮРИЙ БРЕГЕЛЬ
ДЖОН ГЛЭД
ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ
АРОН КАЦЕНЕЛИНБОЙГЕН
ЛЕВ НАВРОЗОВ
ГРИГОРИЙ ПОЛЯК**

**ВОЛЬФГАНГ ЗЕЕВ РУБИНЗОН
ИЛЬЯ СУСЛОВ
МОРИС ФРИДБЕРГ
ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ
СОЛОМОН ЦИРЮЛЬНИКОВ
ЕФИМ ЭТКИНД**

Израильское отделение журнала «Время и мы»
Заведующая отделением Дора Штурман
Адрес отделения: Jerusalem, Talpiot mizrach, 422/6

Французское отделение журнала «Время и мы»
Заведующий отделением Ефим Эткинд
Адрес отделения: 31 Quartier Boiedieu, 92800
PUTEAUX, FRANCE

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА	
<i>Фридрих ГОРЕНШТЕЙН</i>	
Место.....	5
<i>Сергей ДОВЛАТОВ</i>	
Жизнь коротка.....	54
<i>Максим ШРАЕР</i>	
Длинный нос.....	63
ПОЭЗИЯ	
<i>Лариса МИЛЛЕР</i>	
Во всей простоте протокольной.....	73
<i>Юрий ДРУЖНИКОВ</i>	
Замкнутый круг.....	78
<i>Белла ДИЖУР</i>	
Мы ржавые листья.....	87
ПУБЛИЦИСТИКА. СОЦИОЛОГИЯ. КРИТИКА	
<i>Александр ЯНОВ</i>	
Похвальное слово ереси.....	93
<i>ФИЛИМОНОВ</i>	
Королевство кривых зеркал.....	114
<i>Владимир ШЛЯПЕНТОХ</i>	
Сталин, Симонов и другие.....	137
<i>Елена ГЕССЕН</i>	
Театр в эпоху перестройки.....	149
<i>Белла ЕЗЕРСКАЯ</i>	
Сага о московских проститутках.....	158
ПОЛЕМИКА	
<i>Р. РАЙХЛИН</i>	
Просуществует ли Израиль до 2000 года?.....	168
<i>Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ</i>	
Пасквиль против левых вместо вдумчивого анализа.....	180
ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО	
<i>Илья ЛУКИН</i>	
Двойной гамбит Андропова.....	189
<i>Виктор ПЕРЕЛЬМАН</i>	
Московский ю р и д и ч е с к и й	218

ПРОЗА

По просьбе читателей мы публикуем еще один отрывок из романа Фридриха Горенштейна «Место», который является продолжением первых глав, опубликованных в 100 номере.



Фридрих ГОРЕНШТЕЙН

МЕСТО

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Высидевшись из троллейбуса, я остановился, обдумывая маршрут к общежитию. Время было достаточно опасное, т.е. семь часов вечера, когда открыта камера хранения Татьяны, да и комендант Софья Ивановна в такое время частенько ходила по жилым корпусам. Кроме того, была опасность наткнуться на Софью Ивановну на небольшом отрезке улицы, ведущей от троллейбуса к жилконторе и далее к общежитиям. Следовало обойти вокруг, по параллельной улице и двором пройти прямо к входу, но у меня было мало времени, и я рискнул. Слегка пригнув голову и прижимаясь к стене, я быстро пошел, исподволь бросая по сторонам взгляды и особенно ускоряя шаг в промежутках меж подворотнями...

Должен сказать, что влияние непосредственных встреч и контактов на мое положение, я, может, несколько и преувеличивал. Независимо от этого, я фигурировал в спис-

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

ках тех, кому послана повестка, и мое койко-место числилось уже потенциально свободным от меня и пригодным для приема рабочей силы, в которой трест, кстати, испытывал затруднения. Но, безусловно, такие встречи в период весеннего выселения, нервный и неустойчивый, оказывали на мое душевное состояние пагубное воздействие, а отсюда уж рукой подать до скандалов и столкновений с Софьей Ивановной, не говоря уж о Татьяне.

При нынешнем положении дел отношения мои с этими людьми могут быть либо скандальными, либо унижительными с моей стороны. Но унижение мое они, особенно Татьяна, и сами бы не приняли, и оно придало б их ожесточению против меня лишь большую уверенность. И вообще не знаю, нашел бы я сейчас для такого унижения силы в себе, хоть койко-место для меня вопрос жизни и будущее моей идеи. Это только в семнадцать лет можно смело повиснуть в воздухе и даже с веселостью принимать положение бродяги, веря при этом, что человек пропасть не может... Может пропасть, это я знаю твердо, тем более в двадцать девять лет...

Говорят, в Риме бездомные ночуют под мостами. У нас под мостами ночевать нельзя, особенно с двумя чемоданами... В первую ночь, допустим, на вокзале, а далее... К Бройдам я просить ночлег никогда не пойду, это значит осквернить и опоганить то единственное, что связывает меня с жизнью, о которой мечтаю и в которой должна развернуться и расцвести моя идея... Кроме того, вдруг они мне откажут... Нет, даже думать об этом не хочу, лучше уж к Чертогам... Ну день, ну два... Дальше-то что... В жизни наступает хаос, посещение библиотеки прекращается, в местах общественного питания быстро уходят сбережения... Ехать некуда... При моих-то нервах, плохом здоровье, к людям чужим, с которыми я не умею ладить... А здесь уже как будто все на мази, выстроен определенный порядок, нащупаны связи, построена концепция дальнейших дейст-

вий и выработан план, который начал осуществляться сегодня первым важным и трудным шагом в направлении избранного пути... Только б из-под этой мечты, начавшей воплощаться в реальность, не выдернули опору, койко-место, эту железную односпальную кровать с панцирной сеткой, служащей основанием моей великой идее, как это ни парадоксально звучит. Нет, это не смешной парадокс, это реальность... Вот почему у меня мелькали даже мысли об унижении перед теми, кто грозит лишить меня ночлега и крыши... Меня оправдывает моя идея... Но, как я сказал выше, в сложившейся ситуации, унижение пойдет лишь во вред... Остаются скандалы...

В первый год моей жизни в общежитии, будучи неопытным и злоупотребляя авторитетом и служебным положением Михайлова, я постоянно в своих отношениях с комендантом, как говорится, лез в бутылку, кричал на нее и даже грозил увольнением... (Как я был глуп и молод всего три года назад.) Не имея никогда опоры и вдруг обретя покровителя с серьезным положением, я решил, что настал мой черед и найдена возможность обрести уверенность в себе. Отсюда вспышки грубости и угрозы об увольнении комендантши руками Михайлова за ее попытки выселить меня, как жильца, не работающего в их ведомстве. Очень скоро это обольщение прошло (чему способствовало несерьезное и насмешливое отношение самого Михайлова ко мне, начавшее постепенно проявляться), обольщение прошло и я понял, что поддержка Михайлова не утверждает меня в жизни, а просто позволяет мне хоть как-то незаконно существовать в обстоятельствах, при которых отсутствие поддержки вовсе лишило бы меня возможности даже неустойчивого существования. Учитывая вышеизложенное и опыт прошлых лет, я положил в основу своей тактики отсутствие моих контактов с должностными лицами, вроде меня не существовало на период весеннего выселения. Эту тактику я успешно применял в прошлом году,

пока Михайлов не договорился и дело не утрясли.

Сейчас, пробираясь вдоль стены к общежитию, я приступил к осуществлению этой тактики. Правда, я начал с нарушения, позволив себе в столь опасный промежуток времени пойти дорогой, где вероятность встречи с комендантшей либо с Татьяной была достаточно высока. (Встречи с Маргулисом я не боялся, т.к. он не знал меня в лицо.) Оправдывало меня то, что я чересчур торопился. Я миновал благополучно улицу, однако неприятный сюрприз ожидал меня у самого входа в общежитие. И комендантша Софья Ивановна, и Татьяна в белом служебном халате, натянутом поверх телогрейки, и дворник, и уборщица, и дежурная — все стояли у входа, преграждая мне дорогу. Не буду скрывать, я испугался и растерялся чрезвычайно, метнувшись за угол соседнего корпуса. Но приглядев-шись понял, что относится это сборище не ко мне, а заметив, куда они смотрят и уловив обрывки разговоров, понял и происшествие...

В нашем корпусе, кажется, в 27-й комнате жил каменщик Адам. Имя его я узнал лишь недавно, хоть в течение трех лет мы встречались то в коридоре, то в кубовой, то в туалете, но, пожалуй, даже и не здоровались, как, впрочем, и со многими жильцами, которых знаешь лишь в лицо. Но однажды, сравнительно недавно, я встретил этого Адама в комнате у Витьки Григоренко, и Адам вдруг со мной заговорил. Слова его меня удивили и даже испугали, во-первых, от неожиданности и несоответствия его облику, а, во-вторых, почему он заговорил о том именно со мной, не нащупал ли он мое «инкогнито»?

В мире, говорил Адам, есть родственные души. Каждой душе соответствует другая родственная душа, одна определенная, душа-близнец, ее половина, отделившаяся еще при сотворении жизни. Но судьбы человеческие, может, и движутся в определенном государственном порядке, однако в ином смысле движения их хаотичны, и потому

встречи родственных душ, соединение обеих половин в единое целое редки... Чаще всего, если человеку повезет, он встречает душу, наиболее по качеству приближающуюся к своей половине и живет с ней счастливо и хорошо именно потому, что не знает о том ангельском блаженстве, ожидавшем его, встретясь он с той единственной, фактически, своей собственной. Однако помимо родственных душ существуют души-антиподы, души-враги. Каждой из душ соответствует душа-антипод, душа-враг, т.е. души, которые при сотворении жизни наиболее удалены были друг от друга... Обе они могут быть ангельски чистыми, но при встрече друг с другом в них просыпается дьявол... К счастью, такие встречи редки... Чаще мы встречаемся с теми, кто не очень от нас близок, но и не очень далек... Потому и души наши тронуты гнилью и застоєм... Я передаю его речь в более стройном виде, поскольку говорил он ломаными, неправильно построенными фразами и при этом сильно моргал обоими глазами, точно они были больны. Говорил он гораздо больше, но многого я не понял. Слушал я его в некоторой даже растерянности. Лишь когда Адам ушел и Витька рассмеялся, я опомнился и спросил:

— Кто это?

— Что Адама не знаешь? — удивился Витька.

Оказывается, Адам был давно и всем известный в общежитии тихий дурачок. Каменщик он неплохой, зарабатывал прилично, но большую часть своих денег тратил на рисованные портреты, которые заказывал в изомастерской. Эти портреты он дарил потом школам, яслям и детским садам.

— Пойдем, посмотришь, — сказал мне Витька.

Мы пошли. Я, впрочем, без особого энтузиазма. В моем положении любое отклонение от нормы может как-то совершенно неожиданно ударить по мне.

— Адам, — сказал Витька, — покажи Гоше портреты.

Адам охотно достал из чемодана большую аккуратную папку.

— Это монгольский маршал Чайболсан, — объяснял он, — это Чехов... Это Мао Дзе-Дун... Это великий путешественник Нансен... Это Хрущев... Это Мичурин...

Было у него и два портрета Сталина, но после разоблачения культа личности он их заказывать перестал, доказав тем самым известную логичность в своей деятельности. Все портреты были выполнены одинаково, в карандаше на плотной ватманской бумаге.

— Витька, — сказал Адам, — ты у столяров ваших поспрашивай... Дерево бы такое достать, которое под полировку годно... Я б сам рамок наделал. Разве в мастерской рамочки делают? Барахло...

Мне этот Адам был неприятен, и я хотел побыстрее уйти, Витька же получал удовольствие. Позднее я начал замечать, что с Адамом многие жильцы разговаривают охотно. Я же людей психически больных не люблю: они вызывают у меня брезгливость и одновременно чувство какого-то внутреннего страха. Поэтому Адама я старался избегать. Сейчас, прячась за углом соседнего корпуса, я довольно ясно различал событие у нашего корпуса, ибо событие это освещено было светом двух уличных фонарей, а также светом из окон.

Оказывается, Адам повесил на фронтоне общежития три портрета в рамках. В центре он повесил большой поясной портрет своей матери. Этот портрет очевидно срисован был с фотоснимка, и деревенская женщина в платочке напряженно и растерянно таращила глаза, хоть художник с помощью ретуши пытался ей придать более величественное выражение, желая угодить заказчику. По бокам портрета матери висели два портрета поменьше. Слева — фельдмаршал Суворов, справа — академик Павлов. Великий физиолог особенно испугал комендантшу. Суворова она узнала, а этого старика в шляпе приняла бог знает за кого.

— Я выхожу, — громко говорила уборщица Люба любопытным, — я гляжу — висят. Я гляжу, что такое, мо-

жет, праздник какой-нибудь... Гляжу — Адам мать свою повесил...

— Ты зачем это сделал, — спрашивала у стоящего тут же Адама Тэтьяна, но спрашивала весело. Она несла лишь материальную ответственность, а налицо было идейно-воспитательное нарушение, за которое должны расплачиваться комендантша Софья Ивановна и воспитатель Юрий Корш. Очевидно, дело принимало неприятный оборот, поскольку Корш, несмотря на присущий ему юмор, появился весьма встревоженный со стороны жилконторы.

— Зачем ты мать свою на общежитии повесил, — допытывалась у Адама Софья Ивановна, — ну повесил бы у себя в комнате.

— Да еще рядом с известными людьми, — добавила Тэтьяна.

— Тэтьяна Ивановна, — сказала ей Софья Ивановна несколько раздраженно, — вы б давно распорядились лестницу принести.

Я знал, что между ними противоречия, и надеялся на этих противоречиях сыграть.

— Люба, — продолжала Софья Ивановна, — немедленно достать лестницу. Не могли давно снять? Надо было ждать, пока участковый придет?

— Я сначала не поняла, — оправдывалась Люба, — думала, может, так надо...

Люба была толстая флегматичная девушка. Ко мне она относилась хорошо, в отличие от второй уборщицы Наси, измученной женщины лет тридцати, матери-одиночки, которая ко мне относилась плохо.

В смеющейся толпе были Николка Береговой, Жуков и Петров. В комнате, наверное, никого. Какая удача. Можно спокойно поесть, спокойно переодеться. Я решаюсь... Выждав, пока комендантша и Тэтьяна отойдут в противоположный конец толпы, навстречу начальнику жэка Маргулису, прибывшему лично на место происшествия, покидаю свое убежище.

Расстояние до входа не велико, но я иду медленно, поскольку слишком резким движением могу привлечь внимание. Благополучно, прячась за спинами, минуя опасный участок. Встречаюсь глазами с Жуковым. Тот с неприязнью отводит взгляд. Обиду помнит, но меня не выдаст, хотя бы потому, что не знает моей тактики. О ней никто не знает, кроме меня. И вдруг, у самой почти двери, меня замечает Адам. До того он стоял в толпе, словно происходящее его не касалось, не отвечая на вопросы, задумавшись, сильно моргая по обыкновению обоими глазами и с недовольным видом. Но заметив меня, вдруг заволновался, что-то закричал громко, показывая пальцами на портреты. Вместо того, чтоб осторожно проскользнуть внутрь, мягко приоткрыв дверь (за два года моей тактики я научился это делать хорошо), я вынужден рывком кинуться внутрь, так что двери оглушительно хлопают за спиной. Безусловно комендантша и Татьяна обратили внимание и на крик Адама и на сильно хлопнувшую дверь. Однако заметили они меня или не заметили? Вот почему я не люблю людей психически ненормальных. Психически больной не понимает бытовых подробностей окружающей жизни.

Делать нечего. Быстро бегу по лестнице на второй этаж. Так и есть, двери заперты. Нахожу ключ в условном месте под половицей. Зажигаю свет и, запыхавшись, некоторое время сижу на своей койке. Неожиданно ощутив усталость, сижу более чем следовало бы, поэтому, вскочив, начинаю чрезвычайно торопиться. Цвета Бройда просила меня не опаздывать, и это вселяло надежду на нечто интересное. Может, даже я окажусь в обществе, куда Цвета вхожа и, пожалуй, составляет часть его. Поэтому не успеваю ужинать, колбаса и томат-паста останутся на завтра, и, значит, еще более уменьшается сумма, истраченная сегодня на вино Юницкому. Вместо ужина применяю испытанное средство — конфеты. Четыре-пять карамелей, которые можно сосать на ходу, запивая водой из графина, на полчаса или даже на час снимают ощущение голода...

У меня две белые рубашки. Но одна сильно грязная, вторая же вполне терпимая, если мокрой ваткой протереть воротник. Жаль, кончился тройной одеколон, он снимает грязные полосы вообще идеально. Рубашка мятая на рукавах и спине, но спереди выглядит хорошо, тем более, одеваю я ее на байковое белье, которое она плотно облегает. Серые свои выходные брюки я заблаговременно еще со вчерашнего вечера аккуратно положил под простыню поверх матраца. Способ этот не лишен недостатков, можно так повернуться во сне, что смять брюки комком. Но если сложить их умело, и заставить себя не ворочаться, спать эту ночь только на спине, то тяжестью тела брюки разглаживаются лучше, чем в любой мастерской бытового обслуживания. Наскоро побрившись с холодной водой, я помыл лицо, заклеил порезы обрывками воценой бумажки, в которую было завернуто лезвие, и заглянул в зеркало. Пока я понравился себе не очень, но знал, что когда сниму бумажки, причешусь и одену главную часть своего туалета, то вид совершенно преобразится. Я почистил сапожной щеткой туфли (воспользовавшись тем, что в комнате никого. Во-первых, щетка Берегового, а во-вторых, чистить обувь полагалось на лестничной площадке, значит, подвергая себя опасности столкнуться с комендантшей), итак, я почистил туфли, вымыл руки, подошел к шкафу и извлек свой тяжелый плотный вельветовый пиджак, в котором сразу же исчезла и приобрела иной облик моя мятая рубашка, а за брюки я не опасался, они отлично держали стрелки. Из бокового кармана пиджака я достал зеленый галстук-бабочку, прицепил его, пригладил волосы, снял с лица высохшие бумажки и глянул в зеркало. Как я и предполагал, вид мой совершенно преобразился. На меня смотрел довольно импозантный молодой человек заграничной внешности, одетый с вызовом и даже с известной роскошью. Я достал из-за шкафа трость и глянул на себя снова. Трость вовсе сделала меня необычным и не похожим на остальных. Это была хоро-

шая полированная трость с серебряным орнаментом и надписью: «Привет из Евпатории». Подарила мне ее Ирина Бройда, старшая сестра Цветы Бройды, после того, как, обнаружив эту трость однажды у них в доме, я не расставался с ней весь вечер, опираясь на нее, жестикулируя ею и незаметно принимая всевозможные позы. Трость эта принадлежала отцу сестер Бройдов, Петру Яковлевичу, неотвратимо слепнувшему уже несколько лет и ныне почти совсем уже ослепшему. Тем не менее, невзирая на столь тяжелую болезнь, был Петр Яковлевич человек веселый, ко мне относился хорошо и мне нравился...

Пройдясь в столь роскошном наряде по комнате, я не выдержал и, нарушая все правила конспирации, вышел в коридор. Я шел наугад, но Витька был дома и играл с Рахутиным в шахматы. В углу сидел их третий жилец, старичок, и что-то выпиливал лобзиком. Царили здесь уют и приятная обстановка, о которой можно было мечтать... Григоренко и Рахутин встретили меня криками восторга.

— Сила, — сказал Витька, разглядывая мой наряд.

— Ты куда? — спросил Рахутин.

— По делам, — сказал я коротко, — слышь, Витька... Ты насчет того помнишь... О чем мы говорили...

— Насчет того, чтоб подмазать в жилконторе? — спросил Витька, — сунуть в лапу...

— Ну, ей богу, — сказал я.., — странный ты парень, — и кивнул на старичка.

— Да он глухой, — махнул рукой Витька, — все будет нормально... Тот человек сейчас уехал на два дня... Приедет — оформим.

Успокоенный окончательно, я вышел в коридор и столкнулся с воспитателем Коршем.

— Здорово, — крикнул он мне, — извини, тороплюсь... Вот Адам — сволочь... Сейчас бегай — доставай справку, что он шизофреник... Определенные органы требуют... Знаешь, что он сделал... Бегай тут из-за него... Психопомешанного... А у меня ведь сегодня свидание... Девочка —

такой я еще не встречал... Говорит со мной по телефону, и от ее голоса я дрожать начинаю... — Хоть мы оба топились, минут десять все ж простояли в коридоре в весьма предосудительной беседе. Так что, когда я вернулся в комнату, там уже были Жуков и Петров, Петров мне едва заметно кивнул, Жуков отвернулся. Я наскоро оделся, спрятал трость под пальто и вышел. Лишь на остановке троллейбуса я понял, какую совершил оплошность, кинувшись вниз без подготовки и предварительного наблюдения. Я вполне мог наткнуться на Софью Ивановну или Тэтьяну, что, к счастью, не случилось. Но происшествие это заставило меня дать самому себе клятву отныне строго и твердо выполнять все правила выработанной мной тактики.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Город наш расположен частично на возвышенности, частично в низине. Если смотреть сверху, со склонов городского парка, либо небольшого живописного и старого бульвара, открывается знаменитый вид на реку и прилегающую к ней низовую часть, вид, который спешит увидеть каждый приезжий. Особенно красив этот вид вечером. Тысячи подвижных и неподвижных огней, огни мигают, огни мягко плывут и по ним угадывается река... Я люблю здесь бывать в теплые вечера, и у меня всегда при этом невольно появляется на лице какая-то улыбка превосходства и чувство гордости собой. Глядя на эту красоту, я ощущаю собственную значительность и необычность и иногда, когда я стою в одиночестве особенно долго, а вечер не воскресный, по-настоящему тих и по-настоящему тепел, меня вдруг охватывает бесконечно сладкое чувство приобщения к своей тайне, к своему инкогнито, к своей идее, которая кажется мне чем-то родственной этой красоте. Эти тысячи огоньков кажутся мне небесными звездами, над которыми я возвышаюсь, а подлинные небесные звезды, если вечер безоблачный, теряют свою недоступность при подобной картине... Какой там Михайлов, какой

Юницкий, какой говорящий сальности Корш... Все, что меня волнует, пугает, интересуется, все, что даже я люблю, уважаю и чего хочу там внизу, здесь кажется мне смешным... Никто не может стать вровень со мной и ничего я сюда с собой не беру оттуда... Мелькают иногда какие-то дорогие воспоминания, покойная мать, да и то в конце, когда я переваливаю через высший взлет своего чувства... Отец посещает меня здесь и того реже... Причем не тот подлинный отец, который связан был дружбой с пошляком Михайловым, не тот отец, который родил меня, а тот, которого родил я в своем воображении... Повторяю, даже подобные воспоминания приходят редко и в конце, а на взлете я со своей идеей, и мир вращается вокруг меня (это называется солипсизм — считать себя центром вселенной). Я узнал научное определение своего состояния, узнал в тот вечер, к описанию которого намерен приступить. Подобное открытие обрушилось на меня тяжелым ударом. То, что моя тайна, мое «инкогнито» оказалось явлением, распространенным настолько, что даже имело научное определение подобно ишиасу или подагре, повергло меня в душевное смятение и едва не погубило идею, а, значит, и смысл моей жизни. К счастью, я растерялся ненадолго, нашел противоядие и даже укрепился в своей надежде. Хоть я к своей идее никого не допускаю, ни врагов, ни друзей, однако есть определенная закономерность в том, что Бройды, семья, где меня любят, живут именно в той части города, где идея моя, хотя бы пока в виде неопределенного символа, является мне. Я не могу себе представить, чтоб здесь располагалось наше общежитие или строительное управление механизации... Общежитий, конечно, здесь немало, и управлений разного рода, но это не мое и меня не касается... Вообще низовая часть города считалась, а может и ныне считается, худшей по сравнению с верхней частью. Раньше ее заливали наводнения. Теперь, после современных, технических новшеств, наводнения стали реже, но снег по-прежнему не тает здесь дольше, а дож-

девая вода, несмотря на водостоки, скапливается подчас в довольно больших количествах. Однако мне здесь все нравится, и имей я выбор, перебрался бы жить сюда. Низовая часть менее разрушена войной и потому более самобытна, лишена стандартов современного скоростного строительства.

Дома здесь старые, либо одноэтажные, с железным крыльцом, либо в несколько этажей с витыми пузатыми балконами. Улицы не залиты асфальтом, а вымощены стертым булыжником, тротуары вымощены такой же стертой плиткой. Даже крышки канализационных колодцев здесь со старинными надписями через «ять». Здесь много башенок, портиков, арок, приземистых складских помещений, затянутых тяжелыми гофрированными жалюзи, много вывесок, частных портных, зубных техников и сапожников. И все это тонет в зелени: сирень и акации во дворах, каштаны вдоль улиц. Низовая часть в свою очередь делится на более аристократическую, бывшую купеческую, расположенную ближе к центру, и менее аристократическую, в прошлом, главным образом, одноэтажную, вид которой во многом изменен современным строительством.

Год назад у меня там был объект на заводе бытовых автоматов по продаже газ-воды. В путевых листах шоферов в качестве свалки по вывозу грунта, указывался всемирно-известный овраг, расположенный напротив завода бытовых автоматов, чуть повыше, по шоссе. В овраге этом лежит почти все довоенное еврейское население города. В грунте часто попадаются человеческие кости. Я сам видел как окрестные подростки, раздобыв из оврага человеческий череп, пугали им девочек, убегающих со смехом и визгом. Рядом, еще чуть повыше, у кирпичных заводов до революции произошла всемирная известная история, убийство подростка, который найден был в одной из местных глинистых пещер со следами ритуального убийства, приписанного евреям... Местность эта, получившая столь всемирное звучание, хоть и в садах, но всегда

какая-то ветреная, пыльная, неудобная с большим числом строительных объектов, со столовыми, откуда несло даже не борщом, а щами. Заводы здесь были мелкие, но дымные, едкие... Правда, недалеко от оврага, полного костей, располагалась пекарня и фирменная ее булочная, где всегда продавали мягкие булочки, бойко раскупавшиеся. Но я их брезговал покупать... Эта часть города испокон веков служила сосредоточением жителей среднего и ниже среднего достатка, выбившихся из бедности, из окрестных деревень, либо опустившихся сверху из нагорной части, вследствие разорения, и потому дома здесь были полугородские, полусельские, но всегда лишенные покоя. Жили здесь большей частью люди деятельные и недовольные. Отсюда накатывались вверх до революции и в революцию бунты и погромы...

В основном здесь виды пыльные и скучные. Но есть и замечательно красивые места, особенно, когда цветет вишня... Бройды, как я уже говорил, жили в приятном и любимом мной месте, на тихой мощенной булыжником улице, в сером пятиэтажном доме, на первом этаже...

Войдя в подъезд, я вынул из-под пальто трость, оперся на нее и позвонил. Открыла мне мать Бройдов Надежда Григорьевна. На лице ее сразу же появилась радостная улыбка. Я поднял в знак приветствия обе руки вверх, хоть мне и мешала трость (этот жест радости я почерпнул на футболе. Он мне понравился, и я его в определенной приятной обстановке применял, так же как и футбольную разминку, легкое подпрыгивание с ноги на ногу, придающую мне в моих глазах и глазах этих далеких от лихостей улицы и спорта людей спортивный и физически крепкий вид). Пройдя коридор, я хотел пройти в комнату, однако навстречу мне выбежала Ира Бройда.

— Я по дверному звонку уже вас чувствую, — сказала она, блестя глазами (мы с ней были на «вы»).

— Ира, почему он сдается, когда приходит, — спросила Надежда Григорьевна.

— Каждый делает то, что ему нравится, — сказала Ира, — почему вас так давно не было, — спросила она меня, не скрывая радости от моего прихода.

— Дела, — коротко, даже сухо ответил я ей. (Напоминаю, у меня был график, по которому я не позволял себе посещать Бройдов чаще раза в неделю, чтобы не обитовить отношения.)

В комнате Цвета Бройда, уже одетая в пальто, стояла перед зеркальным шкафом. Муж ее, Вава, тоже одетый, сидел на диване. Петр Яковлевич ел у стола винегрет, послепому тыча в тарелку вилкой и подсыпая то перчика, то соли. От вида винегрета, у меня свело желудок, и к стыду своему я не мог побороть чувства тревоги и досады. Цвета уже в пальто, значит надо уходить без обеда, на который я рассчитывал чрезвычайно. Этот обед нужен был мне, кстати, и с точки зрения своего генерального жизненного плана, к осуществлению которого я приступал. Впервые Цвета вела меня в общество, куда я давно стремлюсь. Я умею терпеть голод, но при этом знаю, что становлюсь вял, малоинтересен, ненаходчив в мыслях и даже глуп. Предстать со всеми этими качествами перед людьми, в обществе которых я надеюсь найти себя, значит лишиться свое «я» серьезных возможностей и преимуществ (в которые я верил). Разумеется, сам я не собирался выказывать свое «инкогнито», свою тайну, но был убежден, что в том обществе это ощущается самопроизвольно.

— Знаешь, Гошенька, — сказала мне Цвета, — еще немного и мы ушли бы без тебя... Разве можно так опаздывать... Приехал Арский... (Она назвала фамилию очень крупной столичной знаменитости.) Приехал Арский, хочет меня видеть.

— Арский? — с невольным удивлением переспросил я.

— А что такое Арский, — саркастически сказал Вава (единственный, кто меня не любит в этой семье — это Вава. Кажется, он ревнует ко мне Цвету. Смешно. Цвета сутула и худа. Несмотря на свою ущемленность в отношениях с

женщинами, а может и благодаря своей ущемленности, я могу влюбиться только в по-настоящему красивую женщину). Поэтому и влюбленность Иры, не похожей на Цвету, но некрасивой по-своему, позволяет мне лишь обращаться с ней сурово, а не отвечать взаимностью.

— Знаешь что, — повернулась к Вава Цвета, — какой бы Генка не был в быту, это личность и незаурядный талант. (Она назвала Геннадия Арского Генкой, и я отметил это про себя с приятностью и восторгом, но не позволил себе этот восторг приобщения к необычному выказать. Да, через знаменитость, названную при мне «Генкой» я начал приобщение к чему-то, во что всегда верил, к жизни, непохожей на ту, где я ныне прозябал так, как будто пребывала эта жизнь на иной планете.)

— Арский — дутая величина, — с некоторой даже злобой сказал Вава, — недавно ты сама говорила... А сейчас изменила мнение, потому что он тебя обласкал...

— Ты просто завидуешь Генке, — крикнула супругу Цвета, — а что касается обласкал, то когда Генка видит меня, бежит сразу навстречу... Если видит на другой стороне улицы... Всегда... (Кажется, Вава нащупал какое-то больное место своей жены. Более он уже ничего ей не говорил, а удовлетворенный, попавший в цель колкостью, улыбался, показывая лошадиные зубы.) Однако тут в дело вмешался добрейший Петр Яковлевич, который буквально преобразился, ощущая своего зятя.

— Вы когда-нибудь клопов давили? — резко спросил он, подняв свою слепую голову. (Вопрос этот мне непонятен. Очевидно, между ними уже был разговор, содержание которого я не знаю. Вопрос этот связан, вероятно, с тем разговором.)

Вава сразу перестал улыбаться и крикнул, вскочив:

— Если бы вы не были слепы...

— Это единственный плюс в моей беде, — сказал Петр Яковлевич, — то, что я вас не вижу...

Вдруг Цвета, совершив в своих чувствах полный поворот,

вызванный излишней откровенной резкостью отца, вступилась за мужа.

— Не ходи к ним, — сказала она Вава, — зачем они тебе нужны... (Цвета и Вава жили отдельно.)

— Не надо вмешиваться, Бройда, — сказала Надежда Григорьевна (она своего мужа звала по фамилии), — ты ведь видишь, к чему это приводит. Очевидно, в волнении она высказалась неточно, сказав слепому «видишь». При желании это могло быть истолковано в обидном смысле, и Вава немедленно воспользовался подобной оплошностью, громко засмеявшись.

— Возьми своего мужа и уходи, — вспылив сказала сестре Ира.

Это не входило в мои планы и меня напугало и обозлило (на Иру я мог злиться, чувствовал такое право), но тут же на помощь мне пришла Надежда Григорьевна.

— Ира, ты тоже перестань вести себя как злая соседка, а не как сестра. (Надежда Григорьевна в младшей своей дочери Цвете души не чаяла, гордилась ею и собирала все вырезки, где упоминались ее сочинения, не говоря уж о самих сочинениях.)

— Пойдем, Гоша, — сказала мне Цвета.

— Гоша должен поест, — сказала Ира...

— Мы опаздываем, — сказала Цвета...

Теперь, прежде всего, я должен сказать о своем состоянии во время семейного скандала, который я наблюдал здесь впервые (бывали они, как я понял, и раньше, но не в моем присутствии). Странно, но он был мне приятен. Не тем, конечно, приятен, что эти люди, которых я привык видеть улыбающимися и любящими, вдруг рассорились и в ином качестве. Скандал этот, носивший домашний, бытовой характер, но разгоревшийся вокруг бытовых взаимоотношений с всесоюзной, а может и всемирной знаменитостью, причем в моем присутствии, поднимал меня в моих собственных глазах на новую ступень общественной лестницы, и я становился участником событий, которые к

моей прежней, ничтожной жизни доходили лишь в виде обрывков анекдотов и сплетен.

— Идите, Гоша, мыть руки, — сказала мне Ира, и я подчинился с неприличной поспешностью, интуитивно чувствуя, что без обеда мне уходить никак нельзя, поскольку уже сейчас переставал от голода логически мыслить. Я разделся, помыл руки и в ожидании обеда прошелся по комнате, опираясь на трость. Скандал как-то быстро утих, и каждый занялся собой. Вава углубился в газету, Петр Яковлевич, наверно, от пережитого волнения неточно попал вилкой в винегрет, иногда скользя по краю тарелки. Цвета сняла пальто и сказала:

— Ну, лопай, Гошенька... Они ведь тебя любят больше, чем родную дочь... И сестру... Особенно эта старая дева...

У меня испуганно екнуло сердце после «старой девы» в ожидании нового скандала. Ире уже 36, но она не замужем. Однако на «старую деву» она не оскорбилась, а наоборот, улыбнулась. Странные у них отношения.

— Только трость оставишь здесь, — сказала мне Цвета, — там общество не аристократическое...

С Цветой меня познакомил мой земляк, ночевавший в позапрошлом году у меня на койке, в общежитии. Он учился с Цветой в столице, и там у нее была какая-то скандальная история, папахивающая чуть ли не политикой. Через Цвету я и попал в семью Бройдов, где позволял вести себя как баловень, несколько лениво, чуть развязно и позволял себе подтрунивать над Ирой, получая и от этого странное удовольствие, а иногда даже над Надеждой Григорьевной, тут, разумеется, в определенных рамках. Интересно, что я был доволен, когда не заставлял Цвету, (не говоря уже о Ваве, который просто портил мне настроение, при Ваве я считал свое посещение несостоявшимся). Однако Цвета, которая и считалась моей главной знакомой и с которой нас связывали общие духовные интересы, лишала меня своим присутствием подлинной радости в этом единственном месте, где я позволял себе даже

капризы. В этом доме я занимал странное положение, полугостя, полуприемыша, причем приемыша своенравного и любимого, которому позволено лишнее. Присутствие же Цветы, любимой дочери, не менее меня здесь капризной и своенравной, как бы отнимало у меня значительную часть внимания Надежды Григорьевны и Петра Яковлевича (особенно Надежды Григорьевны), и я начинал ловить себя на том, что испытываю что-то вроде смешной и глупой ревности, я чувствую как ревную родителей Бройды к их родной дочери... С другой стороны, отсутствие Иры так же ухудшало мои возможности, что-то пропадало в моих взаимоотношениях со стариками Бройда (им было лет под 60 обоим), исчезла какая-то обязательность моего присутствия и вдруг появились какие-то отзвуки моего пребывания в семье Чертог. Отзвуки приживалы, разумеется, самые отдаленные, может быть внушенные мне самим собой, которых совершенно искренне никто кроме меня не чувствовал.

Но за годы моей «висячей» жизни у меня на этот счет выработано удивительное чутье, как у канарейки к угару. Я это чувствовал по таким ничтожно меркантильным деталям, даже деталечкам, как плохо подогретый вчерашний суп или, например, если желая проверить их ко мне отношение, я брал книгу, и насупившись садился в угол, они очень скоро обо мне забывали, занимаясь своими делами. А уж о том, чтоб покапризничать или подразнить Надежду Григорьевну, то у меня на этот счет все мысли пропадали.

Совершенно по-иному ухудшалось мое пребывание, когда я заставлял Иру одну, без родителей. Я, правда, даже усиливал капризы и передразнивания, однако рано или поздно наступали некие паузы весьма щекотливого характера, которые я с нервной торопливостью пытался замять новыми капризами и передразниваниями, звучащими, однако, неестественно. Так, что более всего было хорошо, когда присутствовали родители и старшая их дочь Ира (так оно

чаще всего, кстати, и случалось), тогда я чувствовал себя особенно раскованно, свободно, лениво и ел прекрасные пахучие обеды (в моем бюджете они, эти обеды, занимали серьезное место и, распределяя деньги на месяц, я попросту на них рассчитывал). Это звучит грубо и выставляет меня ловким дельцом и человеком голого расчета даже в отношении моих друзей.

Во время угрызений совести и так называемого «духовного самотиранства» (такое случается со мной, иногда даже без повода или от настолько ничтожного повода, что и приводить нелепо), во время подобных приступов пессимизма я думаю и о моей искренности в отношении с Бройдами. Окончательно я себя не оправдываю, но нахожу смягчающие обстоятельства. Во-первых, я действительно искренне рад их видеть и, не существуя моего графика, рад бы видеть их ежедневно. Что касается обедов, то зарплата моя не велика, премию я получал раз в три года, к тому же будучи человеком твердого характера и экономным, каждую лишнюю копейку старался придержать, что особенно важно в виду моего неустойчивого положения и зависимости от разнообразных покровителей...

Сейчас, съев полную тарелку великолепного овощного супа с клецками, я приступил ко второму, незаметно ощупывая вилкой под грудой дымящегося картофеля мясо, чтоб знать, в каких пропорциях, т.е. кусках, его распределить с картофелем. Даже если бы беловато-желтый выступ был костью, то и тогда мяса оказалось бы равным, по крайней мере, трем столовским порциям. Но, прощупав вилкой, я убедился, что и этот выступ был не костью, а мягким, клейким хрящем с прожилками жира. Три столовских порции почти покрывали мои издержки на вино Юницкому. Я как бы перебрасывал часть моих расходов на Бройдов. Но все-таки и этим прибыль моя не кончилась. На третье Ира принесла тарелку, вернее, крупное блюдо, полное варениками с капустой. Я люблю их более традиционных вареников с творогом...

Когда меня угощают вкусным обедом, особенно на голодный желудок, в душе появляется чувство глубокого умиления и жгучего желания сделать для этих людей что-либо по-настоящему хорошее, желание благодарности, которое превзошло бы все ожидания. Никогда ни по какому другому поводу я не испытываю подобной признательности и благодарности, а между тем жизнь научила меня ценить любой поступок, идущий мне на пользу, поскольку в этом городе ни один из подобных поступков не был сделан по необходимости, но исключительно по доброй воле людей, ничем мне не обязанных. Обеды Чертогов, например, я воспринимал с большей благодарностью, чем их ночлег, что было нелогично, поскольку пообедать я мог бы, в конце концов, и в столовой, несколько потратившись, ночлег же мне было найти негде. Очевидно, благодарность за обед опиралась на силу момента и физиологическое состояние организма, в благодарности за ночлег уже участвовал разум, а следовательно, и скептицизм. Сила этой физиологической благодарности организма (назовем ее так) иногда доходила до того, что в высший момент наслаждения, когда голод еще боролся с сытостью и не наступало чувство удовлетворения, я ловил себя на желании поцеловать руку, дающую еду, желании диком, собачьим каком-то желании, причем бесправных дворовых собак.

После удовлетворения голода и тяжести в животе, разум мой, до того ведущий расчеты, которых я стыдился, пытался помочь уязвленному самолюбию, также пробуждающемуся от сытости, однако все это лениво и не смело, так что подобные борения приводили к нескольким мрачным минутам над пустыми тарелками... Чувство «физиологической благодарности» шло на убыль гораздо даже быстрее, чем возникало, а нравственно казнил я себя за него редко, почти что никогда.

Я говорю о том с такой осторожностью потому, что был как-то случай, когда под воздействием этого постыдного чувства совершил некое реальное движение (вот движение

уже не простительно) и после этого действительно испытал муки стыда... Однако случилось это, к счастью, не у Бройдов, и не у Чертогов, и не у Михайлова (я у него три раза обедал), а у совершенно иной моей знакомой — Нины Моисеевны, квартирохозяйки бывшей моей школьной знакомой, которая в этом городе оканчивала мединститут. Соученица окончила институт и уехала два года назад, но у Нины Моисеевны я еще некоторое время бывал, пока однажды, набегавшись, наголодавшись и устав, придя в ее уютную, теплую комнату, чуть не совершил свой нелепый собачий поступок. Бывать я, конечно, у нее перестал, тем более вскоре появились Бройды, так что каждая неудача улучшала мое положение.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Доехали мы с Цветой и Вавой на трамвае. Платил Вава. Я вел себя не совсем благородно и мучился этим. Еще на трамвайной остановке я стал рассеян, думая о складывающихся обстоятельствах. Два лишних билета равны бублику или булочке. С кипятком это уже легкий ужин. Более того, будь я один, вполне мог, судя по адресу, дойти пешком. Хотя и вверх, но зато по хорошему тротуару, освещенному так, что не было опасности удариться о камень и разбить туфли (чего я чрезвычайно боялся). Вообще, обувь — мое самое больное место. Порвись рубашка, я могу сам ее зашить или заменить ее другой. Обувь не зашьешь, и порвись туфли, придется носить рабочие сапоги. Значит, я буду ограничен районом общежития, а при нынешних обстоятельствах там бывать мне днем нельзя. Тем не менее, я все-таки чаще хожу пешком, если такая возможность есть. Хожу и ругаю себя за это, поскольку веду себя как начинающий шахматист, не умеющий смотреть на два-три хода вперед. Стирание туфель, не говоря уже об опасности разорвать их, превышает в конечном итоге стоимость трамвайных и троллейбусных билетов, но покупка билета — это ведь реальные сегод-

няшние потери, и я не нахожу в себе силы психологически их преодолеть. В этом есть и свой резон. Ежедневные траты, которых можно было бы избежать, т.е. не предельно необходимые, ведь также оказывают психологическое воздействие и уменьшают возможности организма к максимальной собранности и экономичности. Даже при подобном темпе затрат, мне отпущено не более пяти месяцев, чтоб, сидя на сберкнижке и не рассчитывая на новые поступления, добиться перелома в своей жизни. Вот почему, сам ощущая неблагородство своего поведения, я разработал на трамвайной остановке и осуществил план уклонения от оплаты проезда. Когда подошел трамвай, я начал смотреть по сторонам, словно кого-то увидел, так что даже Цвета меня окликнула. Тем временем, как я предполагал, Вава наткнулся на кондукторшу и расплатился. Беда была лишь в том, что Вава, кажется, понял мое поведение.

— Ты чего? — удивленно спросила Цвета, когда на ее оклик я побежал и вскочил на подножку (вскочил чрезвычайно опасно, едва не поскользнувшись и когда трамвай уже тронулся).

— Показалось, знакомого увидел, — сказал я.

— Странный ты, Гошенька, — сказала Цвета, — мы опаздываем, а ты ищешь знакомых.

И вот тут-то Вава как-то нехорошо улыбнулся, посмотрев на меня, и намотал три купленных им билетика на палец. Меня даже в пот бросило. Я чрезвычайно стыдлив, если какая-то моя ложь и внутренняя нелепость обнаруживается. Поэтому я не люблю людей, которые понимают некоторые тайные движения, а такое случается, если эти люди в подобных тайных движениях хоть как-то похожи на меня. Вава похож. Жизнь у него совершенно иная, но он также тщеславен, правда, открыто и требовательно, и в то же время, как и я, нуждается в помощи, впрочем, получая ее от родной матери и тетки, которые его любят, т.е. эту помощь обязаны ему оказывать. Как благодеяние Вава ее, наверное, не ощущает... Он окончил университет, но не

работает, не знаю почему, и так же как и я, нуждается материально. Уверен почти, что на трамвайной остановке он внутренне тоже уделил внимание вопросу об оплате за проезд, может, конечно, не так тщательно, как я. Предположение, что Вава понял мою нелепую копеечную ложь, испортило мне настроение, и лишь прибыв на место и войдя в подъезд, я сразу как-то избавился от этого чувства (со мной такое бывает), начав наоборот ощущать некое торжественное волнение. Этому способствовал и сам подъезд, где ощущалась зажиточность жильцов. Было тепло, чисто, пахло вкусно, но ничем определенным, а именно зажиточностью, которую я уважал. (Есть тип бедных молодых людей, которые ненавидят зажиточность. Я же, при всем своем тщеславии, испытываю перед зажиточностью даже некую почтительную растерянность.)

Лифтерша с сытым, добрым лицом, отложив вязальные спицы, спросила нас на какой этаж и к кому. Мы поднялись в лифте с полированными стенками и зеркалом, вышли на лестничную площадку. Цвета позвонила у обитой кожей двери. Открыла нам женщина лет пятидесяти. (Как выяснилось впоследствии, прислуга, но на серьезных правах в доме.) С Цветой она поцеловалась. Тут же вертелась большая сильная овчарка (также признак зажиточной и полной излишеств жизни).

Я снял пальто, шапку и осторожно поправил перед зеркалом галстук-бабочку из зеленого матового шелка. В моем распоряжении были считанные секунды, чтоб найти выражение лица (внешний вид мой меня удовлетворил и не вступал в противоречие с роскошной передней, с ее зажиточными излишествами, рогами оленя и золотистыми обоями).

Надо было немедленно убрать с лица восторженность, кстати, вполне искреннюю, но оглуляющую меня. Убрать ее можно было испытанным средством, слегка циничной улыбкой, которая, однако, в конкретном моем нынешнем состоянии была опасной, поскольку в сочетании с бле-

стящими по-детски глазами, придавала лицу театральность и портила даже его внешние черты (я считал себя красивым). Поэтому лучше всего моменту соответствовала рассеянная грусть, которая могла бы побороть блеск глаз, следствие нелепо бьющегося в волнении сердца. Блеск глаз скрывал мысль. Мысли — вот чего не хватало моему лицу. Это было обидно, поскольку я догадывался, что рано или поздно Цвета поведет меня в общество, где мне могут представиться серьезные возможности проявить себя и одним ударом изменить свою жизнь. Догадывался и готовился, понимая значение первого впечатления. Оно либо является положительным стимулом, либо ты должен быть семи пядей во лбу, чтоб переломить его, если оно негативно.

Все манипуляции перед зеркалом я, разумеется, проделал мгновенно, однако так и не пришел к окончательному решению и поэтому не знаю, как выглядел, знакомясь с хозяйкой, молодой женщиной, красота которой могла внушить робость. Тем не менее, я быстро нашелся и поцеловал ей руку, впервые в жизни прикоснувшись таким образом губами к телу красивой женщины (Вава это понял, будь он проклят). Однако хозяйка отнеслась к моей смелости бытово, как к должному. Мы прошли в комнату. Я сразу узнал Арского, хотя в комнате было много народу (его снимки часто появлялись в печати). Взглянув на него, я понял, как устарел мой наряд с галстуком-бабочкой, который давил мне горло и тяжелый пиджак, в котором мне было жарко. Я помню снимок Арского, правда, позапрошлого года, где он был в галстук-бабочке. Но ныне он сидел в растегнутой у ворота рубашке из тонкой шерсти и в маленьком, казавшемся ему тесным (но в этом и был шик), темнопесочном пиджаке.

В комнате стоял длинный стол, накрытый клеенчатой скатертью в зигзагообразных линиях. (Термин — абстрактный рисунок, я узнал позднее.) Стояло несколько столов, составленных вместе. За столом сидело человек двадцать

и среди них несколько молоденьких женщин и девушек. Одной было не более шестнадцати, кстати, самой некрасивой. Все остальные были красивы чрезвычайно. (Тем не менее ни одна не шла в сравнение с хозяйкой.) Несмотря на такое обилие народу (что не соответствовало моим планам, ибо интуитивно я ощущал в этом скопище немало соперников, желающих проявить себя и привлечь внимание Арского), несмотря на обилие народу, Арский сразу заметил Цвету и, улыбнувшись, приветствовал ее. Это меня обрадовало, так как я был с ней, и внимание Арского выделяло и меня из массы. Но далее события начали развиваться вовсе не по плану. Я надеялся, что Цвета представит меня Арскому, а она в ответ на его приветствия, как бы получив на то право, начала пробираться к Арскому, сидевшему в углу. Пробиралась она, я бы сказал, с чрезмерной твердостью, трясая стулья сидящих у нее на пути. Вава также последовал за Цветой. Я остался один, не зная, что предпринять и в какой степени я имею право на обиду. Но тут же был вознагражден и выведен из трудного положения, причем в прямом смысле выведен, хозяйкой, взявшей меня за руку нежными своими пальчиками и улыбнувшейся мне такой улыбкой, от которой с сердцем моим произошло нечто странное, перед чем казались смешными и жалкими все самые удачные и смелые интимные мечтания.

Взявши меня за руку, хозяйка (ее звали Гая) повела меня в дальний конец столов, усадила и, оставив на коже моей свои прикосновения, ушла встречать новых гостей, которые, судя по звонку в передней, появились. (Я уже заранее ненавидел их как соперников, отвлекающих внимание Арского и Гаи.) Гая вернулась сразу с двумя гостями (они не составляли компании, случайно пришли одновременно). Один из гостей был лет сорока, седеющий блондин (блондины седеют весьма своеобразно и красиво). Второй, пожалуй, моложе меня, и по виду страдающий какой-то хронической болезнью, с землистым курносым лицом и красными веками.

Блондина Гая усадила в середине столов, а курносого взяла за руку, как и меня, и, улыбаясь ему, повела в наш конец, усадила на стул. Меня это неприятно поразило. Настроение снова начало портиться. Я хотел поймать своим взглядом мягкие, как бархат, карие глаза Гаи, но она не то что избегала меня, просто захопотавшись ходила мимо, стараясь угодить каждому гостю. Я огляделся. В нашем конце не было ни одной женщины, из мужчин же никто, кажется, не был меж собой знаком, так что взаимоотношениям еще предстояло составиться. Подумав, я мое положение нашел не только справедливым, но и полезным, т.к. мог исподволь ознакомиться и составить внутренний план действия, нащупать нерв компании (каждая компания, даже случайно составленная, имеет свой нерв, т.е. свои правила поведения, свои вкусы и особенности, которые устанавливаются как-то негласно, но не являются средневзвешенным всей компании, а скорее суммируют оттенки и борения меж собой наиболее ее выдающихся членов, к которым другие должны подстраиваться). Но в нашей компании, по моему предположению, Арский был не в счет, он как бы существовал над ней, в качестве судьи. Значит, надо было нащупать борющиеся стороны, помимо Арского, однако, пожалуй, в его районе, где находился эпицентр компании.

Мысли мои и расчеты прервала прислуга в хорошем шерстяном платье, которая внесла блюдо весьма аппетитной селедки с луком и поставила это блюдо на наш конец стола. Вообще, вся еда, кстати, чрезвычайно вкусная, стояла в нашем конце. Здесь были два блюда дымящегося картофеля, маринованные грибочки, колбаса-сервелат, огромная миска салата из яиц, картофеля, горошка и майонеза. Стояла также бутылка водки, две бутылки коньяка, яблочный сидр и много хлеба в плетеном блюде. В районе Арского стояла только бутылка легкого вина, ваза крепких зимних яблок и коробка шоколадных конфет.

— Передайте, пожалуйста, грибочки, — сказал кто-то.

Я повернулся к говорившему. Это был курносый. Я передал. Потом сам попросил картофеля. Мы начали есть, за едой и начали составляться взаимоотношения. Водки я не люблю, но сейчас выпил с удовольствием. В конце Арского также все оживилось. Кроме того, я заметил, казалось бы, небольшую мелочь, которая тем не менее окончательно опровергла очередное нагромождение неприятных мыслей. А именно, за нашим концом почти рядом со мной сидел полный парень моего возраста, причем одетый в шерстяную рубашку не хуже, чем у Арского. Они с Арским несколько раз переговаривались прямо через стол и называли друг друга по имени (полного звали Костя). Значит, понял я, никакой пропасти между двумя концами стола не существует и никакой обидной предвзятости в распределении мест за столом не существует. Оживление, между тем, все больше увеличивалось.

— Но милый мой, — сказал вдруг Арский громко (это, очевидно, было темпераментным продолжением спора, который велся в том конце стола уже давно, однако вполголоса).

— Ну понятно, — сказала одна из красивых женщин, сидевших недалеко от Арского, — с двадцать седьмого года общество перекочевало в концлагерь...

Арский глянул на красавицу быстрыми, совершенно изменившимися, приобретшими какую-то дикость глазами.

— Наше общество погубило себя добровольно, — сказал он, — во имя великих целей, как оно думало.

— Позвольте, — нервно выкрикнул какой-то в очках, причем с нашего конца стола, — вы что ж, под общую реабилитацию хотите и Сталина подвести... Что значит добровольно? Наше общество умерло от пыток... Причем не каких-либо утонченных... До этого мы еще не дошли в своем развитии... Нашему обществу просто проломили голову табуретом... Как это делали при Иване Красное Солнышко... То-есть, я хотел сказать при Иване Грозном и Петре Первом...

Как-то быстро, почти мгновенно, создалась за столом взвинченная, напряженная атмосфера. Говорили сразу несколько человек. Я был вознагражден, чувство испытанное мной у Бройдов, когда я присутствовал при ссоре вокруг имени Арского, ныне получило дальнейшее развитие. Я сидел с удовольствием, сжимая под столом кулаки (у меня есть такая привычка, когда я испытываю переизбыток радостной энергии, которой не могу дать выход). Я впервые слышал эти страшные, радостные до жути, смелые споры, о которых ранее лишь доходили ко мне слухи. Сидя за столом, я испытывал буйно-радостное революционное чувство оплевывания бывших святынь.

— Не следует путать экономику с нравственностью, — говорил седой блондин, подобным началом привлекая к себе всеобщее внимание. (Я сделал для себя открытие, вернее я знал это и ранее, но не сосредотачивался на этом. А между тем главное — начать... Если найти удачную фразу, необычную, очень умную, очень острую, очень даже нелепую, но главное «очень»... Позднее можно полоть и чепуху, тебя будут слушать.)

— Крепостное право экономически было необходимо России, — говорил блондин, — но нравственно ему нет оправдания... Вот где основа трагедии...

Нервное напряжение первых минут спора несколько спало, разговор переходил в выгодное для меня русло публичного обнаружения собственной личности. Я начал обдумывать мысль, с которой должен был начаться мой триумф, а может даже, и личная дружба с Арским. Лучше всего сказать что-либо дурное о Сталине, но если оно необычно и заключено в своеобразную форму, поскольку просто дурным о Сталине теперь не удивишь. Одна из ниточек в этом направлении — мой отец, тюремная смерть которого, висевшая надо мной позором, ныне вдруг становилась не менее почетна, чем смерть на фронте. (До живого тела тогда еще не дошло, и оплевывание вечных святынь началось позднее, и такие древние античные

слова, как например, героизм, оптимизм, или такие библейские, как идея, авторитет, вера — такие слова еще были в цене, даже в самых смелых компаниях.)

— Культ ставит все дразги между людьми на политическую основу, — говорил друг Арского Костя...

«Я вполне мог бы высказать эту мысль, — с досадой подумал я, — как просто сказал и привлек внимание... А на что оно ему... Он и так с Арским на «ты»...»

— Влюбленность ничего не имеет с любовью общего, — сказал парень в центре стола, — так же, как физически разные проявления смех и кашель... Смех может перейти в кашель, а вот кашель в смех — такое редко бывает... «Это что-то из другой оперы, — подумал я, — значит, и так можно... Впрочем, я прослушал начало... Очевидно, оно связано как-то с культом».

— А вот, например, стихи удивительно своеобразные, — крикнул Вава (он сидел рядом с Арским), — в тот вечер хмурый и осенний лежали рядом я и ты... И друг на друга, точно волки, урчали наши животы...

— Ну, это уже литературное хулиганство, — сказала одна из красивых женщин (некрасивой шестнадцатилетней девочке стихи, кажется, понравились. Она радостно взвизгнула).

— Верно, — вынес приговор Арский, — отвратительное словоблудие.

— Я, собственно, не говорю, что они хороши, — пробовал ретироваться в порядке Вава, — я их привел как образец...

«Хорошо тебя отщелкали по носу, — злорадно подумал я, — нет уж, так нелепо я не вылезу... Лучше уж промолчу весь вечер и уйду, незамеченный обществом... А жаль... Возможность есть, чтоб сказать что-либо удачное... Необычное... Вот, например, у нас в общежитии Сталина любят... Несколько раз «на телевизоре» начинался разговор о политике, и все рабочие как один ругали Хрущева, а о Сталине говорили с почтением... Сталин войну выиграл и каждый год снижение цен делал.. На Рахутина, который пробовал

возражать, так накинулись, что он еле ноги унес.

— Мало, что пишут, — крикнул Данил-монтажник, — в тюрьмы сажал... А на то и власть, чтоб сажать...

Конечно, мне не надо так примитивно высказаться, а со своим критическим к этому отношением... И в то же время поставить как бы вопрос, адресуя его непосредственно Арскому...»

— Какая-то жизнь пролетела по комнате, — начал читать нараспев, без предупреждения, Костя, — не муха, не моль, не комар, не жучок... А нечто иное, живое и маленькое...

Вдруг его голос дрогнул, он замолк, прикрыл глаза и залпом выпил полстакана коньяка. Встала Цвета. Весь вечер (впрочем, давно уже была ночь) она сидела молча в непосредственной близости от Арского, но далее чем Вава и как-то неудобно на углу стола. Она встала, некрасивая, близорукая, сутулая, и сказала:

— Мне передали подстрочник одного из недавно умерших поэтов. Он прожил на свободе три месяца с небольшим... Я сделала перевод... — и она начала читать — я видел убийцу, он шел мне навстречу, в зеленом, застегнутом наглухо френче... Он бил сапогом мои ноги больные и тонко звенели подковы стальные... — Цвета читала нараспев, по современному, модерно, однако тишина воцарилась вдруг за многоликим, полным внутреннего самолюбия и соперничества столом.

Стихи не принадлежали перу таланта, но в них были кусочки живой боли, и к тому же Цвета несколько придавала им литературный порядок. Арский встал и расцеловал Цвету в обе щеки. Раздались алодисменты. Правда, наряду с аплодисментами раздались и отдельные критические замечания в адрес некоторых строк. Но на меня эти замечания не возымели действия. Я был настолько переполнен чувствами, что потерял осторожность и, лишь сказав уже несколько фраз, понял, что высказываюсь, причем без подготовки, не упорядочив мысли, достаточно примитивно их формулируя.

— А у рабочих, например, — говорил я, — Сталин по-прежнему любим... Сталин для них генералиссимус, который Гитлера разгромил и Берлин взял...

Я чувствовал, что говорю в полной тишине, и все смотрят на меня, в том числе и Арский. Я хотел было обрадоваться, поскольку далее начинало у меня складываться довольно интересное продолжение и план, можно сказать, неожиданно начинал осуществляться самым лучшим образом. Но какой-то в очках в середине стола (в нашем конце стола тоже сидел человек в очках, чем-то они даже похожи, оба одинаково горячи), но в данном случае этот в середине стола вдруг крикнул:

— Да что же это такое... У меня семья разрушена... Менягноили.. У меня легкого одного нет... А вы здесь Сталина восхвалять... Мерзавец! — припадочно крикнул он мне (я страшно боюсь припадочных и теряюсь перед ними), — мерзавец! — заваливаясь на стул, повторил очкастый.

Это была катастрофа. Я слышал, как Вава сказал Цвете громко.

— Я тебя предупреждал... Не надо было приглашать провинциала... А ты на своем... Теперь облизывайся...

Цвета сидела отвернувшись.

— Вы меня не поняли, — испуганно залепетал я очкастому, которого каплями отпаивала Гая, — я сам против Сталина... То есть мои взгляды противоположны... У меня самого...

Арский посмотрел на бледное лицо очкастого и собственноручно раздраженно махнул на меня рукой.

— Хотя бы сели, — сказал он мне с неприязнью.

Это была уже не просто катастрофа, а полный конец. Дорога к новой жизни, на которую я так надеялся, отрезалась если не навсегда, то надолго. К тому же я опасался, что после произошедшего порвется моя связь с семьей Бройдов. К счастью, раздался звонок и вошел новый гость. Он был пьян и бедно, неряшливо одет, однако пошел к Арскому, и они обнялись. Потом он опустил на колени

перед Гаей и публично поцеловал ей ногу (ему и это было позволено. Чувствовалось, что он здесь баловень).

— Аким, — радостно крикнула шестнадцатилетняя, — прочтите про троллейбус.

Аким (оказывается, нового гостя звали Аким) посмотрел на девушку и, стоя посреди комнаты начал басом. (Неожиданно басом. Я был уверен, что у него фальцет.)

— Я попал под троллейбус, на улице имени Ленина... Я попал под троллейбус, но выдюжил... Вот я живой...

— Не надо, Аким, — сказал Арский.

— Что, — побагровев крикнул Аким, — в придворные выбился... (В последнее время в этой комнате чрезвычайно кричали.)

— По-моему, ваши вирши элементарно непристойны, — сказал Аким седеющий блондин.

Гая поспешила замять скандал.

— Просто, Аким, здесь присутствуют и чужие...

— Ваш солипсизм, — не унимался седеющий блондин, — ваше желание доказать, что мир вертится вокруг вас, смешно и наивно... (Это был тот самый нравственный удар, о котором я уже упоминал. Направленный не в меня, он поразил мою тайну, мою идею, оказывается, не оригинальную и имеющую даже научный термин. Я был настолько удручен, что не заметил вначале, как в дело вклинилось новое действующее лицо.)

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Собственно, было оно не новым. Речь шла о том самом курносом, который сидел рядом со мной и даже просил у меня передать ему блюдо с грибочкаи. Но был курносый настолько болезненно-ничтожным, что я его в расстановке сил за столом во внимание не принял (хоть разок, кажется, мельком отметил, что курносый находится в протесте то ли к компании в целом, то ли к отдельным ее членам).

— Мне хотелось бы высказать мысли иного плана, —

продолжал курносый, когда я обратил на него внимание, — тридцать лет мы жили в России без правды, без этого национального, русского блюда, такого же сытого и лакомого, как черный крестьянский хлеб... Пора быть честным... Время пришло, — он говорил, странно запрокинув свое болезненное лицо, ни на кого не глядя, убежденно и страстно и в короткий срок приковал к себе внимание.

— Не знаю, как лучше начать, — говорил он, — может для завязки прочесть басню... Но беда в том, что первые ее строки не совсем литературно оформлены... Хоть можно их и своими словами... Речь в них идет о земле, вернее о поле, где каждый клочек полит потом наших предков и каждый знак добывается тяжелый трудом... Так вот, на это поле, калеча тяжелый крестьянский труд, забирается коза... Далее у меня переписано... Я прочту, — он вынул бумажку из бокового кармана, распахнув пиджак, так что я увидел довольно рваную подкладку и с горечью подумал, что курносый явился сюда с той же целью, что и я, а именно, завоевать общество, — так вот, — продолжал вдохновенно курносый, — кот Фома, сторож, хватает эту козу за загривок... Но... Сия коза не из простого роду. Она кормилицей была известной отрасли еврейского народа. Савицкий Меир с Голдою своей и целой кучею детей, козы той молоком питался, народ еврейский ею размножался. Но кот Фома не знал, что та коза была столь знаменита. Он за рога ее поймал. В участок потащил открыто. Как вдруг (представьте сторожа испуг), как шавка, в него вцепилась Малка. Явилась Голда вслед за ней, бросая молнии из очей. За Голдой выскочила Хая. За Хаей Сура, Хана, Шая, за ними Меир, Янкель и Абрум, и поднялся великий гвалт и шум...

Думаю, что курносый дочитал, пользуясь исключительно элементом внезапности. В обществах такого рода публичный, честный антисемитизм вряд ли мог принести успех. В подобных антикультурных обществах, наоборот, публичное бичевание антисемитизма служило способом са-

моутверждения. И, действительно, едва прошла первая шоковая минута, как, не сговариваясь, человек пять вскочило одновременно. В их числе Арский, Вава, седеющий блондин, один из очкастых (не мой враг, который очевидно происшедшим был парализован, а тот очкастый, который спорил с Арским об обществе). Все они устремились к курносому, по-моему не понявшему реакцию на свою басню и по-прежнему стоявшему с бумажкой в руках. Я же сразу сообразил, что они хотят дать курносому пощечину, но, лишь когда это произошло, ужаснулся своему глупейшему поведению. Я сидел с курносым рядом и вполне мог дать ему пощечину сам, опередив остальных. Это был вернейший способ одним ударом (причем в прямом смысле) поправить свое положение в обществе, подмоченное моими неудачными рассуждениями о культе. Причем это был честный способ, так как я испытывал к курносому с самого начала презрение, еще до чтения басни.

Ближе всех к курносому из тех, кто сообразил и не стерпел, сидел очкастый, но дотянуться рукой к щеке курносого он не мог, завязнув ногами под столом и подпираемый плечом дремавшего в опьянении поэта Кости. Очень умело и гибко кинулся сам Арский, пружинисто перепрыгнув через стул. Однако в узком месте, возле шкафа, он столкнулся с Вавой, составившем конкуренцию самому Арскому. От двери бежала к курносому Гая, единственная женщина, решившаяся на прямые действия. Но первым возле курносого оказался седеющий блондин, шагнувший к нему просто и несуетливо. Он широко размахнулся своей крепкой ладонью народного интеллигента, имеющего рабочих и крестьян в самых ближайших поколениях. От этого широкого размаха не только на курносого, но даже и на меня, сидевшего рядом, повеяло ветром, и курносый невольно втянул голову в хилые свои болезненные плечи. Однако дал пощечину все-таки не блондин, а некий иной молодой человек, одетый с бедной роскошью в какую-то толстовку и пестрый, явно единственный, выходной гал-

стук. Этого молодого человека я не замечал ранее, что лишь говорило в его пользу и лишней раз выставляло передо мной глупость моего поведения. Этот молодой человек, безусловно как и я (с первого взгляда узнаю своего брата, будь он проклят), этот молодой человек, безусловно, нуждался в протекции, в переломе своей жизни, но не влезал, подобно мне, в безрассудные разговоры, а терпеливо ждал своего часа. Зато, когда этот час настал, он сумел собрать всю свою энергию в кулак (именно правой руки) и буквально выложиться, выскочив в последнюю секунду из-за спины замешкавшегося на широком размахе блондина и ударил резко и коротко, но довольно ощутимо, так, что даже курносый пошатнулся. И при этом как-то взрывом громко захохотал Аким. Блондин в досаде опустил руку (вторую пощечину подряд в приличном обществе давать не положено, это уже избиение или драка). Набежавший в то же мгновение Арский лишь обнял неизвестного молодого человека за плечи, тяжело дыша и с неподдельной ненавистью глядя на курносого, у которого из разбитой губы текла кровь. Я погибал, задыхался от обиды и злобы на себя. Вот так же Арский мог стоять и обнимая меня, будь я расторопней и талантливей. Я глубоко бездарен, и это проявляется во всем и непрерывно (у меня кружилась голова от выпитой водки. Я выпил стакана два). А моя идея, моя тайна, которую я хранил под сердцем, называется солипсизм и является достоянием каждого бездарного болтуна... Меж тем курносый, оправившись от пощечины, как-то изворачиваясь всеми членами, точно его трясло изнутри, крикнул:

— Лицемеры! Чем же вы лучше сталинских палачей... Сталинских чекистов.. ЧК был еврейский орган, созданный для издевательств над Россией, над славянством... Моего отца пытал в концлагере еврей Брук... Я выяснил фамилию следователя... Сталин — эпизод, а они... Испокон веков они несли грязь в наш дом своими грязными галошами...

— Кто его привел, — гневно спросил Арский.

— Я, — ответил Костя, устало и тяжело. (Он вовсе не был пьян, как выяснилось.)

— И не в том дело, — вдруг смешавшись, сбитый, очевидно, окриком Арского или вздохом Кости, сказал курносый, — вот Костя, например, еврей, но не в нем же суть... Я говорю об идее...

— Выгнать его вон, — крикнул припадочно очкастый (на этот раз не тот, что сидел близко от меня, а мой враг с середины стола).

Сердце мое сжалось в недобром предчувствии. То, что мой главный враг берет дальнейшую инициативу по праву над курносым на себя, не предвещало для меня ничего хорошего... И мои предчувствия не обманули меня (дурные предчувствия редко обманывают).

— И того, — крикнул очкастый, указывая на меня, — это одна антисемитская компания...

Я хотел возразить, опровергнуть, призвать на помощь Цвету, но она сидела, по-прежнему отвернувшись (в первые мгновения я обиделся, но впоследствии понял: не следовало. Слишком я себя запятнал).

Блондин положил свою тяжелую руку на шиворот курносого, взяв его сзади, и повел из комнаты. Меня за шиворот не вели, это я точно помню, а все остальное забыл. Как одевался, как вышел. Очнулся лишь внизу, в подъезде рядом с курносым, который горько плакал от ненависти и обиды... Если б меня попросили дать один короткий символический образ того мутного времени, то я бы вспомнил метельную, мартовскую ночь, когда чуть ли не спущенный с лестницы людьми, к которым стремился и о дружбе с которыми мечтал, стоял у подъезда рядом с неприятным мне, злобно плачущим, сжимающим в гневе бледные кулачки, явно хронически больным активистом-антисемитом.

Мне бы молча повернуться и пойти к трамвайной остановке, ждать дежурного трамвая (оглядевшись, я узнал

местность и определил: неподалеку остановка «четверки», идущей к вокзалу). Именно там, я мог провести остаток ночи. О возвращении среди ночи в пьяном виде в общежитие не могло быть и речи. Звонком я должен был бы будить дежурную, а ею могла оказаться Дарья Павловна, мой враг. Конечно, можно было бы и через балкон прямо в коридор второго этажа. Но, во-первых, впопыхах я забыл приподнять шпингалет балконных дверей, а во-вторых, лезть глубокой ночью через балкон чрезвычайно опасно. Вечером, попавшись, можно выдать это за шутку и при удачном поведении отделаться выговором. Поздней же ночью смешить некого, и провал мог окончиться немедленной катастрофой. Значит, оставался вокзал. Но я был так сейчас измучен (внезапно наступил полный упадок сил), что не мог представить себя среди вокзального гула, духоты, плача детей. К тому ж в это время все скамьи, как правило, заняты транзитниками, а к пяти часам вовсе выгоняют из главного зала, поскольку там начинается уборка. Кроме того, я сильно ослабел не только физически, но и нравственно, поскольку со мной не было более моей идеи, я был — вот он весь, с потрохами: с измятым галстуком-бабочкой, криво, по-официантски сидевшим, в измятых брюках и нелепом пальто. И все. И никакой святой идеи, никакой невидимой миру внутренней силы, никакого внутреннего света за этим внешне жалким образом не стояло. Все эти мысли пронеслись у меня как-то мгновенно и не в виде конкретных образов или формулировок, мной здесь приведенных, а в виде двух-трех ощущений, на первый взгляд, далеких от ныне сформулированных мыслей. Да, это были мысли в виде физических ощущений. Я чувствовал во рту кисловатый привкус, какой бывает, когда долго не чистишь зубы, а на спине в нескольких местах холод, кожа лица была напряжена такой гримасой, какую увидишь разве что в ночном кошмаре. Интересно, что я видел вполне ясно эту гримасу, не имея перед собой ни зеркала, ни стекла. Видел мозгом, как видят во сне, и когда

я ощутил все это, то мной овладел приступ такой черной злобы, при которой человек способен на все и которая порождена, как мне кажется, завистью к благополучию мертвых или еще не родившихся. Порочные ощущения, не поддающиеся формулировкам, содержат в себе дьявольскую силу и опасней любых, пусть самых преступных формулировок. Даже некоторые бытовые мысли, например, о мучениях в вокзальной духоте, лишенные под влиянием момента, под влиянием душевного надлома конкретной плоти и ощущаемые в качестве неких физических символов, могут стать страшным орудием слепой злобы. К счастью, мое физическое состояние лишило меня возможности действовать. Но злобное чувство мое выразилось весьма своеобразно. Человек, который был мне крайне неприятен еще несколько минут назад, вдруг вызвал во мне сочувствие. Я ощутил общность с ним, и мне показалось, что с нами обоими поступили несправедливо. Меж тем, человек этот продолжал плакать, размахивая кулаками уж как-то устало, не вытирая слез, совершенно не стесняясь меня. Видно его часто выбрасывали и били, так что он привык не стесняться, и это дало мне возможность ощутить превосходство над ним, поскольку я никогда не показывал своих слез на людях.

— Тебя как зовут? — спросил я спутника своего покровительственно.

— Илиодор, — сказал он, всхлипывая, — имя редкое, церковное— Отец мой был священник... Его убили сталинские палачи, евреи-чекисты..., — он вновь начал возбуждаться.

— А меня Гоша звать, — сказал я, — мой отец тоже был арестован (впервые в жизни я произнес это вслух и при посторонних).

— Ты где живешь? — спросил Илиодор.

Я соврал какой-то адрес.

— Далеко, — сказал Илиодор, — пойдём ко мне, переночуешь.

Это была просто удача. Я согласился...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Илиодор жил в коммунальной квартире, в небольшой комнатухе вместе со старухой-матерью. Когда мы вошли, было уже начало четвертого утра, но мать Илиодора, одетая сидела у окна. Видно, Илиодор не впервые приходил так поздно и приводил постояльцев, поскольку на меня его мать взглянула без удивления. Я торопливо с ней поздоровался, имея в голове свой план и стараясь завоевать хозяйкино расположение. Дело в том, что, как уже известно, наступало время, когда мне крайне нужны были пристанища, пока утрясется мое выселение, а сегодня я лишился главной моей явки — Бройдов. Это была огромная брешь в моем плане, и сейчас я мучительно думал, в какой степени смогу компенсировать потерю Бройдов. Илиодор жил даже в более удобном районе, чем Бройды, и приходы к нему могли быть обставлены с меньшими церемониями. Но самым огромным преимуществом было то, что у Илиодора можно было, на худой конец, и переночевать. Однако в остальном, конечно же, нельзя было сравнить его с Бройдами. Там был уют, чистота, приятные лица, вкусный обед, тут же все сыро, нечистоплотно, убого. В комнате стояла низенькая, железная кровать и застланная раскладушка. Стоял явно кухонный стол. Какие-то книги были сложены на полу и прикрыты газетами. Диссонансом выглядела тяжелая бронзовая лампа на столе и небольшой плюшевый коврик, некая жалкая претензия на предметы, составляющие не первую необходимость, а излишества. Первоначально, я решил завоевать расположение хозяйки вежливым вопросом: «Вы почему не спите? Ведь поздно уже»... Если она ответит: «Не хочется...», я могу продолжить разговор нейтральной фразой: «Два ночных часа сна равны пяти часам дневного сна»... Примерно таким участливым разговором, правда, по поводу слепоты Петра Яковлевича, я в первые же минуты завоевал расположение Надежды Григорьевны Бройда...

Однако тут произошел некий эпизод, изменивший мой план. Мать Илиодора что-то сказала ему, и он в ответ вдруг молча размахнулся. Я испугался, думая, что он ударит ее по лицу, но он ударил ее по руке, правда достаточно резко и сильно, так, что она сморщилась и второй рукой начала потирать ушибленное место. Я понял, что никакого значения мать здесь не имеет, и всем заправляет Илиодор.

— Это из-за меня? — тихо спросил я Илиодора.

— Нет, — пренебрежительно махнул он, — совсем другое...

Мать встала, вышла в переднюю (у них была небольшая отгородка, такая передняя-кладовая) и вскоре вернулась еще с одной раскладушкой, начала мне стелить.

Мать Илиодора была вся какая-то неопрятная, нечесанная, седые космы свисали с головы ее в беспорядке, но в то же время отдельные детали говорили о том, что это не старуха, как показалось мне первоначально, а сильно постаревшая и опустившаяся женщина лет пятидесяти-трих-пятидесяти-пяти, а может, и того менее... У нее, например, сохранилась еще довольно высокая грудь бывшей попадьи, ноги ее так же не выглядели ногами старухи, были полны и приятной формы.

— Может, гость голоден? — спросила она у Илиодора, не глядя на меня.

— Нет, нет, — поспешно откликнулся я, не дав Илиодору ничего сказать и боясь, что меня могут здесь чем-либо угостить. Во-первых, я был сыт, поев в компании Арского, а во-вторых, от матери Илиодора исходил какой-то сладковатый тошнотворный запах мертвечины (впоследствии я понял, что этот запах общий для всех реабилитированных, который держался особенно сильно на первых порах и за некоторыми держится по сей день).

Конечно, запах этот был воображаемый и порождался внешним видом этих людей, как бы побывавших в ином мире и воскресших, так что с трудом можно было угадать прежний их человеческий облик. Тем, кто побывал там с

конца сороковых, начала пятидесятых годов, еще иногда удается утратить следы своего потустороннего пребывания, но в облике попавших туда в тридцатые годы, эти мертвые черты неустранимы.

Когда я лег в постель, неожиданно довольно свежую, то видел некоторое время, как Зинаида Васильевна (мать Илиодора), погасив большую лампу, чтоб не мешать нам спать, опустилась в углу, согнувшись у чадающей на полу свечи. Я думал, бывшая попадья молится на коленях, и даже с интересом приподнялся на локте (видеть мне мешал стол), но неожиданно обнаружил, что она не стоит на коленях, а сидит на очень низенькой табуреточке и читает детектив (я прочел название детективной повести довольно низкого пошиба). Я повернулся к стене и очень скоро уснул. Спал я совершенно без снов (во всяком случае, снов не помню) и проснувшись, долго не мог сообразить, где я и что со мной. Первое, что я увидел, было четверо, нет, скорей даже пятеро незнакомых мне молодых людей, которые сидели вокруг стола за бутылками и закуской, т.е. образуя некое подобие компании.

— Добрый вечер, — весело мне сказала Зинаида Васильевна, входя с шипящей сковородкой.

Компания за столом засмеялась. Улыбнулась и Зинаида Васильевна своей шутке. Выглядела она значительно лучше, чем ночью, даже волосы прихвачены синей ленточкой. За столом сидел и гость постарше, лет сорока трех, который, к моему удивлению, по всем признакам ухаживал за Зинаидой Васильевной. Ради него она, пожалуй, и шутила.

— Добрый вечер, — снова повторила Зинаида Васильевна, ставя сковородку на металлическую подставку, — ну и поспали же вы...

Оказывается, был уже вечер следующего дня. Я упустил день, в который планировал заняться расчетом. Завтра в управлении выходной. Значит, упустил два дня.

— Мама, выйди, — довольно резко сказал Илиодор (я его заметил не сразу, поскольку он рылся в книгах), — Гоша

должен одеться, — добавил Илиодор, дружески мне подмигнув.

Зинаида Васильевна поспешно вышла. Мне было неудобно перед чужими людьми своего нижнего белья, поэтому неловко прикрываясь одеялом, стараясь не выказывать в то же время, что стыжусь, я стал в первую очередь натягивать брюки, лихорадочно тыча в них босые ноги и, зацепившись большим пальцем ноги, что-то разорвал. («Хотя бы по шву», — с тоской подумал я, ругая себя, что не надел сначала носки. К счастью, разрыв оказался по шву и незначительный.)

Пройдя вслед за Илиодором в места общего пользования, мимо каких-то коммунальных лиц, я раза два вежливо поздоровался: со стариком и полной женщиной, резонно полагая, что в коммунальной квартире соседи играют определенную роль в разрешении ночевок. Ни старик, ни женщина мне не ответили. «Значит у Илиодора с соседями натянутые отношения», — беспокоино подумал я про себя. Умывшись и причесавшись (у меня было довольно выпавшееся, отдохнувшее лицо), я вернулся в комнату и застал разговор в самом накале. Ругали Арского. Особенно горячился молодой человек в такой же, как у Арского расстегнутой у ворота дорогой рубашке тонкой шерсти. Такие рубашки входили в моду, что я и отметил про себя. За этим столом в такой рубашке был лишь один, с крепким и простым именем и фамилией — Геннадий Орлов (напоминаю, Арского тоже звали Геннадием). Был, правда, еще один в подобной рубашке, Семен Савчук (Илиодор нас всех перезнакомил), но я явно видел, что на нем обыкновенный крашенный трикотаж. Остальные были одеты и того хуже, так что я, в моей мятой рубашке не очень выделялся. На Иване Пантелеевиче (ухажоре Зинаиды Васильевны), вообще была утепленная ковбойка и хлопчатобумажный пиджачек. Все молодые люди были студентами (кроме Ивана Пантелеевича, который был с семьей классами, но как опытный практик, работал техником на бетонном за-

воде). Орлов учился на факультете журналистики, а остальные на филфаке университета, куда я мечтал поступить. Илиодор тоже был студентом филологического факультета, но несколько месяцев назад его за что-то исключили.

— Совершенно ясно, — говорил Орлов, — что шабаш вокруг Арского раздули евреи... Сами они русского языка не знают и слишком уж открыто его ненавидят... Точно как в старой, но не утратившей сегодня соли пародии Буркова, — и он продекламировал шепеляво и картаво. — Я с пеною у рта бездарно сочинял в стихах бездарных вопли и угрозы, хрипел, шипел, плевался и глотал с проклятием еврейской злобы слезы... Да, слишком злобны их слезы, а наши почетные евреи умеют это сделать почувствительней, помягче, понациональней... Вот они и разводят шабаш вокруг Арского и компании... Причем, главным образом, эти... С русско-украинскими фамилиями.

— Это точно, — чокаясь с Зинаидой Васильевной, сказал Иван Пантелеевич, — они теперь все Иваны Ивановичи, Степаны Степановичи (этот техник-выдвиженец явно выделялся из остальных примитивностью и грубостью суждений. По-моему, он шокировал Илиодора).

— Удивительное дело, — сказал Орлов, — до чего все-таки прогнила и обюрократилась партийная верхушка... От начала и до конца... Мой отец такой же... Шехтмана или прочего Рабиновича (оборот из известного сатирического романа. При этом обороте один из компании, Лысиков, бедный студент, явно ищущий покровительства Орлова, засмеялся). Прочего Рабиновича, — повторил Орлов, — стараются не брать... Не давать ему возможностей... Но стоит Рабиновичу стать Ивановым или Иваненко, так все дороги открыты... Всюду Ивановы сидят, а русского найти невозможно.

— Они даже под армян подделываются, — смеясь сказал Лысиков, — помню был у нас пацан такой, Антонян-еврей...

— Ребята, — сказал Савчук, — между прочим, я готов-

лю сейчас курсовую работу и наткнулся на очень любопытную вещь... Листовка полтавской организации «Народная волна», где приветствуются еврейские погромы как признак пробуждения народных масс от политической спячки...

— Ну, потом народовольцы отошли от такой программы, — сказал черноволосый парень, имя и фамилию которого я не запомнил.

— Потому что организация объевреилась, — быстро ответил Савчук.

— Никто с тобой не спорит, — сказал черноволосый, — вся революция объевреилась... В этом ее трагедия... В этом крушение надежд... Помнишь мечты Шевченко... Тай нема краше, як на нашей Вкраїни, що нема жида, що нема пана и уний не буде...

— Между прочим, — сказал Савчук, — эту надпись намечалось выбить на пьедестале памятника Богдану Хмельницкому. А под копытами коня Хмельницкого, поляк и еврей, сжимающий награбленную церковную утварь... Однако, Александр Третий запретил и потребовал изменить проект... В знак протеста, автор проекта скульптор Микешин, русский патриот, отказался даже присутствовать на открытии памятника.

— Интересный факт, — сказал черноволосый, — я этого не знал.

— За две тысячи лет, — сказал Орлов, — евреи научились умело стонать и плакать... Стоит нам что-либо предпринять в свою защиту против их пакостей, как они начинают громко плакать и мы пугаемся... Если мы не научимся спокойно выслушивать их стоны, они с помощью таких, как Арский, нас полностью поработят.

— Чего? — громко спросил Иван Пантелеевич. Он выпил более других, а закуска здесь, в отличие от компании Арского, самая бедная и дрянная: бычки в томате, колбаса дешевая и хлеб без масла. Правда, вкусна оказалась жареная картошка, я ее ел с удовольствием.

— Чего? — снова громко переспросил Иван Пантелеевич.

— Чего, чего, — передразнил Орлов, — пейсы будешь скоро носить, вот чего...

— Да я, — громко крикнул Иван Пантелеевич, — война начнется, сам тысячу убью... При оккупации...

— Так ведь американцы евреев не трогают, — насмешливо подкалывал Савчук, — как же ты...

— Чего? — напряженно и пьяно соображая, уставился Иван Пантелеевич, — а они впереди себя ФРГ пустят... Я в газете читал...

За столом засмеялись наивности и глупости Ивана Пантелеевича. Я ел жареную картошку, стараясь сообразить, как вести себя.

— Тебя Гоша звать, — спросил вдруг меня Орлов, — значит, мы тезки...

— Нет, — ответил я, — меня по паспорту Григорий звать.

— А почему же Гоша?

— Так прозвали еще с детства.

— Понятно, — как-то певуче и не своим голосом произнес Орлов.

Я сообразил, что он в этой компании самый опасный, и испытал досаду на себя за то, что пооткровенничал.

— Илиодор, — сказал еще один член компании, до того молчавший, кстати, чем-то на Илиодора похожий, бледностью лица и каким-то страдальческим выражением лица, делающим их в определенные моменты похожим и на евреев, — Илиодор, ты бы прочел свою работу.

— Не сейчас, — сказал Илиодор.

— У него удивительно интересная работа, — сказал бледный, — он анализирует те места наших классиков, наших гениев, где они высмеивают и разоблачают евреев...

— Но Гоголь был совершенно непоследователен, — сказал Илиодор, — например, в «Выбранных местах из переписки с друзьями», он пишет о евреях по-иному...

— В «Выбранных местах из переписки с друзьями» Го-

голь был в маразме, — сказал раздраженно Орлов, — об этом и Белинский писал... Кстати, русский патриотизм Белинского обслюнявлен евреями...

Меж тем я заметил, что ко мне за столом начинают относиться плохо. Прямо это плохое отношение не выказывалось (Иван Пантелеевич мог бы выказать и прямо, но он был уже сильно пьян и не в состоянии принять участие в интриге.) Хоть плохое отношение и не выказывалось прямо, тем не менее, становилось заметно, поскольку Илиодор подошел и сел со мной рядом, наверное, чтоб выказать свою поддержку. Не знаю почему, может, потому, что нас обоих одинаково жестоко и обидно выгнали из компании Арского, но Илиодор ко мне быстро привязался. Это было для меня главным, поскольку ночлег принадлежал Илиодору. Однако, я не знал все ж, в какой степени Илиодор способен противостоять действиям приятелей своих, направленных против меня.

Меж тем Орлов вел себя все более вызывающе. Думаю, каждой компании для того, чтобы поддерживать ее существование, нужен спор, противоборство. Если бы эти люди, сидящие сейчас за столом, могли заговорить о спорте или о литературе, или о породах собак, или о марках вин, или о чем-либо еще, то у них наверняка вышел бы спор и сохранился бы интерес. Однако, о чем они ни заговорили, все это переходило к еврейской проблеме. Но скука, вечная спутница постоянства, проникала и сюда, и мне кажется, эти люди столь единодушные в ненависти к евреям, вдруг испытывали страх, что их единодушие подорвет их единство, тема связывающая их будет исчерпана и надо будет заговорить о чем-либо ином. Тогда они станут малоинтересны друг другу. А когда такое случается в выпивающих компаниях, то неизбежна драка. (Как я понял впоследствии, такое между ними довольно часто происходило.) И вот ныне, за мой счет, они хотели этого избежать. К тому времени выпито было довольно много. Пью я редко и из-за недостатка материальных средств, и вообще, из-за нелюбви

к алкоголю. В компаниях же пью, главным образом, из-за закуски: неудобно ведь есть и не пить. А когда человек пьет не испытывая удовольствия, то он пьянеет не постепенно, а внезапно и тяжело, словно впадает в обморок, если истощены силы, или в буйство, если силы на взлете. Я спал весь день и потому чувствовал, что если на этот раз опьянею, то впаду не в сонный обморок, а в буйство. Я уже заметил приближающиеся признаки буйства, ибо обратил внимание на пепельницу из керамики. Все время я ее не замечал, а сейчас понял, что именно этой пепельницей ударю Орлова.

— Какой ужас, — сказал Илиодор, — отойдем Гоша, постоим у окна. — И без всякого перехода Илиодор далее начал рассказывать мне свою жизнь. Воспитывался он у деда (я тоже некоторое время воспитывался у деда и сказал о том Илиодору, перебив его). Отец был священник в Западной Украине. Перед войной, в сорок первом они переехали в этот город, и здесь его арестовали как шпиона. Мать в прошлом году вернулась из заключения по реабилитации и получила эту комнату... Поступил в Университет, но преподаватель политэкономии, конечно, еврей, начал к нему придирааться... Была неприятная история... Исключили, хотели судить... Я этому еврею в лицо плюнул...

— Что мне делать, Гоша? — говорил тоскливо Илиодор, — мать свою я ненавижу... Лучше б она умерла в заключении.. Нет у нее ни совести, ни чести... Что мне делать... Ради чего я родился?

Я уже понял, что пристанища здесь искать не буду и никогда сюда не зайду.

— Убей себя, — сказал я Илиодору, — повесься... Или лучше снотворных таблеток выпей...

Я посмотрел на него и вдруг понял, что он принимает мои слова всерьез, как добрый совет друга, а не как злобный выпад человека на грани бешенства. Он посмотрел на меня как-то внимательно и улыбнулся с благодарностью. Но тут же мягкое кроткое выражение лица его изменилось. Вдруг

он как-то быстро обернулся и заметил некую неприятную деталь во взаимоотношениях своей матери и Ивана Пантелеевича.

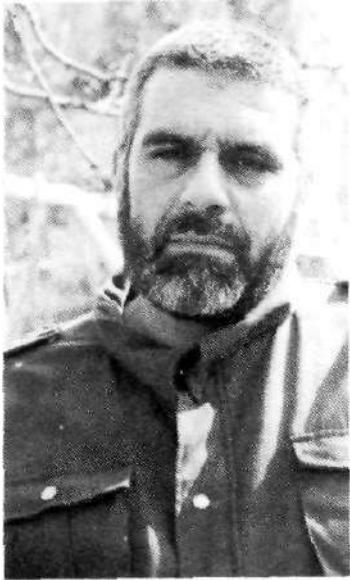
— Курва, — крикнул Илиодор матери и сделал то, чего я опасался еще вчера, т.е. ударил мать непосредственно по лицу (время вообще-то было крикливое и скандальное, но два скандала подряд в течение суток не характерны даже для конца пятидесятых годов).

Произошел общий коловорот и головокружение. Все ж, я сумел овладеть собой, поскольку мне необходимо было разыскать пепельницу. Я ее нашел, но вместо того, чтоб ударить ею Орлова (Орлов шел со стаканом воды к упавшей в обморок Зинаиде Васильевне), начал натирать ему пепельницей лицо, как орудут мылом. Тем не менее, пепельница была с шершавыми краями, так что я успел нанести Орлову несколько царапин, прежде чем Лысиков шибанул меня в спину. Я вылетел из комнаты (боль в ребрах я почувствовал на улице). Схватив в передней свою одежду, одеваясь на ходу, я выбежал прямо в кучку возбужденных коммунальных соседей.

— Мерзавцы, — крикнула мне соседка, — каждый раз скандалы... Будете сюда ходить, мы участкового пригласим.

Я толкнул ее плечом и покрыл матом. (Интересно, что это было сделано уже не на уровне эмоциональной взвинченности, а согласно разумному плану. Я понимал, что обстоятельства с койко-местом моим могут сложиться так тяжело и ночевки мои на вокзале могут так сильно измотать меня, что я могу проявить слабость и спустя некоторое время, невзирая ни на что, прийти сюда искать ночлег. Именно поэтому я окончательно портил отношения с соседями, чтоб сжечь все мосты.)

Толкнул еще одного соседа и, покричав перед ними некоторое время, чтоб они могли лучше запомнить мое лицо, я по старой лестнице сбежал вниз.



Сергей ДОВЛАТОВ

ЖИЗНЬ КОРОТКА

Левицкий раскрыл глаза и сразу начал припоминать какую-то забытую вчерашнюю метафору... «Полнолуние мятной таблетки...»? «Банановый изгиб полумесяца...»? Что-то в этом роде, хоть и значительно по духу.

Метафоры являлись ночью, когда он уже лежал в постели. Записывать их маэстро ленился. Раньше они хранились в памяти до утра. Сейчас, как правило, он не без удовольствия забывал их. Сохранялось легкое облачко нереализованной метафоры. Упущенный шанс маленького словесного приключения.

Левицкий кинул взгляд на белый, амбулаторного цвета столик. Заметил огромный, дорической конфигурации торт. Начал пересчитывать тонкие витые свечи.

Господи, подумал Левицкий, еще один день рождения.

Эту фразу стоило приберечь для репортеров:

«Господи! Еще один день рождения! Какая приятная неожиданность — семьдесят лет!»

Он представил себе заголовки:

«Русский писатель отмечает семидесятилетие на чужбине». «Книги юбиляра выходят повсюду, за исключением Москвы». И наконец: «О, Господи, еще один день рождения!»...

Левицкий принял душ, оделся. Захватил почту. Жена, видимо, уехала за подарками. Герлинда — нечто среднее между родственницей и прислугой — обняла его. Маэстро прервал ее словами:

— Ты упомянута в завещании.

Это была их старая шутка.

Она спросила:

— Чай или кофе?

— Пожалуй, кофе.

— Какой желаете?

— Коричневый, наверное.

Потом он расслышал:

— Вас ожидает дама.

Быстро спросил:

— Не с косой?

— Привезла вам какую-то редкость. Я думаю — книгу. Сказала — инкунабула.

Левицкий, улыбаясь, произнес:

— De ses mains tombe le livre,

Dans lequel elle n'avait rien lu.

(«Из рук ее выпала непрочитанная книга...»)

Регина Гаспарян сидела в холле больше часа. Правда, ей дали кофе с булочками. Тем не менее, все это было довольно унижительно. Могли бы пригласить в гостиную. Благоговение в ней перемешивалось с обидой.

В сумочке ее лежало нечто, размером чуть поболее миниатюрного дамского браунинга «Элита-16».

Регина Гаспарян происходила из благородной обрусевшей семьи. Отец ее был довольно известным преподавателем училища Штиглица. Будучи армянином, сел по делу космополитов. В пятидесятом году следователь Чув бил его по физиономии альбомом репродукций Дега.

Мать ее была квалифицированной переводчицей. Знала Кашкина. Встречалась с Ритой Ковалевой. Месяц сопровождала Колдуэлла в его турне по Закавказью. Славилась тяжелым характером и экзотической восточной красотой.

В юности Регина была типичной советской школьницей. Участвовала в самодеятельности. Играла Зою Космодемьянскую. Отец, реабилитированный при Хрущеве, называл ее в шутку «Зойка Комсомодеянская».

Наступила оттепель. В доме известного художника Гаспаряна собирались молодые люди. В основном, поэты. Здесь их подкармливали, а главное — терпеливо выслушивали. Среди них выделялись Липский и Брейн.

Все они понемногу ухаживали за красивой, начитанной, стройной Региной. Посвящали ей стихи. В основном, шутливые, юмористические. Брейн писал ей из Сочи в начале Даманского кризиса:

Жди меня, и я вернусь, только очень жди,
Жди, когда наводят грусть желтые дожди...

Наступили семидесятые годы. Оттепель, как любят выражаться эмигрантские журналисты — сменилась заморозками. Лучшие друзья уезжали на Запад.

Регина Гаспарян колебалась очень недолго. У ее мужа физика была хорошая, так сказать, объективная профессия. Сама Регина кончила Инъяз. Восьмилетняя дочь ее немного говорила по-английски. У матери были дальние родственники в Чикаго.

Семья начала готовиться к отъезду. И тут у Регины возникла неотступная мысль о Левицком.

Романы Левицкого уже давно циркулировали в самиздате. Его считали крупнейшим русским писателем в изгнании. Его даже упоминала советская литературная энциклопедия. Правда, с использованием бранных эпитетов.

Даже биографию Левицкого все знали. Он был сыном видного меньшевистского деятеля. Закончил Горный институт в Петербурге. Выпустил книгу стихов «Пробуждение», которая давно уже числилась библиографической

редкостью. Эмигрировал с родителями в девятнадцатом году. Учился на историко-литературном отделении в Праге. Жил во Франции. Увлекался коллекционированием бабочек. Первый роман напечатал в «Современных записках». Год тренировал боксеров в фабричном районе Парижа. На похоронах Ходасевича избил циничного Георгия Иванова. Причем, буквально на краю могилы.

Гитлера Левицкий ненавидел. Сталина — тем более. Ленина называл «смутьяном в кепочке». Накануне оккупации перебрался в Соединенные Штаты. Перешел на английский язык, который, впрочем, знал с детства. Стал единственным тогда русско-американским прозаиком.

Всю жизнь он ненавидел хамство, антисемитизм и цензуру. Года за три до семидесятилетнего юбилея возненавидел Нобелевский комитет.

Все знали о его чудачествах. О проведенной мелом линии через три комнаты его гостиничного номера в Швейцарии. (Жене и кухарке запрещалось ступать на его территорию.) О многолетнем безнадежном иске против соседа, который чересчур увлекался музыкой Вагнера. О его вечеринках с угощением, изготовленным по древнегреческим рецептам. О его дуэли с химиком Булавенко, усевшимся в подпитии на клавиши рояля. О его знаменитом высказывании: «Где-то в Сибири должна быть художественная литература...»

И так далее.

О его высокомерии ходили легенды. Так же, как и о его недоступности. Что, по-существу, одно и то же. Знаменитому швейцарскому писателю, добивавшемуся встречи, Левицкий сказал по телефону:

«Заходите после двух — лет через шесть...»

О чем говорить, если даже знакомство с кухаркой Левицкого почиталось великой удачей...

В общем, Регину Гаспарян спросили:

— Что ты собираешься делать на Западе?

В ответ прозвучало:

— Многое будет зависеть от разговора с Левицким.

Я думаю, она хотела стать писательницей. Суждениям друзей не очень верила. Обращаться к советским знаменитостям не хотела. Ей не давала покоя кем-то сказанная фраза:

«Шапки долой, господа! Перед вами — гений!»

Кто это сказал? Когда? О ком?..

Накануне отъезда Регина позвонила трем знакомым книжным спекулянтам. Первого звали Савелий. Он сказал:

— «Пробуждение» — это, мать,дохлый номер.

В смысле?

— Вариант типа «я извиняюсь».

— То есть?

— Операция — «туши свет».

— Если можно, выражайтесь попроще.

— Товар вне прейскуранта.

— Что это значит?

— Это значит — цены фантастические.

— Например?

— Как говорится — от и до.

— Не понимаю.

— От трех и до пяти. Как у Чуковского.

— От трех и до пяти — что? Сотен?

— Ну.

— А у Чуковского — от двух.

— Так цены же растут...

Регина позвонила другому с фамилией или кличкой — Шмыгло. Он сказал:

— Что это за Левицкий? И что это еще за «Пробуждение»? Не желаете ли Сименона?..

Третий спекулянт ответил:

— Юношеский сборник Левицкого у меня есть. К сожалению, он не продается. Готов обменять его на четырехтомник Мандельштама.

В результате состоялся долгий тройной обмен. Регина достала кому-то заграничный слуховой аппарат. Кого-то

устроили по благу в Лесотехническую академию. Кому-то досталось смягчение приговора за вымогательство и шантаж. Еще кому-то — финская облицовочная плитка. На последнем этапе фигурировал четырехтомник Мандельштама. (Под редакцией Филиппова и Струве.)

Через месяц Регина держала перед собой тонкую зеленоватую книжку. Издательство «Гиперборей». Санкт-Петербург. 1916 год. Иван Левицкий. «Пробуждение».

Регина знала, что у самого Левицкого нет этой книги. Об этом шла речь в его знаменитом интервью по «Голосу Америки». Левицкого спросили:

— Ваше отношение к юношеским стихам?

— Они забыты. Это были эскизы моих же последующих романов. Их не существует. Последним экземпляром знаменитый горец растопил буржуйку у себя на даче в Кунцеве.

Зимой Регина получила разрешение на выезд. Дальше было всякое. Отвратительная сцена на таможне. Три месяца нищеты в Ладисполе. Душное нью-йоркское лето, когда они с мужем боялись ночью выйти из гостиницы. Первая контора, откуда ее уволили с формулировкой «излишнее рвение». Несколько рассказов в эмигрантской газете, за которые ей уплатили по тридцать долларов. Затем стремительное восхождение мужа — его неожиданно пригласила фирма «Эксон». А значит, собственный домик, поездки в Европу, разговоры о налогах...

Прошло лет шесть. Регина выпустила первую книгу. Она вызвала положительную реакцию. Кстати, одним из рецензентов был я.

Все эти годы она добивалась знакомства с Левицким. Через Гордея Булаховича познакомилась с его восьмидесятилетней кузиной. Но к этому времени та успела поссориться со знаменитым родственником. Конкретно, они заспорили — где именно стояла баня в родовом поместье Левицких — Ховрино.

Регина обращалась к Янсону, протоиерею Константину, дочери Зайцева — Ольге Борисовне.

Старый писатель Янсон ответил:

«Левицкий сказал обо мне Эдмунду Уилсону, что я, извините, говно...»

Отец Константин написал ей:

«Левицкий не христианин. Он слишком эгоистичен для этого. Адресочком его, виноват, не располагаю...»

Зайцева-Рейнольдс прислала какой-то берлинский адрес и записку:

«Последний раз я видела этого несносного мальчика в тридцать четвертом году. Мы встретились на премьере «Тангейзера». Он, помнится, сказал:

— Такое впечатление, что неожиданно запели ожившие картонные доспехи.

С тех пор мы не виделись. Боюсь, что его адрес мог измениться».

И все-таки Регина получила его швейцарский адрес. Как выяснилось, адрес был у издателя Поляка. Регина написала Левицкому короткое письмо. Тот откликнулся буквально через две недели:

«Адрес вы знаете. После шести я работаю. Так что, приходите утром. И, пожалуйста, без цветов, которые имеют обыкновение вянуть. Постскриптум: не споткнитесь о мои ботинки, которые я ночью выставляю за дверь».

Сидя в холле, Регина задумалась. Почему этот человек живет в отеле? Может быть, ему претит идея собственности? Надо бы задать ему этот вопрос. И еще — что Левицкий думает о Солженицыне? Ведь они такие разные...

— Здравствуйте, Иван Владимирович!

— Мое почтение, — ответил рослый, коротко стриженный господин.

Затем он, не садясь, поинтересовался:

— Выпьете что-нибудь?

— У меня кофе... А вы?

Левицкий улыбнулся и медленно продекламировал:

Я пью неразбавленный виски,

Пью водку с зернистой икрой,

А друг мой, писатель Левицкий

Лишь бабочек мучить герой...

— Это стихи одного моего приятеля.

И затем, после двух секунд молчания:

— Чем, сударыня, могу быть вам полезен?

Регина слегка наклонилась вперед:

— Надо ли говорить, что я ваша давняя поклонница. Особенно ценю «Далекий берег», «Шар», «Происхождение танго». Все это я прочитала еще дома. Риск лишь увеличивал эстетическое наслаждение...

— Да, — кивнул Левицкий, — я знаю. Это что-то вроде Поль де-Кока или Мопассана. Читаешь в детстве с риском быть застигнутым... Извините, чем могу служить?

Регина чуть смутилась. Главное, не делать пауз... А он и вправду женоненавистник...

— Я знаю, что у вас сегодня день рождения.

— Спасибо, что напомнили. Еще один день рождения. Приятная неожиданность — семьдесят лет.

Левицкий вдруг перешел на шепот. Глаза его странно округлились:

— Запомните главное, — сказал он, — жизнь коротка...

Регина, преодолевая смущение, выговорила:

— Разрешите кое-что преподнести вам... Я надеюсь... Я уверена... Короче — вот...

Левицкий принял маленькую желтую бандероль. Вскрыл ее, достав из кармана маникюрные ножницы. Теперь он держал в руках свою книгу. Старинный шрифт, отклеившийся корешок, тридцать восемь листов ужасной промышленной бумаги.

Он раскрыл шестую страницу. Прочитал заглавие — «Тропинки сна». Вот он, знакомый неграмотный перенос — «смущение». Да еще с непропечатанным хвостиком у «ща».

О, Господи, — сказал Левицкий, — чудо! Где вы это достали? Я был уверен, что экземпляров не существует. Я разыскивал их по всему миру...

— Возьмите, — сказала Регина, — и еще...

Она достала из сумки рукопись в узком конверте. Левицкий учтиво ждал. Давно разработанным усилием он подавил страдальческую гримасу на лице. Потом спросил;

— Это ваше?

Регина отвечала с должной небрежностью.

— Это мои последние рассказы. Не лучшие, увы. Хотелось бы... Если это возможно... Короче, ваше мнение... Буквально в двух словах...

— Вас интересует письменный отзыв?

— Да, знаете ли, буквально три слова... Независимо от...

— Я пришлю вам открытку.

— Замечательно. Мой адрес на последней странице.

Левицкий привстал:

— А теперь, извините меня. Процедуры.

Звякнув ложечкой, Регина отодвинула чашку. «Мог бы поинтересоваться, где я остановилась...»

Левицкий поцеловал ей руку:

— Спасибо. Боюсь, мои юношеские стихи не заслуживали ваших хлопот.

Он кивнул и направился в сторону лифта. Регина, нервно закуривая, пошла к вертящейся двери.

Левицкий поднялся на третий этаж. У порога своего номера остановился. Вынул из конверта рукопись. Оторвал клочок бумаги с адресом. Сунул его в карман байковых штанов. Приподнял никелированный отвес мусоропровода. Подержал на ладони маленькую книжку и затем торжествуя уронил ее в гулкую черноту. Туда же, задевая стенки мусоропровода, полетела рукопись. Он успел заметить название «Лето в Карлсбаде». Мгновенно родился текст:

«Прочитал ваше теплое ясное «Лето» — дважды. В нем есть ощущение жизни и смерти. А также — предчувствие осени. Поздравляю...»

Он зашел в свой номер. Тотчас позвонил кухарке и сказал:

— Сыграем в акулину?

Максим ШРАЕР

ДЛИННЫЙ НОС

Все-таки австрийцы — большие романтики, что не говорите. В них немецкая ячменная сентиментальность, да и ментальность смешана с итальянской способностью внимать ежеминутному откровению, удивляться. Или это только кажется.

Мы сидим с Губером на мягких велюрах за столиком в кафе на Кертнерринг, а может быть и на Кертнерштрассе. Мы все пьем кофе под названием «эспрессо». С молоком, сахаром и пончиками в сахаре, с заварным кремом внутри. И самое странное то, что кофе нравится Губеру не меньше, чем всем нам — мамочке, отцу и мне. А мы и в самом деле никогда не пили такого кофе — бархатистого, бесконечно-го в глотке, кажущегося взбитым.

Как хорошо быть эмигрантом из России, во взрослом возрасте открываешь для себя восторг за восторгом. «У нас в Австрии в самом обычном кафе подают тридцать разных

кофе», — почти напевает Губер, присвистывая маленьким кокетливым глоточком. Он будто играет с чашечкой.

Губеру лет пятьдесят. У него фирма, производящая кожаные ремни. Небольшой замок под Веной, не доезжая Бадена. Он среднего роста, подвижный, полный. Шея и голова все время в движении. Полные блестящие красноватые щеки разъезжаются в улыбку, скручиваются в гримасу, подергиваются во время смеха. В общем, он крайне симпатичный человек. Симпатичный и добрый. Говорит мягким негромким голосом, будто слетающим с бархатистых связок. Может быть, если тридцать лет пить такой кофе...

Хочется назвать Губера дядя Губер. А иногда гномик Губер. Добрый гном. Дядюшка. Мама почти гладит его по рукаву голубого в белую клетку пиджака. Ой, наверное, надо ущипнуть себя за ребро. Мне, да и всем нам это кажется.

Час назад Длинный Нос еще била черепки и мерзко-звонко кричала на ежившихся эмигрантов, пришедших в столовую за своими континентальными завтраками. Звонко кричала, нагибаясь почти что в лица сидящим, задевая кончиком носа отражения в чашках. Звонко била чашки и тарелки. Размахивая руками. Расставив соломчонки ног. Показывала кривыми пальцами на воображаемый за Карпатами север. Ее крик вперемешку со звоном посуды еще долго терзал наши перепонки на обочине дороги на Вену. Пока не растворился в шуме автострады. Где мы голосовали. Совершенно безуспешно, видно потому, что не походили на обыкновенных нищих. Хотя у нас совершенно не было денег. Денег, чтобы доехать до Вены. Денег, чтобы выпить «эспрессо»...

Губер — самый романтичный из всех австрийцев. Он разглядел сквозь полутени наших полуприличных одежд, сквозь построения на лицах (все время улыбаться), что мы обижены, подавлены, изувечены, наконец, черепками Длинного Носа. И остановил машину. И сострадательно

улыбнулся. И закинул в багажник вещи с заднего сиденья. И не мучил вопросами-допросами. Да и мы сами все рассказывали, перебивая друг друга.

Губер понимает, что такое быть беженцем. Его семья сразу после войны бежала из Богемии, где они жили еще со времен Австро-Венгрии. Бежала, бросив все. Страшась красного змея. Губеру немножко жаль, что мы едем в Америку. «Там нет древности, мало культуры. Неужели это древняя церковь!? Так что же, это еще времен Микки Мауса, папаши Дональда Дака?» Губер поджимает губки, передразнивая американских турстов в Европе. Что мы можем сказать?! Мы смеемся. Да, нам действительно весело. Дядюшка Губер с его кофе, разговорами, смехом так залечивает свежие раны от битых черепков, да и все восьмилетние раны отказа. Как жаль, что Губер должен идти. Мы обмениваемся адресами, вернее визитной карточкой Губера в обмен на наш неизвестный адрес в Новом Свете.

Губер первый встает, целует маме руку, согнувшись в талии, обхватив запястье двумя пальцами. Долго жмет руку отца. Хлопает меня по плечу. И улыбается — чуть стеснительно. Потом мы уже одни идем по Кертнерринг или Кертнерштрассе. Некоторое время не разговариваем. Потом, потянувшись за носовым платком (вспомнив про Длинный Нос), отец достает из кармана пиджака оранжевый конверт с пожеланием счастливого путешествия. Все-таки настоящий добрый гном. Мы долго не можем достать из конверта розовую тысячешиллинговую ассигнацию.

«Вы ведь конечно знаете нашу Жаклину, хозяйку, — рассказывала очень полная разговорчивая старушка, делившая с нами стол за вечерним чаем, — так вот... Несколько дней ее не было в пансионе. Сегодня утром она появилась, и такое началось». Она скользнула ногами по черепкам, еще неубранным из-под столов. «Жаклина такая милая, такая обходительная хозяйка. Разрешает звонить в Америку. Что-нибудь сготовить. А что нам еще нужно? Мы ведь беженцы. Она. бедняжка, так страдает. Говорят, у

нее роман с одним эмигрантом из наших. Она ведь такая приятная, так улыбается, правда, внешность. Ну это не главное. А он такой малоинтересный человек. Провинциал, откуда-то из Западной Украины. Знаете, что там за публика. Так ведь вы его застали. Он уехал недели полторы назад, вы ведь как раз приехали до этого. Такой сутулый. Он еще отпускал усы. Глаза такие скользкие-скользкие, как сливовые косточки. Бедненькая Жаклина. Ну, даст бог, все образуется, все обойдется. Ах, бедняжка», — и старушка двинулась к двери, переваливаясь с бока на бок. Как старая утка.

Она придумала эту историю еще до всего. Почти сразу после его приезда в пансион. История пришла ей в голову, когда она пригласила Марика к себе наверх выпить чего-нибудь. Поговорить. Марик был родом из Закарпатья и поэтому говорил по-немецки. Правда, частенько сбиваясь то на идиш, то на мадьярский. Но этого было достаточно, чтобы понять романтическую историю. Она, упираясь локтями Марику в грудь, тянулась к уху. Всегда к левому. И, чуть покачивая головой, покусывая волосатую мочку, в который раз (впрочем, она хорошо помнила, в который) рассказывала одно и то же. Про то, как в войну, при немецком режиме, несмотря на охоту за евреями, ее отец некоторое время укрывал в доме еврейскую девушку. Дочку бывшего владельца галантереи в их городке. Укрывал, пока это не стало грозить благополучию семьи. Тогда отцу пришлось попросить девушку покинуть их дом. Он даже дал ей в дорогу тысячу шиллингов.

Впрочем, Жаклины, конечно, еще не было на свете. Она родилась после войны. Жаклине самой очень нравилась эта история. Она каждый раз надеялась, что Марик станет с ней чуть ласковей. А как ей хотелось этой ласки! Она ведь была австриячкой, длинноносая Жаклина. Но Марик только хлопывал тяжелой ладонью по ее тощим ягодицам. Или отодвигал в колени. При этом нос и подбородок прочерчивали на его животе белую полосу.

Жаклина поднялась с постели. Марик даже не собирался вставать. Впрочем, за последнюю неделю он так свыкся, что даже не думал показываться в своей комнате. Да, в самом деле, это свободный мир, и кому какое дело, где он проводит ночи. Тем более, что Длинный Нос отвела для него отдельный номер в пансионе, подселив к вечнопечальному Пете нового соседа.

Было уже девять утра. Она запаздывала с завтраком. Вернее, за нее готовили охотливые пожилые сестры-эмигрантки. Вот только начинать раздачу без нее не полагалось. Жаклина любила порядок. «Беженцы подождут», — подумала Жаклина. Потрогала нос, стоя перед зеркалом. Но тут под окнами закричали проснувшиеся жаклинины девочки — младшая беленькая Марианна и старшая темненькая Анабелла. Обе хорошенькие. С маленькими носиками. Как две капли похожие на своих отцов. Девочки, младшая совсем голенькая, старшая в короткой рубашонке, голосили на весь внутренний двор. Они раздували воображаемые меха и громко-громко дудели: «Тра-та-та, тар-тар-тар, Бундесвер, тра-та-та, тар-тар-тар, Бундесвер». Звонкими голосами. Так, что было слышно во всех углах пансиона. И девочкам очень нравилась их утренняя песня.

Жаклина одевалась перед зеркалом. Спешно убирала волосы. Запахивала короткий халатик. Всего несколько минут. Но все эти минуты она то и дело переводила взгляды с собственного отражения в зеркале на отражение спящего Марика. У него были такие жгучие, мужские глаза. Жаклина никогда не встречала таких. А может она все это придумала. Но ведь это все не важно. Романтизм предполагает большую меру условности. Условно-жгуче-мужской облик Марика. Условно-длинный, читай утонченный нос Жаклины. Важно только, что когда вечером, после приезда Марика в пансион, Жаклина выдавала ему ключи от номера, у нее почему-то похолодело все внутри, до ощущения пустоты. И когда на следующий день Марик входил

в столовую, чуть сутулясь, чуть покачиваясь на ходу, чуть пришаркивая, глядя прямо на нее, без тени сомнения в черносливиных, Жаклина лила и лила кофе из большого утреннего кофейника в чашку, на руки, на пижаму опиравшегося на палку пораженного старика-беженца. Нос показался меньшим, чем обычно. «Это любовь», — подумала она и кротко улыбнулась спящему отражению Марика.

Они решили, что оформлять отношения сразу же, в Вене, учитывая его «беженство», слишком сложно. Он поедет в Америку, и как можно скорее получит гринкард. И тогда приедет. Почти американцем. Она даже готова взять его фамилию. Какая разница — ее «бер» или его «кер». А пока она решила поехать в Италию за ним следом. Провести несколько дней вместе с ним на берегу Тирренского. Потом Жаклина бежала вниз по лестнице. На ходу подхватывала звонких девочек. Мыла им ноги в посудной раковине с горячей водой на кухне. Давала указания добровольным помощницам-сестрам. Бегала по пансиону. Не включала горячую воду по номерам. И все утро не видела Марика. Он собирал вещи в номере.

После обеда очередную партию отправляли в Рим поездом с южного вокзала. Среди них и Марика. Все сгрудились у гаражей, где хранились чемоданы. Рядом с шоссе. И уезжающие, и ожидающие следующей отправки. Мы были среди последних. И тоже вышли поглядеть на счастливых. Жаклина с Мариком прощались наверху. Прижимаясь, Жаклина подложила во внутренний карман куртки Марика плоскую бутылку коньяка. Марик вышел и сразу же полез в микроавтобус. Не оглядываясь. Чуть оскалась. Потом выбежала Жаклина. В белоснежной кофточке. Простоволосая. Как в рыцарской балладе. Микроавтобус тронулся. Жаклина немного прошла вслед. И махала рукой. Уже повернувшись к дому. Худенькая. Длинноногая.

В багажнике лежали подарки. Разные австрийские копчености и солености. Всевозможные банки пива. Ликеры. Сладости, которые нравились Марика в Кобенце. И отдель-

но, в большом целлофановом мешке, одежда. Пара туфель, светлые брюки и пиджак в голубую и белую клетку. И кожаный ремень фирмы «Губер и Губер». Жаклина припарковалась к двухэтажной вилле недалеко от моря. С воротами из красного кирпича. Начинаясь осыпаться.

Жаклина всю дорогу, в тусклых туннелях через Альпы, на захлебывающихся от света автострадах Эмилии-Романи, представляла их встречу. Она подъезжает, а Марик сидит на крыльце и тоскует, не зная о ее приезде. Или она без стука (они ведь почти муж и жена) вбегает к нему в комнату. Марик уже лежит, собравшись спать. Она на ходу снимает белую кофточку, разбрасывает вещи по полу. Потом они купаются в остывающем к ночи море. И всю ночь олеандры осыпают белое и розовое под окнами виллы.

Марика не было дома. Верхний этаж был заперт. Был десятый час. И незнакомый городок. Жаклина нарочно не предупредила Марика о приезде. Хотела сделать ему сюрприз. Нужно было устраиваться в отель на ночь, а утром, выспавшись после адской дороги, бежать к Марика. Он ведь всегда спит допоздна. Она нашла отель через квартал, по той же улице. С окнами на море, которое тонуло в черноте (или чернота в нем). И сразу заснула. Еще не было жарко. После утреннего купания и кофе Жаклина чувствовала себя чудесно. И только когда она еще с расстояния увидела раскрытые окна на втором этаже виллы с кирпичными воротами, в горле сразу засадило. Она бежала по лестнице вверх, вытягивая ленточку из волос. С разбега распахнула обе половинки двери. Марик спал, чуть оскалившись во сне. У трехстворчатого зеркала рядом с постелью стояла голая женщина лет тридцати. Загорелая. С чуть короткими ногами. Коротко остриженная. С большой родинкой на нижней губе Жаклина и женщина с родинкой несколько минут молча смотрели друг на друга. Будто готовились.

Был еще один день на автострадах Италии. Пробки в горах. Тусклые туннели. Жаклина вернулась в Кобенц среди

ночи, разбитая и опустошенная. Нужно было вставать утром, чтобы следить за раздачей континентальных завтраков. Чашки разбивались на четыре черепка, блюда на пять, тяжелые керамические кофейники на множество мелких острых осколков.

Длинный Нос бегала взад вперед по столовой, растопырив сухонькие ручки. И выкрикивала прямо в лица ежившихся, наскоро глотавших свои завтраки беженцев. Оказавшись прижатými к спинке сидения бледно-восковым носом, беженцы втягивали головы в плечи, отворачивались, только бы не видеть. Жаклина кричала обо всем подряд — дорогостоящей горячей воде, большом расходе света в номерах. Но как ей хотелось звонко выкрикнуть то самое слово, которое она не раз слышала среди пивных разговоров отца с приятелями. Подвыпивший отец всегда с удовольствием вспоминал как они, молодые солдатики, отправляли венских евреев: «Юден, построиться». Но Длинный Нос боялась крикнуть им это. Хотя люди и так слышали, когда она с размаху швыряла посуду. Из-под каждого разбитого черепка несло: «Юден, Юден, Юден, Юден...»

Мы приехали в Ладисполи, когда начинался виноград. И опадали олеандры. В Ладисполи беженцы дожидались въездных виз в Америку, Канаду и Австралию. Жили по несколько месяцев. Снимали квартиры и обзаводились небольшим хозяйством. Купались. Через несколько дней после приезда мы шли на море по улочке, отделявшей пляжи и приморский бульвар. Под окнами виллы с кирпичными воротами голосили две девочки, постарше и помладше. Они подпрыгивали, пытаясь заглянуть в распахнутые окна второго этажа. Подпрыгивали и звонко кричали: «Мама, мамочка, мы хотим есть, мамочка-чка-чка-чка-ка-а-а». Потом с крыльца сбежала женщина с короткой стрижкой, на ходу запахивая короткий халатик. Схватила девочек за руки и потащила по улице, оглядываясь на распахнутые окна.

...Мы снова сидим с Губером за столиком на Кертнер-

штрассе. Пьем эспрессо. Кофе все такой же бархатистый. Губер почти не изменился. Только еще располнел. Все также присвистывает глоточком. Улыбается по-гномичьи. На нем пиджак в желто-розовую полоску. Мы болтаем, не переставая. Нам теперь есть что рассказать. Губер посмеивается, расспрашивает про внука Микки Мауса. И мы рассказываем. «А я снова женился», — вдруг говорит Губер. «Да что вы, на ком?» — хором спрашиваем мы. «О, это целая история. Моя жена такая романтическая. Может, поэтому мы и встретились. Да уж много лет прошло. Она раньше держала пансион в Кобенце, что не доезжая моего городка. До меня у жены была трагическая любовь с одним эмигрантом, кстати из России. Но это все в прошлом. У нас теперь очаровательная малышка. А этот эмигрант тут года два тому назад приезжал в Австрию, искал встречи с женой. Конечно, она ему отказала».

Губер достает из портмоне фотографию полуторогодовалой девочки. У нее влажные глаза, отливающие как спелые сливы. Мы тепло прощаемся у дверей кафе. До следующей встречи лет через... Мы уже одни идем по Кертнерринг. Нас догоняет запыхавшийся Губер. «Да, я забыл показать фотографию жены». С фотографии на нас смотрит восколицая блондинка с длинным вытянутым носом. Ее тонкие губы крепко сжаты. Но все равно кажется, что она сейчас разожмет их и закричит. Звонко-мерзко.

Ладисполи
Август, 1987

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЛАРИСЕ МИЛЛЕР

Лариса Миллер, поэтесса, родилась и живет в Москве, окончила Московский институт иностранных языков. Член Союза писателей. Публиковаться стала еще в начале 60-х годов, однако ее первый сборник стихов «Безымянный день» увидел свет лишь в 1977 году, второй — спустя еще почти десять лет («Земля и дом», 1986). Стоит сказать здесь, что поэтесса и ее семья все последние годы переживала тяжелые времена: муж Л.Миллер, ученый-физик Борис Альтшулер, оставался верным другом и помощником А. Д. Сахарова в течение всех лет его ссылки в Горьком, за что подвергался непрерывным преследованиям КГБ, лишился работы и занимался дворницким трудом. Лариса Миллер много лет преподавала (и преподает) английский, а также «Алексеевскую гимнастику» — пластическую систему, ведущую свое начало от идей Айседоры Дункан. Сейчас, когда А.Д.Сахаров возвращен в Москву, по его настоянию Б.Альтшулер был принят в штат теоретического отдела Физического института АН СССР.

Публикуемые в журнале стихи Ларисы Миллер — небольшая часть из того, что изымалось из ее книг редакторами и что отказывались печатать периодические издания. Стихи переданы в журнал друзьями поэтессы.



Лариса МИЛЛЕР

ВО ВСЕЙ ПРОСТОТЕ ПРОТОКОЛЬНОЙ

Безымянные дни. Безымянные годы.
Безымянная твердь. Безымянные воды.
Бесконечно иду и холмом, и долиной
По единой земле, по земле неделимой.
Где ни дат, ни эпох, ни черты, ни границы.
Лишь дыханье на вдох и на выдох дробится.

1976

Вот какая здесь кормежка:
Меда — бочка, дегтя — ложка.
Вот какая здесь кровать:
Мягко стелят, жестко спать.
Вот какая здесь опека:
Тот сгорел, а та калека.
Вот какая здесь любовь:
Любят так, что горлом кровь...

А в начале для затравки
Хоровод на мягкой травке,
Гули-гули, баю-бай,
Суший праздник, божий рай.
Или, может, и в начале
Злые знаки день венчали,
Может, череп на колу
Не заметила в пылу.

1979

Почему не уходишь, когда отпускают на волю
Почему не летишь, коли отперты все ворота?
Почему не идешь по холмам, и по чистому полю,
И с горы, что полога, и на гору, ту, что крута?
Почему не летишь? Пахнет ветром и мятой свобода,
Позолочен лучами небесного купола край.
Время воли пришло. Время вольности. Время исхода:
И любую тропу из лежащих у ног выбирай.
Отчего же ты медлишь, дверною щеколдой играя,
Отчего же ты гладишь постылый настенный узор,
И совсем не глядишь на сиянье небесного края,
На привольные дали, на цепи неведомых гор?

1972

Жить не тяжко дурочке
Собирает чурочки
В беспорядке пряди
Тишина во взгляде,
Собирает чурочки
Для своей печурочки.
Погоди, послушай,
Твой очаг разрушен.

Погляди, блаженная,
На останки бренные —
Лишь поет негромко,
Вороша обломки.

1976

Господи, не дай мне жить, взирая вчуже,
Как чужие листья чуждым ветром кружит;
Господи, оставь мне весны мои, зимы —
Все, что мною с детства познано и зримо;
Зори и закаты, звуки те, что слышу;
Не влечи меня ты под чужую крышу;
Не лиши возможности из родимых окон
Наблюдать за облаком на небе далеком.

1973

Обобщаем, обобщаем.
Все, что было, упрощаем.
Хладнокровно освещаем
Века прошлого грехи.

И события тасуя,
Имена тревожим всеу.
Нам история рисует
Только общие штрихи. —

— Суть, причина, вывод, веха.
А подробности — помеха.
Из глубин доносит эхо
Только самый звучный слог.

Лишь любитель близорукий,
Том старинный взявши в руки,
Отголоски давней муки
Обнаружит между строк.

А детали, оговорки,
 Подоплека и задворки,
 Потайная жизнь подкорки —
 Роскошь нынешних времен,
 Принадлежность дней текущих,
 Привилегия живущих,
 Принадлежность крест несущих
 Ныне страждущих племен.

Это нам, покуда живы,
 Смаковать пути извивы
 И оттенки нашей нивы.
 А потомки, взявши труд

Оценить эпоху в целом,
 Век, где мы душой и телом,
 Черной ямой иль пробелом
 Может статься, назовут.

1975

НА ФИЛЬМ «ПОКАЯНИЕ»

Не с притчи начать бы. Начать с документа,
 Со слов, обладающих свойством цемента.
 Не с притчи начать бы, не с умных абстракций —
 С конкретных имен всех участников акций
 В Москве, Ленинграде, Тбилиси, Казани...
 Начать не с символики иносказаний,
 Не с беглых пассажей на белом рояле,
 А с серого дома, где сроки паяли.
 Не с пышного сада, не с пестрой полянки,
 Не с вещего сна, а с реальной Лубянки.
 Не надо голодным роскошного торта.
 Вы дайте им хлеба обычного сорта.
 Лишь хлеба насущного, истины гольной
 Во всей наготе, простоте протокольной.

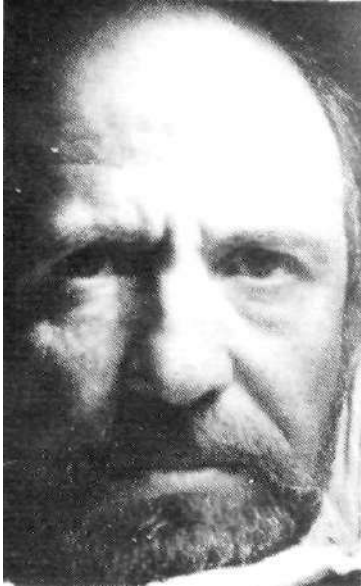
февраль, 1987

Список длинен, список долог,
 Бесконечен мартиролог:
 Этих в лагерь, тех в штрафбат.
 В спину дуло, в душу мат.
 Не клянись, что ты невинен...
 Список черен, долог, длинен
 И кончается на той
 Ненасытной запятой.

1987

Идет безумное кино
 И не кончается оно.
 Творится бред многосерийный.
 Откройте выход аварийный.
 Хочу на воздух, чтоб вовне
 С тишайшим снегом наравне
 И с небесами, и с ветрами
 Быть непричастной к этой драме,
 Где все смешалось, хоть кричи,
 Бок о бок жертвы, палачи
 Лежат в одной и той же яме
 И кое-как и штабелями.
 И слышу окрик: «Ваш черед.
 Эй, поколение, вперед.
 Явите мощь свою, потомки.
 Снимаем сцену новой ломки».

декабрь, 1987



Юрий ДРУЖНИКОВ

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ

ПРОВОДЫ

Флаг Родины над полем гордо реет.
Последний рейс. Увозят навсегда.
Войдут товарищи, а выйдут господа.
Ну что глазеть? Евреи как евреи...

Они вывозят — кто детей, кто мебель,
Кто Пушкина, кто Сталина портрет,
Кто колос оставляет здесь, кто стебель,
А у кого и вовсе корня нет.

Таможенники дремлют, но не спят,
Притыривая все, что им понравится.
Шмонает Родина вас с головы до пят.
Отдайте все. Пусть ум при вас останется.

И не спешите праздновать обедню.
Не знаю, где на ненависть лимит.

Зеленый пограничник — не последний
На жизненных путях антисемит.

Я злобы не таю. С ума ли, сдуру
Мы шли сюда на царственный авось.
Мы создавали русскую культуру,
Да вот своей создать не довелось.

Мы начинали общества леченье,
Провозгласив Утопии восход.
И вот, по диалектике Ученья,
За максимумом следует Исход.

Я не забуду, как чадит коптилка,
Как ел траву, почем был лиха фунт.
Вся жизнь моя — сплошной эвакупункт,
Страна моя, большая пересылка.

Аэрофлот вам поднесет вина,
«Катюшу» стюардесса запеваает.
На хлеб и СОЛТ меняет вас страна.
А остающихся на что еще сменяют?

Гонителям не лучше жить, поверьте:
Для вас хоть рейс, для них и щели нет.
Им до конца молчания обет,
Им лозунги читать до самой смерти.

Летит и тает молодой снежок,
Не зная ни америк и ни азий.
Мы остаемся. Выпьем посошок
За тех, кто там, кто тут и кто в отказе.

О, Боже, не суди нас слишком строго.
Всем без разбора с миром помоги.
Тебе, дружище, дальняя дорога.
Давай по-русски сядем. И — беги!

НОЧЬ С 11 НА 12 МАРТА 1981 ГОДА

Тупая боль. Туман от нитроглицерина.
Ноль-три. Инъекция. Носилки. Впалость щек.
Восьмидесятилетние скрипач и балерина:
Они уже в раю, а он со мной еще.

Анализы. Анамнез. Духота палаты.
Скрип кардиографа. Таблетки. Унитаз.
Кокетство доктора. Кровь, вытертая ватой.
Шофера пьяного бредовый перепляс.

Тюремная похлебка. Храп. Глухой лунатик.
Прошедший через все лихой Эрнест...
Как вечность эта ночь. Но твой в дверях халатик,
И кажется, смогу взойти на Эверест.

Ну, не взойти — вползти. А не вползти — пытаться.
Ты только не забудь: чтобы сползти назад,
Понадобится ношпа, может статься,
Валокордин, нитронг, сустав, мепробамат.

1981

КРОВАТЬ «ЖЕЛАНИЕ»*

Бывают ночи: только лягу —
В Россию поплывет кровать.
И вот ведут меня к оврагу,
Ведут к оврагу убивать.

В. Набоков

Размышлял Набоков об этом,
Лежа в Штатах. А мне как быть?
Днем и ночью, зимой и летом
Я в России. И не уплыть.

Нет, меня не вывезли предки
В Лондон, Ниццу и Амстердам.

*Название навеяно Тенниси Уильямсом («The street-car named "Desire"»).

Жизнь моя — это их пятилетки,
Ленин, Сталин, колхоз и БАМ.

Убивают меня не в оврагах
(Все овраги полным-полны).
Участковый приходит в крагах,
Под окном дымят топтуны.

Нынче судят нас по указам,
Письма прячут, лишают сна.
В лагерях убивают не разом,
А трудом от зари до темна.

Все святое обгаживать густо
Научились они давно.
Убивают своим искусством,
Театром, книгами и кино.

Убивают меня тихой сапой
Пропагандой их рифмачей;
Даже то, что от мамы с папой,
Забываю от их речей.

Злоключения ностальгии...

Убивают меня они.

Как хотел бы я быть в России
Всей душою! Но телом — ни-ни.

Только лягу — и вижу чудо:
Из России плывет кровать...

Но звонок — и пришли паскуды.
На Лубянку везут опять.

1984

ОДИННАДЦАТЬ ЗАПОВЕДЕЙ

Избегать в инструментах трубы,
Не вникать в то, что треплют старушки,

Не бояться давленья судьбы
И быть искренним в чувствах, как Пушкин.

Сохранять ощущение вины,
Жить апатией к дракам престола,
Научиться осмысливать сны
И поменьше сосать валидола.

Умереть от любви, как в кино.
После смерти, как Кафка, издаться,
И, совсем уж немислимо, но —
В виде пепла не здесь оказаться.

1984

ЧЕРЕЗ ВЕК

Е. А.

Я живу в девятнадцатом веке:
Чин, именье, фамильный альбом;
Мчит в Париж через рощи и реки
Баронесса в карете с гербом.

Баронесса меня так любила,
Баба Лиза, по роду фон Реш.
Боже мой, а когда это было?
Если было, теперь это где ж?

Явь прошедшего чудится где-то,
Русский запах и пар из ноздрей.
Царь выходит ко мне из портрета
Так, как будто бы я не еврей.

В прошлом мечешься, будто в загуле.
Гей, извозчик! Не спи, как таксист.
У Толстого наскучило в Туле —
Я к Некрасову резаться в вист.

Если очень захочется в Ниццу,
Паспорт справлю и двину я вдаль.

Но вернусь кушать щи, а не пиццу,
Лишь скребнется под сердцем печаль.

Я живу девятнадцатым веком,
Там брожу я и там я дышу.
Как остаться мне здесь человеком,
Если книжку про то допишу?

Нас тогда, в девятнадцатом веке,
Занимали не только балы,
Были каторга, ссылка и зеки,
Петропавловка и кандалы.

Все простившая бабушка Лиза
На чекистов не помнила зла.
Сохранилась открытая виза,
Только бабушка враз умерла.

И свидетельствуют страницы:
Был волчонок, а явствует зверь.
Свет зажгут — притворю я ресницы,
Срежу провод, закупорю дверь.

Голова моя к строчкам все ближе,
Мысль не скачет, идет по ножу.
А машинка умолкнет — и вижу...
Вижу то я, о чем не скажу.

1985

ШЛАГБАУМ

Шлагбаум (нем.) — опускное бревно,
которым запирается проезд.

В. Даль. Толковый словарь

Дорога опять перекрыта.
Жжет солнце, и будка в пыли.
Людей пропускают сквозь сито, —
Хошь смейся, а хочешь — скули.

Меня не волнуют детали,
Звучит лишь знакомый мотив.
Науку у немцев содрали,
Шлагбаумы с ней прихватив.

Тут не философии заумь,
А ейный причудливый зад.
Шлагбаум. Шлагбаум. Шлагбаум...
Замри! Ни вперед, ни назад.

Нет, мы не народ. Мы орава.
Шлагбаум спасает от бед.
Права есть у всех. Только права
В отсталом отечестве нет.

Спокойно, привычно, несложно:
Препятствие счастью — бревно.
Нельзя даже то нам, что можно.
Что мыслимо — запрещено.

Повсюду решетки косые
Родной и любимой тюрьмы.
Опущенный фаллос России...
Вы там. За шлагбаумом — мы.

1985

БАБОЧКИ

Весна. Круговерть ледохода.
У бабочки зябнет крыло.
Похоже, добреет природа,
И словно растаяло зло.

Блаженство разлито в эфире.
На даче у нас тишина.
Но диктор вещает о мире,
А голос — как будто война.

В тачанки впряженные кони
Нас топчут копытами слов.
Предвидел ли это Маркони,
Который по-русски Попов?

Весны проявленья случайны,
Как бабочки легкой полет.
Мелькнет — и опять мы печальны:
Зима, и морозы, и лед.

Склерозные, вялые старцы
Несут свой пугающий вздор.
Для мира построили карцер
И космос ласкает их взор.

В ушах застревают одна лишь
Система их мертвых имен
Да пошлое слово «товарищ»
С татаро-монгольских времен.

Кто против, прикопят булавкой,
На крылья поставят печать.
Свобода здесь служит удавкой,
Полет — чтобы сверху стучать.

И даже любовь в этом разе
Печальная тропочка в ад:
Сугубо интимные связи
Есть путь производства солдат.

Вот бабочка — неудержима.
Не бабочки мы — ты да я.
Мы бьемся в сачке у режима
Под пьяные крики хамья.

И чем мы становимся старше,
Тем ближе наган у виска,
Тем громче победные марши,
Тем гуще глухая тоска.

А мы, дурачки, все порхаем,
Как бабочки в тот ледоход,
Мечтая на даче за чаем,
Что сменим закат на восход.

1986

Д. ШТУРМАН и С. ТИКТИН

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

В ЗЕРКАЛЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО АНЕКДОТА

Предварительная подписка на
издание второе исправленное и дополненное

Цена книги — 21 доллар. Для подписчиков цена, включая доставку заказной бандеролью морем — 16 долл, авиапочтой — 17,5 долл. Некоторое повышение стоимости книги вызвано увеличением ее объема, в основном, за счет НОВЫХ анекдотов, богатых событиями 1985-1986 гг.

Чеки посылать по адресу:

S.Tictin, 422/6 Misrakh Talpiot. Jerusalem 93802, Israel

Просьба к подписчикам сообщать свой подробный адрес.



Белла ДИЖУР

МЫ РЖАВЫЕ ЛИСТЯ

ПРОЩАЛЬНЫЙ ПЛАЧ

«Мы ржавые листья
на ржавых дубах».
Э. Багрицкий

1

Просторная русская фраза,
непешная русская речь,
служить бы тебе без отказа,
лелеять тебя и беречь.

Возвышенных слов переключку
вести до последних минут
и дерзкую эту привычку
представить на божеский суд.

2

Не лику Христову
и не Иегове,

тебе поклоняюсь
 Волшебное слово.
 Остаться б до гроба
 твоею рабой,
 но вот, я прощаюсь,
 прощаюсь с тобой.

3

Да. Я уезжаю...
 Ах, я уезжаю!
 И горько прощаюсь
 с родным языком.
 Россия. Отчизна моя дорогая!
 Мой бедный, мой старый
 отеческий дом.
 Чужие вокзалы,
 чужие кварталы,
 чужие наречья...
 Зачем они мне?
 Но что же нам делать
 с извечной опалой,
 с извечной опалой
 в родной стороне?
 Мы ржавые листья,
 рожденные в гетто,
 «Мы ржавые листья
 на ржавых дубах...»
 Нас ветер истории
 носит по свету.
 Библейские страсти
 мы носим в сердцах.

РОДСТВО

Я не догадывалась раньше,
 что куст рябины мне родня,

что он когда-то в прежних жизнях
 отпочковался от меня
 и стал растеньем, а не прахом.

Он рос и расцветал без страха,
 затем, не осознав беды,
 он напоил горчайшим соком
 свои багровые плоды.

А в этой горечи нетленной
 жестокой жизни торжество
 и наша боль, и наша сила
 и наше кровное родство.

МОЕМУ МУЖУ И ДРУГУ

1

Великодушной согнутой спиной,
 Прекрасной постаревшей рукой
 Ты охранял наш дом и наш покой...
 Ты был моею каменной стеной.

Ты так меня жалел и так любил,
 Ты совестью моей жестокой был.
 Уже почти бесплотен, невесом,
 Ты был моим серебряным щитом.

2

Я соскучилась о тебе. Где ты?
 Отзовись, пожалуйста, где ты?
 Вот уже отгорело лето
 А тебя все нету и нету...
 По багровым и желтым листьям
 Обошла я дома знакомых,
 Но тебя не найдешь, не сыщешь,

Я слушала, как оно стонет
под ураганным ветром.
Что оно вспоминает?
О чем позабыть не может?

Я видела, как чисто плотно
выбрасывает на берег
давно истлевшие травы —
зловонный мусор веков.

И был в голосах прибоя
отзвук родной стихии.

Ведь я, как и эти травы,
росла в морской колыбели,
в узорной, тесной ракушке
спала младенческим сном,
пока в недоступном небе
боги чужой вселенной
решали судьбы всех тварей
и среди них мою.



Александр ЯНОВ

ПУБЛИЦИСТИКА.
СОЦИОЛОГИЯ. КРИТИКА

ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО ЕРЕСИ

Впервые я читал «1984» по-русски — в оцепеневшей брежневской Москве. Это было секретное самиздатское чтение. Я читал роман Оруэлла, почти как его герой Уинстон Смит запретную рукопись Эммануила Гольдштейна, мифического врага Партии. Естественно, меня мало тогда интересовали главы, посвященные международной политике. Трагедия общества, в котором навсегда восторжествовала тоталитарная Партия и где сам факт мышления карался как ересь, затмевала все остальное.

Я и не подозревал, насколько страшнее — и насколько универсальнее — воздействие этой книги, когда читаешь ее на языке, на котором она была написана, и в мире, для которого она была написана. Ощущение продолжающейся трагедии охватило меня после первых 25 страниц. На середине книги, после третьей главы рукописи Гольдштейна «Война есть Мир», я был так глубоко подавлен, что пришлось отложить книгу. Следующим в моем списке был

«1999» Ричарда Никсона — политический трактат, легкое чтение, как я предполагал.

Я ошибся. На протяжении первых 25 страниц никсоновского трактата я не мог отделаться от ощущения, что продолжаю читать Оруэлла.

Потом это странное ощущение пропало. Но вопрос, откуда оно возникло, остался. Чтобы ответить на него, я снова просмотрел обе книги.

I

Читатель помнит, конечно, что в Оруэлловском мире война не кончается никогда. Только функция ее кардинальным образом изменилась. Ни одна из трех участвующих в ней сверхдержав вовсе не намеревается ни завоевать другие, ни даже сокрушить их. Каждая из них стремится к миру. Но поскольку мир есть война, то стремится она также к войне. Вполне возможно, впрочем, что никакой войны на самом деле нет. Важно лишь, чтоб население верило, что она есть. Запасы оружия все время накапливаются. Львиная доля ресурсов каждой из сверхдержав расходуется на разработку все более разрушительных средств уничтожения. Происходит перманентная военно-технологическая революция, пожирающая почти все, что производится в оруэлловском мире. Партия убеждает население, что все это необходимо для окончательной победы в бесконечной войне, которая называется мир, и сама Партия свято в это верит. Но, тем не менее, благодаря «двойному сознанию», убеждена она также и в том, что хотя у этой войны-мира и было начало (в атомных войнах 1950-х), конца ей не будет. И, следовательно, победы, в необходимость которой все обязаны верить, на самом деле быть не может.

Единственное, что существует реально в оруэлловском мире — сила (power), которая давно перестала быть средством для чего бы то ни было и превратилась, как объясняет несчастному Уинстону его рафинированный палач О'Брайен, в самоцель, в самоценность. Сила движет

миром. Нет ничего выше силы. Что бы ни изменялось в оруэлловском мире, самоценность силы не изменится никогда — она постоянный, неколебимый аспект этого мира. Таков был кошмар Джорджа Оруэлла, кошмар, спроектированный в бесконечность.

2

«Мы находимся в состоянии войны, которая называется мир». Хотя у этой войны-мира и было начало («Третья мировая война началась еще до того, как закончилась Вторая»), конца ей практически не будет: она «вероятно растянется на поколения». «Что движет миром для добра и для зла — есть сила (power), и ни одна суверенная нация не поступится своей силой — никогда. Это неколебимый аспект национального характера». «В ядерной войне не может быть победителей, только проигравшие. И все-таки ничто не заменит победы». «Советский Союз добивается победы без войны. Нашим ответом не может быть просто мир без победы. Мы тоже должны добиваться победы без войны».

Это все — из книги Никсона. Как может убедиться читатель, шок, который я испытал, перейдя от «1984» к «1999», вовсе не был беспричинным. Фантасмагорический мир Ричарда Никсона не особенно отличается от кошмарного сна Джорджа Оруэлла. По крайней мере, в нем есть место всем о'брайеновским парадоксам, которые только благодаря «двойному сознанию» воспринимаются не как парадоксы, а как единственно реалистический образ мышления.

Мы с вами живем, согласно Никсону, в мире, который в то же время оказывается войной, оставаясь при этом миром. Этот «мир-война» воспринимается как нечто перманентное, практически исключая таким образом победу, которая в то же время считается императивом. О'брайеновская сила (power) оказывается самоцелью в этом меняющемся и в то же время неизменном мире. Все воюющие стороны единодушно признают войну немислимой и в то

же время, все они разоряют свое народное хозяйство, готовясь к этой невыносимой войне.

В мире Никсона сама идея разоружения считается либо глупостью, либо пропагандой, а признание необходимости гонки («модернизации») вооружений — символом здравого смысла и респектабельности. В этом мире человечеству не рекомендуется обращать внимание на надвигающуюся экологическую катастрофу — с ее озоновой дырой и парниковым эффектом в атмосфере — ради того, чтоб продолжать бессмысленную военно-технологическую революцию для войны, которой никогда не будет. Обитатели этого мира считают дурным тоном даже замечать самоубийственную парадоксальность их поведения.

3

Роман Оруэлла был опубликован в 1949, трактат Никсона 40 лет спустя. Многие детали поэтому, естественно, не совпадают. Совпадает, однако, нечто более существенное — метод политического мышления. Оруэлл не предвидел в «1984» наступление ядерного века, только атомного. Поэтому у него доминирует образ «войны-мира», тогда как у Никсона — образ «мира-войны». И тем не менее предвидел Оруэлл главное: наступление эры оружия, превращающего войну в глобальное самоубийство, неизбежно выбьет почву из-под ног у традиционных политиков. И в попытке адаптировать свою отжившую конвенциональную мудрость к реальностям неконвенционального мира их мышление должно будет раздвоиться. Оно раздвоилось. Трактат Никсона неопровержимо свидетельствует, что эпоха «двойного сознания» наступила.

4

На протяжении десятилетий холодной войны мы привыкли рассматривать советскую политику как воплощение

узкого, неповоротливого догматизма. Ее лидеры были жрецами анахроничной ленинской церкви, учившей, что предпосылкой мира на земле может быть только уничтожение «агрессивного империализма». На этом фоне американские политики представляли мыслителями, свободными от отживших догм. «1999» требует ревизии этого упрощенного представления, ибо Никсон выразил в своем трактате не только свою личную точку зрения. Он откровенно претендует на роль ментора американских политиков. И никто из его рецензентов даже не заметил в его трактате жутких черт «двойного сознания». «1999» документально подтверждает, что большая часть американских политиков — в плену у догм своей собственной идеологической церкви, которую они уважительно именуют «политическим реализмом» и которая ничуть не менее анахронична, нежели советская.

Более того, она оказывается на деле зеркальным ее отражением. В том, по крайней мере, смысле, что не представляет себе мира на земле без уничтожения «тоталитарного коммунизма».

Две антагонистические церкви никогда не могли ужиться на одной земле. В ядерном веке их противостояние неминуемо привело бы к новой мировой войне. В ядерную эпоху оно привело к «раздвоению сознания». Единственное, к чему оно никак не может привести, — к разрешению глобального конфликта.

Трагическая ирония истории заключалась в том, что детант 1970-х возглавлялся Брежневым, верховным жрецом «тоталитарного коммунизма», а партнером его был этот самый Никсон, верховный жрец «агрессивного империализма». И каждый из них видел мир как войну, спроектированную в бесконечность. И каждый из них не мог представить себе мир на земле без уничтожения партнера по детанту.

Какой, спрашивается, могла быть судьба такого детанта, который на самом деле был торжеством «двойного созна-

ния» с обеих сторон и который синхронизировал только интеллектуальную стагнацию в Москве и в Вашингтоне? Такая пауза в холодной войне могла привести только к ее возобновлению и привела. Ибо, логически рассуждая, действительной предпосылкой детанта может быть лишь отстранение обеих антагонистических церквей от мировой политики, а еще лучше, их разрушение в ходе радикальной реформы, единственно способной преодолеть интеллектуальную спячку — и в Москве, и в Вашингтоне. Ибо без такой реформы опасное скольжение к оруэлловскому миру, обусловленное «раздвоением сознания» конвенциональных политиков, может оказаться неостановимым.

5

К счастью, ядерный век принес не только «раздвоение сознания», но и «новое мышление», т.е. отчаянную попытку вырваться из исторической ловушки, в которой судьбы неконвенционального века определяются жрецами конвенциональных церквей. Заслуга провозглашения этого «нового мышления» по праву принадлежит Джону Ф. Кеннеди, единственному американскому президенту, которому суждено было заглянуть в ядерную бездну. Кеннеди не просто от нее отшатнулся. Он вышел из этого испытания с иконоборческим видением будущего безъядерного мира, с принципиально иным подходом к паузе в холодной войне, с новым курсом, направленным на разрушение «двойного сознания». Так случилось, что судьба оставила ему лишь несколько месяцев жизни. В противоположность Никсону, у которого было вполне достаточно времени для доказательства, что его эрзац-детант ведет лишь к возобновлению холодной войны, Кеннеди не успел доказать ни теоретическую возможность, ни практическую жизнеспособность своего «нового мышления».

Сейчас, когда наступила третья историческая пауза в холодной войне и реформистские идеи Кеннеди неожи-

данно возвращаются к нам из Москвы, вновь охваченной реформистским энтузиазмом, мы вдруг оказались перед роковым выбором между двумя отрицающими друг друга подходами к детанту — между о'брайеновским видением Никсона и иконоборческим видением Кеннеди.

6

Многие ли помнят Джона Фицджералда Кеннеди, вполне современного американского политика, вдруг заговорившего в 1963-м языком библейских пророков: «Если эта пауза в холодной войне приведет не к ее окончанию, но лишь к ее возобновлению — приговор потомства справедливо падет на наши головы»? Это тем более удивительно потому, что пауза 1963-го, о которой вел он речь, была несопоставимо менее глубокой и перспективной, нежели нынешняя. И все-таки президент Кеннеди без колебаний признал ее принципиальным прорывом в международных отношениях в ядерном столетии. За четверть века до Михаила Горбачева он провозгласил: «Мы не отвергаем разоружение как пустую мечту». И еще более пророчески: «Мы должны уничтожить орудия войны прежде, чем они уничтожат нас».

И если Горбачев, другой реформистский лидер, заговоривший на библейском языке, провозглашает сейчас: «Мы все пассажиры на одном корабле Земля, и мы не должны позволить его потопить», ибо «другого Ноева ковчега не будет», Кеннеди все равно сказал это первым: «Если мы не сможем сейчас покончить с нашими разногласиями, мы можем, по крайней мере, сделать мир безопасным для разногласия».

Если философию «нового мышления» во всем ее противостоянии «двойному сознанию» можно выразить одной краткой формулой, то вот она — в этих словах Кеннеди.

Иосиф Сталин хотел сделать мир «безопасным для социализма». С этой идеей подходил к детанту Брежнев. Джон

Ф. Даллес хотел сделать мир «безопасным для демократии». С этой идеей подходил к детанту Никсон. Кеннеди хотел сделать мир «безопасным для разногласия». Одно лишь слово изменил он в утратившей смысл формуле, и она наполнилась библейской мудростью.

Миру, который надлежит сделать безопасным для разногласия, не понадобятся антагонистические церкви, объявляющие мир войной и гонку вооружений гарантией сохранения жизни на земле. Ему не понадобится молох военно-технологической революции, угрожающий поглотить нас вместе со всеми нашими разногласиями. Одним словом, ему не понадобится «двойное сознание». Это не более, чем естественный человеческий взгляд на вещи. И в этом состоит смысл «нового мышления».

Ни на минуту не ставит оно себе утопическую цель — сделать мир совершенным и отменить конфликты на земле. Оно стремится лишь сделать эти конфликты безопасными, разрешимыми за столом переговоров, а не на поле брани, в лабораториях мысли, а не в лабораториях смерти.

7

Я превосходно понимаю, как, надо полагать, понимал и Кеннеди, до какой степени наивно выглядит философия «нового мышления», если смотреть на нее глазами жрецов «политического реализма». Но ведь философия религиозной толерантности, лежащая в основе конституции Соединенных Штатов, выглядит столь же наивно, если взглянуть на нее глазами средневекового «политического реализма». Разве Игнатий Лойола, вождь католической контрреформы в XVI веке, пытавшийся сделать мир «безопасным для католицизма», поверил бы хоть на минуту, что общество безопасное для разногласия возможно на земле? Разве поверил бы в это Мартин Лютер, хлопотавший о мире «безопасном для протестантизма»? Ничего кроме саркастической усмешки не вызвало бы у этих чемпионов

средневекового политического реализма «новое мышление» Шарля де Монтескье или Томаса Джефферсона.

А между тем, их «реализм» вел в исторический тупик. Если бы человечество их послушалось, мы все до сих пор жили бы в братоубийственной ситуации Северной Ирландии.

Именно иконоборческое и наивное «новое мышление» содержало конструктивное решение, столетиями ускользавшее от жрецов «реализма». Решение это, как оказалось, состояло не в том, чтобы сделать общество «свободным от ереси и разногласия». Оно состояло в том, чтобы легитимизировать ересь, признать ее нормой человеческого общежития. Разногласия будут всегда. Только решать их посредством Варфоломеевских ночей — варварство. По сути, Джефферсон говорил то же самое, что Кеннеди: если мы не можем согласиться во всем, давайте согласимся в одном — резать друг друга из-за этого не следует. И тогда нам не понадобится сила (power) для подавления ереси. Вот такое наивное решение.

И что же, не оказалось ли, что при всей его наивности решение это было единственным реалистическим способом обезопасить и католицизм и протестантизм?

XX век поставил весь мир перед той же самой дилеммой, из которой западное общество с таким трудом вырвалось в XVIII-м. Снова стоят друг против друга те же две непримиримые церкви: авторитарный католицизм и демократический протестантизм (хотя и зовут они теперь друг друга иными именами, как, скажем, «тоталитарный коммунизм» и «агрессивный империализм».) И каждая из них рассматривает другую как ересь, подлежащую уничтожению. И каждая считает другую тем горбатым, исправить которого может только могила. И вооружены они вдобавок не мечами, а ядерными бомбами. Так что же нам делать? Беспристрастно наблюдать, как постепенно — и необратимо — превращается наш мир в ядерный Ульстер? Или отбросить раз и навсегда этот средневековый «реализм», как

сделал уже однажды западный мир в XVIII веке, и легитимизировать ересь?*

Так или иначе, центральная дилемма конца XX века принципиально не отличается от той, перед которой стоял западный мир с его расколовшейся верой на исходе средневековья. Невозможно было в XVI веке легитимизировать агрессивный католицизм Лойолы (так же, как в XX-м казарменный коммунизм Сталина). Но легитимизировать наследников Лойолы в XVIII столетии оказалось возможно. Бессмысленно было бы пытаться легитимизировать воинствующий протестантизм Лютера (так же, как идеологическую нетерпимость Джона Ф. Даллеса). Но наследники Лютера поддавались, как оказалось, легитимизации.

Это понял Монтескье в XVIII веке. Это понял Кеннеди в XX-м. Этого до сих пор не понял Никсон. Этого никогда не поймут о'брайены нашего мира.

Как видим, выбор наставников у нас невелик. Мы можем либо положиться на опыт Монтескье и Джефферсона, либо на опыт О'Брайена и Никсона. И третьего пути, как свидетельствует история, не дано. Выбор невелик, но чудовищно труден. Ибо, хотя средние века и миновали, средневековая ментальность, воспитанная на крестовых походах, религиозной нетерпимости и «политическом реализме», осталась. Более того, в результате десятилетий холодной войны она доминирует над нашим мышлением. Она претендует на роль здравого смысла. Она институционализиро-

* Бывают, конечно, исключения. Бывают отклонения, в принципе не поддающиеся легитимизации в цивилизованном обществе как, например, организованная преступность или терроризм. Бывают и отклонения, в принципе не поддающиеся легитимизации в цивилизованной мировой политике как, например, казарменный коммунизм, фашизм или воинствующий фундаментализм. Но не говорим же мы, что демократия, т.е. общество, легитимизировавшее ересь, невозможна по причине организованной преступности или терроризма. Нет правил без исключения. Спор наш, однако, не об исключениях, но о правиле.

валась в идеологических церквях и военно-промышленных комплексах обеих сверхдержав.

Вот почему без глубокой радикальной реформы, соблазнительно сказать, революции в мышлении, невозможно низвергнуть современные идеологические церкви — сталинскую в Москве и «политического реализма» в Вашингтоне. Джон Ф. Кеннеди начал эту революцию в 1963-м. Михаил С. Горбачев поднял ее упавшее знамя в 1987.

8

А теперь рассмотрим кратко основные компоненты Кеннеди-Горбачевского «нового мышления».

1. В холодной войне возможны паузы.

2. Такая пауза может при определенных условиях перейти в длительный период сотрудничества между сверхдержавами. Более того, если хотя бы часть гигантской интеллектуальной энергии, затрачиваемой сейчас в обеих сверхдержавах на углубление конфронтации, переключить на конструктивное сотрудничество, пауза в холодной войне может привести не только к ее окончанию, но и к радикальной трансформации классических стереотипов международного поведения — к миру, «безопасному для разногласия» (согласно Кеннеди), к миру, «свободному от войны, без гонки вооружений, ядерного оружия и насилия» (согласно Горбачеву).

3. Хотя такая принципиальная трансформация и считается невозможной с точки зрения доядерных конвенций, как Кеннеди, так и Горбачев противопоставляют им апокалипсическую мощь ядерного оружия и высший императив взаимного выживания. До сих пор в истории человечества не было случая, говорит Кеннеди, когда орудия войны могли бы его уничтожить. И следовательно, подхватывает Горбачев, «впервые в истории возник реальный, не спекулятивный и отдаленный, общечеловеческий интерес — спасти человечество от (глобального)

бедствия». Вот почему доядерные конвенции не работают в ядерном веке и «противники должны стать партнерами» по выживанию.

4. Главным условием такой трансформации является смелая, немедленная и всеохватывающая мобилизация интеллектуальных потенциалов обеих сверхдержав на разработку возможностей, представленных паузой в холодной войне.

Согласно Кеннеди, «если бы мы смогли растянуть эту паузу, превратив ее в период сотрудничества, если бы обе стороны сумели найти новую уверенность и опыт в конкретной координации усилий, если бы они были так же смелы и проникательны в контроле над смертоносным оружием, как они были в его создании, — тогда мы могли бы быть уверены, что эта пауза станет началом долгого и плодотворного пути» к миру. Если мы не сделаем этого сегодня, — предупреждает Горбачев, — «завтра может оказаться поздно, а послезавтра может не наступить никогда».

Ни Кеннеди, ни Горбачев нигде не объяснили, что стоит за их апокалипсическим нетерпением. Можно предположить, однако, что за ним не только страх случайной ошибки, которая может оказаться фатальной в ядерном веке, но и интуитивное опасение, что пауза в холодной войне может исчезнуть так же внезапно, как она появилась. Окно захлопнется, и между сверхдержавами снова вырастет стена непонимания. Иначе говоря, если мы утратим динамику перемирия в холодной войне и не реализуем немедленно все возможности, которые оно открывает, мы рискуем внезапно вернуться туда, где были — в царство средневековой ментальности.

Судьба обошлась с Кеннеди жестоко: во-первых, она отняла у него шанс сделать следующий шаг на том долгом пути к миру, на который он, как ему казалось, вступил. Его

пророчество прозвучало в сентябре, а в ноябре его уже не было среди нас. Во-вторых, его проект детанта был отвергнут «политическими реалистами» немедленно после его смерти.

Едва ноябрьское покушение отняло у мира Кеннеди и, как следствие этого, брежневский переворот вышвырнул из Кремля Хрущева, ощущение интеллектуального прорыва, окружавшее их только-только проклюнувшийся детант, испарилось, словно бы его никогда и не было. Ликвидация двух великих реформаторов и последовавшая за нею интеллектуальная стагнация в обеих сверхдержавах сделали исполнение горького пророчества Кеннеди неизбежным: приговор потомства пал на наши головы. «Двойное сознание» восторжествовало над «новым мышлением». На смену политическим гигантам пришли «политические реалисты». Америке предстояло на долгие годы увязнуть в крови и грязи Вьетнама. Россия безудержно катилась к крови и грязи Афганистана.

Вторая пауза в холодной войне пришла, когда политическое руководство в обеих сверхдержавах впало в глубокую интеллектуальную спячку. Разумеется, изощренные геополитические маневры продолжались на шахматной доске мировой политики и порою они даже выглядели эффектно: США сделали ход конем в сторону КНР, СССР — в сторону США. Только все эти ходы руководились традиционным мышлением «политического реализма» и ровно ничего общего не имели с еретическим проектом постядерного будущего, который вдохновлял Кеннеди. Лидеры стагнации черпали вдохновение из доядерного прошлого, иные, как Киссинджер, вообще из прошлого века — из политики австрийского канцлера Меттерниха в эпоху Священного Союза 1815-48 г.г.

Ровно ничего нет удивительного поэтому в том, что

детант Никсона-Брежнева сконструирован был соответственно всем принципам «двойного сознания»: разоружение было отвергнуто как пустая мечта; о проекте мира, безопасного для разногласия, как логическом увенчании детанта и думать забыли. Детант Никсона-Брежнева по сути был лишен какой бы то ни было цели. Он был обречен на топтание на месте. Он превратился в бесплодную геополитическую игру. Ни в малейшей степени не были его инициаторы так смелы и проникательны в контроле над смертоносным оружием, как были они в его создании. Результат соответствовал замыслу.

Вместо новой уверенности и опыта в конкретном сотрудничестве, как завещал Кеннеди, пауза 1970-х принесла самое грандиозное в истории наращивание ядерного потенциала. Контроль над вооружениями превратился, по существу, в способ регулирования гонки вооружений. Региональные конфликты размножались путем простого деления. Так бесславно погибла вторая пауза в холодной войне. На этот раз в ее гибели не было ничего трагического или даже загадочного. Ни роковые выстрелы в Далласе, ни переворот в Кремле для этого не понадобились. Она просто испарилась — от отсутствия ясной цели, от отсутствия «нового мышления», что в ядерном веке означает государственное мышление. Конец ее доказал, что неспособна она развиваться в период сотрудничества на основе доядерного «политического реализма». Тягучая эпопея 1972-75 гг., присвоившая себе имя детанта, напоминала еретический проект Кеннеди 1963 не более, чем «Кавалер Золотой Звезды» напоминал «Бориса Годунова».

11

Внешнеполитические неудачи правительств, даже если они и не приводят к большой войне, обходятся народам в копейку. Неадекватность «политического реализма» в ядерном веке обернулась не только Вьетнамом для Амери-

ки и Афганистаном для России. Порожденный холодной войной молох военно-технологической революции последовательно пожирает бюджеты обеих сверхдержав. Горбачев принял Россию на краю пропасти. Предотвратить катастрофу он может только радикальной реформой. Что касается Америки, то, согласно недавнему бестселлеру Пола Кеннеди, она вступила в зону такого «имперского перенапряжения», которое предвещает перманентный упадок.

Пол Кеннеди может, конечно, ошибаться. Неоспорим, тем не менее, факт, что Америка имеет сегодня тот же объем военных обязательств, какой имела она в дни Джона Кеннеди, когда ее доля в мировом производстве была несопоставимо выше. И нет никакого другого способа платить за этот разрыв между американскими обязательствами и американскими возможностями, нежели чудовищным ростом государственного долга. Единственный аналог великой державы, допустившей такую экстраординарную национальную задолженность в мирное время — Франция 1780-х годов, накануне национальной катастрофы. Вот во что обошлись обеим сверхдержавам две провороненные паузы в холодной войне. Так можем ли мы позволить себе проворонить и третью?

В нашем законном разочаровании никсоновским эрзац-детантом мы словно бы забыли, что на жрецах «политического реализма» свет клином не сошелся. Кеннеди нет среди нас, но ведь он оставил нам свое интеллектуальное наследство. Проблема лишь в том, что на протяжении четверти века мы ведем себя как бездарные наследники.

12

Наследство Кеннеди учит нас, между прочим, и тому, что «политический реализм» есть на самом деле всего лишь кунсткамера устаревших догм, столь же адекватных в ядерном веке, что и окаменевшие догмы сталинизма. Разница лишь в том, что московские реформаторы публично

громят сейчас сталинскую кунсткамеру, тогда как эра гласности для догм «политического реализма» пока еще не наступила в Америке.

Кеннеди не свалился с неба, однако. Он пришел в эпоху, когда Америка чувствовала себя не только военной, но и интеллектуальной сверхдержавой — в разгаре реформы и гласности. Он был символом реформы. Его еретическое «новое мышление» было порождено реформой. Вот почему наследство его учит не сонному пережевыванию догм о противостоянии «свободного мира» и «тоталитарного коммунизма», а интеллектуальной дерзости первооткрывателей.

Для «политических реалистов» не было разницы между реформистской Россией Хрущева, отчаянно пытавшейся вырваться из жестких объятий своего сталинистского прошлого, и самодовольным и наглым брежневизмом, старавшимся сохранить из этого прошлого все, что возможно. Для «политических реалистов» все это был один и тот же, никогда не меняющийся «тоталитарный коммунизм» — враг, которого следует сокрушить. В отличие от них, Кеннеди понимал язык реформы. Он способен был принять вызов истории. Он отвечал на иконоборческие идеи Хрущева потому, что сам был иконоборцем. По сути 1963 был единственным годом за почти полу столетие ядерной эры, когда внешнеполитическая реформа в обеих сверхдержавках оказалась синхронизированной. Вот почему убийство Кеннеди и устранение Хрущева оказались личной трагедией для реформистской интеллигенции ядерного века. И вот почему наследство Кеннеди оказывается столь актуальным сейчас, когда реформистская интеллигенция России снова подняла голову — и то, что казалось невозможным поколению интеллектуальной летаргии после 1963, опять оказывается возможным.

Наследство Кеннеди учит, например, что с наступлением паузы в холодной войне Америка должна стать во главе смелого поиска путей немедленного прекращения

военно-технической революции. Она должна придать этой паузе цель и смысл — зажечь человечество идеей мира, безопасного для разногласия. Она должна первой поднять знамя «нового мышления».

Она должна — но она не делает этого.

13

В отличие от московской, вашингтонская публика по-прежнему погружена в летаргию. Жрецы «политического реализма» по-прежнему чувствуют себя на коне — и по-прежнему самодовольно читают нам проповеди о вреде ереси и о пользе «двойного сознания». И нет на них гласности...

Психологически их понять нетрудно. Они чувствовали себя вполне комфортабельно с лидерами застоя в Москве. И те и другие говорили на одном и том же стерильном геополитическом языке — никакого разоружения, никаких утопических проектов безъядерного мира, контролируй смертоносное оружие одной рукой и модернизируй его другой. Реформисты, будь то Хрущев, или Горбачев, или, если на то пошло, Кеннеди, приводят их в смятение, ломают любезные их сердцу бюрократические стереотипы. Самый дух внешнеполитической реформы им противен. Интеллектуальный застой нужен им, как воздух, ибо они интеллектуально бесплодны. Они сопротивляются «новому мышлению» по той причине, по какой сопротивляются перестройке советские бюрократы. Чего они на самом деле хотели бы — это синхронизации интеллектуального застоя в обеих сверхдержавках — по возможности навсегда. К несчастью для них, это уже было испробовано в 1970-е — и привело к беде.

Сегодня, когда Горбачев вдруг заговорил языком Кеннеди, их единственным прибежищем оказалась проповедь «осторожности» и «терпения» — псевдонимов интеллектуального бесплодия. Они рекомендуют подождать и посмот-

реть, как обернется реформа в России. Тот самый Киссинджер, который не колебался идти на детант с тупой и агрессивной брежневской Москвой, катившейся к Афганистану, предписывает сейчас осторожность с живой, реформирующейся Москвой — в разгаре дебрежевизации и вывода войск из Афганистана. Другой влиятельный обозреватель Уиллиам Сафайр категоричен: «Недоверие завоевывалось четыре десятилетия, сейчас наступают годы завоевания доверия. Хорошие игроки знают, когда играть и когда пасовать». Дмитрий Симес рекомендует «позицию симпатизирующего скептицизма».

Это голоса политических банкротов. Они проповедуют тот же самый застой, который уже погубил две паузы в холодной войне. Они убаюкивают американскую публику. Они хотят предотвратить приход гласности и реформы. Но превыше всего стремятся они сохранить неуклонный марш военно-технологической революции. Для нее они не рекомендуют ни осторожность, ни терпение. А если по пути и сокрушит она перестройку в России, а с нею и третью паузу в холодной войне — что ж, *se la vie*.

К сожалению, инерция интеллектуального застоя, растянувшегося на целое поколение, настолько могущественна, что американская публика не в состоянии противиться такому массивному наступлению «двойного сознания». И это ставит третью паузу в холодной войне под смертельную угрозу.

14

То, что Горбачев пытается сейчас в Москве сделать, все больше напоминает русский вариант новой линии Рузвельта. В эпоху Рузвельта, однако, в 1930-е, военные расходы Америки были пренебрежимо малы, чуть ниже, чем у Румынии. Подумаем, преуспел ли бы Рузвельт, если бы ему пришлось тратить до четверти национального дохода на производство смертоносного хлама вместо того, чтобы

сконцентрировать все ресурсы страны на радикальном обновлении ее инфраструктуры. А ведь Горбачеву придется делать именно это. Вот почему третья пауза в холодной войне практически обречена, если нам не удастся немедленно оборвать триумфальный марш военно-технологической революции: она просто не оставляет Горбачеву достаточно ресурсов для его перестройки. При таком положении дел он раньше или позже должен потерять контроль над направлением политического изменения в России, как потерял его четверть века назад Хрущев, для которого смерть Кеннеди означала крушение надежды на прекращение гонки вооружений, а стало быть, смерть реформы. Если это случится (а это безусловно случится, если американская публика последует совету жрецов «двойного сознания»), трагическая история 1960-х повторится в 1990-х.

15

На этот раз, однако, последствия подавления реформы окажутся намного более страшными. Хотя бы потому, что реформа зашла на этот раз гораздо дальше и ресурсы мирного изменения России исчерпаны. Подавление революции Горбачева потребует контрреволюции — в масштабах, сравнимых с 1917-м. Когда я попытался вычислить — на основе исторического опыта — какие политические формы может принять дегорбачевизация России в конце уходящего тысячелетия (в недавней книге «Русская Идея и 2000 год»), заключение оказалось настолько оруэлловским, что большая часть читателей просто отказалась его принять. Но вот вам совершенно независимое заключение советского публициста Василия Селюнина, опубликованное в «Новом мире»: «Если не будет крутых перемен, в середине 90-х годов наша экономика развалится со всеми вытекающими отсюда последствиями — социальными, внешнеполитическими, военными и т.п. Тогда поздно будет хлопотать о демократии — периодам развала хозяйства больше соответствует диктатура».

Я не должен убеждать читателя, что мы с Селюниным не сговаривались. Важно лишь то, что наши выводы совпали. И трудно, наверное, отрицать, что одним из последствий контрреволюционной диктатуры был бы не только новый Холокост для евреев (как и для всех либералов), но и окончательное — на все времена — крушение контроля над вооружениями. Четвертой паузы в холодной войне по всей вероятности не будет. Окажется ли Америка способной выдержать такой оруэлловский поворот событий в мировой политике? Или 1984 все еще возможен, скажем, в 2004-м?

ПОСТКРИПТУМ

Не может быть сомнения, что пока есть еще время хлопотать о демократии в России (да и в Америке), пока есть еще время разбудить американскую публику, объяснив ей смертельную опасность такого поворота событий, кто-то должен это сделать. Но кто? Честно говоря, у меня нет готового ответа на этот вопрос. Только предложение для размышлений.

Если этот номер журнала попадетя моим бывшим соратникам по реформе в Москве из славной когорты «шестидесятников», я предложил бы им подумать вот над чем. Они сумели разбудить российскую публику, объяснив ей опасность провала перестройки. Они успешно расшатали столпы филистимского храма сталинизма в Москве. Почему бы им не попытаться сделать тоже самое со столпами «двойного сознания» в Америке?

Я убежден, что масштабов этой опасности они себе не представляют. Она, между тем, ничуть не меньше, скорее больше опасности бюрократического сопротивления перестройке. Ведь бюрократы — всего лишь первая линия сопротивления. Когда она будет разгромлена, в начале 90-х на авансцену выйдет вторая, и самая грозная сила сопротивления: советский военно-промышленный комплекс. Преодолеть эту силу без сотрудничества с американской

публикой будет столь же немыслимо в 1990-е, сколь было в 1960-е. Поэтому иметь американскую публику на своей стороне — императив перестройки. Ее необходимо вырвать из-под убаюкивающего влияния жрецов «политического реализма». А для этого к ней нужно обратиться через их головы. И я не вижу, почему российские либеральные интеллектуалы не могли бы это сделать. В особенности те из них, кто уже завоевал себе репутацию независимых и отважных мыслителей и кого будут здесь слушать именно поэтому. Назову лишь несколько имен: Андрей Сахаров, Григорий Померанц, Татьяна Заславская, Юрий Афанасьев, Андрей Нуйкин, Алесь Адамович.

Почему бы им не противопоставить бесстрашную логику реформы летаргической проповеди застоя, которую мы слышим от Киссинджера, Сафайра, Никсона или Симеса? Почему бы им не поднять против них знамя Кеннеди и «нового мышления»? Почему бы им не попытаться разбудить американскую публику тем же способом, каким будят они советскую, т.е. серией беспощадных по остроте и откровенности статей и выступлений в американских средствах массовой информации?

Да и время взростеть российской либеральной интеллигенции, время выходить на мировую политическую арену — самостоятельно, как выходят сейчас на мировую арену хозяйственную лучшие из советских менеджеров. Министерство Иностранных дел не сделает этого за них, так же, как экономические министерства не делают этого, скажем, для Владимира Кабаидзе. Если он не боится напрямую участвовать в международной экономике, почему Сахарова не видно на арене международной политики?

Нет сомнения, это еретическая идея. Но ведь и все «новое мышление», никуда не денешься, ересь. И Кеннеди был еретиком. И Горбачев еретик. И сами они, российские реформаторы, — безнадёжные еретики, как им ежедневно напоминают их застойные оппоненты. Во славу ереси и написана эта статья.

ФИЛИМОНОВ

КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ

*Из книги «Феномен русского духа:
общество против личности»*

Политические формы у нас, как известно, менялись, и очень радикально. До неузнаваемости переменялся и состав властвующей элиты. Однако суть отношений власти и народа, общий строй политической жизни общества изменились лишь внешне и совсем не так, как принято считать. С.Л. Франк точно подметил еще семь десятилетий назад, что «не политические формы, как таковые, определяют добро и зло в народной жизни, а проникающий их живой нравственный дух народа»*.

В советский период с общественной моралью и психологией произошло нечто подобное тому, что случилось с ней в годы царствования Петра I. При кардинальных переменах в их внешнем рисунке, в используемых словесных клише и символах, в объектах поклонения и про-

Публикуется с любезного разрешения журнала «Внутренние противоречия». Печатается в сокращенном виде.

* С.Л. Франк. В: «Из глубины» (сборник статей о русской революции). Париж, 1964, с. 324.

клятий, практически в неприкосновенности сохранились многие базовые консервативные стереотипы, нормы и установки. Но подобным переодеванием дело не ограничилось. В дополнение к старым, сложились новые антиличностные, антигуманные стереотипы. В то же время подверглись эрозии, вытеснены аномией и моральным релятивизмом позитивные, с гуманистической точки зрения, черты предреволюционной общественной морали. Как при Петре был нанесен удар по традиционным нормам и ценностям крестьянской общины («мира»), так при большевистском режиме шло интенсивное размывание тех христианских норм и ценностей, которые стали универсальной основой отношений между людьми повсюду в Западном мире и даже за его пределами.

Падение религиозной морали вызвали три фактора, действовавшие на разных уровнях общества, но, к несчастью, оказавшиеся однонаправленными. Со стороны власти это — жестокие гонения на веру, достигшие максимального размаха в 30-е годы, но продолжающиеся и поныне. Со стороны церкви, в течение столетий выполнявшей роль официальной государственной идеологии, это — недостаток потенциала независимого морального противостояния неправой силе в изменившихся обстоятельствах. Со стороны паствы это — нехватка исконной христианской готовности постоять, а если надо, то и пострадать за веру, воистину «принять на себя крест».

В результате в течение жизни последних трех поколений шла нарастающая дегуманизация нашего общества: эмоциональная сфера человека становилась бедней, он утрачивал душевную тонкость, отзывчивость, способность к пониманию чужого внутреннего мира, к состраданию, сильно деградировало чувство собственного достоинства.

Словом, по сравнению с нашими жившими 100 лет назад предками, мы в морально-гуманистическом плане утратили очень многое. Наша мораль в целом стала еще более антиличностной, псевдоколлективистской. Восторжествова-

ла идеология воинствующего попрания личности. Ее квинт-эссенцию выразил страшный лозунг: «Незаменимых нет». Он открыто заявил себя в качестве альтернативы христианской гуманистической этике, в основе своей исходящей именно из уникальности и потому незаменимости каждого человека, ибо каждый носит в себе частичку высшего духовного начала (каковы бы ни были имя и происхождение этого начала).

Целенаправленное выжигание у человека чувства личного достоинства в сочетании с системой исходящих от властей подачек привели к тяжелым последствиям: всеобщая несвобода сплелась с развращающим души людей подлым «икорным страхом» (выражение В.С. Гроссмана) — страхом лишиться тех жалких благ, а иногда и элементарных прав, доступ к которым зависит от позиции человека в системе и расположения вышестоящих персон. Широкое массовое распространение этой античеловечной по своей сути морали способствовало кристаллизации чудовищного по своей извращенности общественно-политического порядка. Возник строй, стоящий на целом ряде уродливых, искаженных форм социальных отношений, своего рода «королевство кривых зеркал», где все определяется имитациями, подделками под нормальные общественные институты:

- псевдодеятельность, т.е. имитация рационального напряженного труда (для конкретных людей порой выливающаяся в весьма хлопотливую и нервную суету, которая, однако, неэффективна, а зачастую — и бессмысленна с точки зрения общественной пользы);

- псевдоделовитость (лучший пример ее — современный бюрократический аппарат, талантливо имитирующий кипучую перестроечную активность);

- псевдоидейность, т.е. имитация искренней приверженности официальной идеологии, на деле прикрывающая прагматизм или даже циничную беспринципность;

- псевдодемократичность, т.е. придание демократи-

ческой видимости авторитарно-бюрократическим действиям;

- псевдоколлективизм, т.е. имитация групповой сплоченности на добровольной основе, маскирующая на деле кардинально иной — властно-принудительный — способ организации;

- псевдоплановость — эта разновидность «псевдо» хорошо раскрыта и в специальной литературе, и в журналистике и потому в расшифровке не нуждается;

- псевдоинициативность, т.е. активизм, на деле представляющий собой активное приспособленчество, гиперконформизм (Э. Фромм относил конформизм к числу наиболее опасных видов отчужденного поведения, ибо он сохраняет видимость индивидуальности, но индивидуальность эта — фикция);

- господство псевдоэлиты, т.е. захватившей власть над обществом прослойки энергичных люмпенов.

Но функции опор режима все перечисленные «псевдо» выполняют вполне реально и весьма надежно.

Таким образом, можно сказать, что режим стоит на системе искаженных, а то и перевернутых моральных ценностей и ложных социально-психологических стереотипов. Поэтому этот текст, посвященный их краткому обзору, в принципе можно было бы озаглавить: «Моральный кодекс победившего хама». Перейдем к его непосредственному описанию.

Начнем с антиличностной установки в СССР. Ее суть — в активном неприятии чьей-то, хотя бы относительной, материальной или духовной независимости, раскрепощенности и, следовательно, свободы, в поддержке и воспроизводстве традиционных моральных норм, блокирующих индивидуалистическую, «незапрограммированную» активность отдельной личности. Можно сказать с определенной долей условности, что этот завистливый угнетательный антииндивидуализм выражается стереотипом: «нико-

му из мне подобных не должно быть лучше чем мне». Отсюда вытекает принцип принудительной коллективности и эксплуатации стадного чувства. В его основе лежит ярко антиличностный стереотип: «все, как один...» Любой советский человек сотни раз за свою жизнь сталкивается с призывами, начинающимися этими словами и сильно смахивающими на приказ. Уместные лишь при действительно чрезвычайных обстоятельствах (аварии и стихийные бедствия), они используются по множеству поводов — от обычной уборки урожая (которая каждый год организуется по стандартам почти что военной кампании) или «всеобщих выборов» до бессмысленных стопроцентных «выходов» на организуемые партаппаратом субботники или «добровольно-принудительного» выкачивания средств из населения (когда-то в форме займов, затем — «в фонд мира», «фонд пятилетки», «фонд Вьетнама» и т.д., последние годы — под вывеской строительства всевозможных мемориалов или «фонд Чернобыля»).

В этих ситуациях человек, независимо от его воли и желания, втягивается в коллективное действие, в котором его личное мнение не значит практически ничего. Лишь единичные, самые отважные люди могут пытаться как-то выразить свой индивидуальный подход к вопросу, что, с одной стороны, вызывает агрессивную неприязнь «стаи», а с другой — даже в лучшем случае, лишь приносит самому смельчаку моральное удовлетворение (поскольку спаянный круговой порукой «коллектив» позаботится о том, чтобы никто не узнал о его «бунте»).

Но все же именно эти отдельные неконформистские действия (как правило, приносящие тем, кто их совершает, лишь неприятности и не дающие видимых результатов), именно они по каплям и подтачивают стадную психологию, помогают рядовым людям осознать себя не безгласными «винтиками», а личностями.

Принцип уравнительной «справедливости» прямо противоположен западному мещанскому стереотипу «быть не хуже Смитов». За ним, при всей его порой пошлости, стоит желание догнать, а лучше — перегнать преуспевшего в охоте за жизненными призами соседа, т.е. равнение на лучшего, деятельное начало, раскрепощающее и мобилизующее индивидуальный потенциал, что в нормальных условиях стимулирует трудовую активность человека. Наша же, унаследованная еще от общинного сознания, завистливая неприязнь к выдвинувшемуся собрату направлена на то, чтобы стащить «высунувшегося» обратно в уравнивающее всех болото. Парадоксально, но носители этого стереотипа (а имя им воистину легион) еще как-то могут смириться со случайной чужой удачей, с неоправданным счастьем ленивого Емели или везением Ивана-дурака, но не с заработанным в поте лица благополучием трудолюбивого Ганса.

В своих крайних проявлениях принцип «уравнительной справедливости» предполагает не только блокирование, но и отторжение лучших, выделяющихся из «стаи» людей, включая их физическое уничтожение. Одной из прагматических задач большевистского террора как социального регулятора и было это уничтожение прослойки лучших представителей общества, причем во всех его социальных стратах, во всех этнических группах и, тем самым — устранение его «бродильного фермента».

Но антиличностный характер нашего общества обращен не только к живым. Парадоксальным, но достоверным тестом на подлинное отношение к людям может служить так называемое «похоронное поведение», т.е. все, связанное с погребением тела умершего, с поддержанием памяти об ушедшем человеке и сохранением места его последнего успокоения. О том, насколько бесчеловечно и даже цинично по отношению к покойному, и к его близким, и вообще ко всем нам, кому выпала доля жить и умереть на этой земле, поставлено похоронное «хозяйство», знает, по-

жалуй, каждый, соприкасавшийся с этой проблемой. К тому же в «эпоху гласности» кладбищенская тема отчасти попала в поле зрения нашей публицистики и даже художественной литературы. И мы увидели страшный антимир, тем не менее являющийся, по сути, лишь одной из ипостасей и продолжением мира нашего, повседневного. Но проблема имеет множество ликов своего проявления: вошедшее в обычай повсеместное вымогательство, циничная игра на растерянности сломленных горем и беспомощных родных покойного, состояние и внешний вид наших кладбищ, особенно новых, больше похожих на свалки, манеру поведения и сам тип людей, подвизающихся на этом поприще, казенно-суконные слова некрологов, отмеренные в соответствии со служебным рангом покойного, невозможность опубликовать сообщение о смерти не выслужившего определенного «чина» человека, разрушение кладбищ в угоду любой строительной либо хозяйственной нужде, осквернение могил и даже мародерство, гнусная и далеко еще не изжитая манера скрывать либо всячески затушевывать сведения о жертвах катастроф и вообще «нежелательных» смертях, наконец, мы сами, покорно принимающие все эти издевательства над памятью самых близких нам людей как некую неизбежную данность... А ведь отношение к мертвым — не демагогический, в отличие от всякого рода словесной шелухи, а эмпирический показатель подлинного отношения к людям вообще.

Выделим только несколько морально-психологических «подпорок» режима в отношениях типа «личность-общество» и начнем с национально-государственно-го комплекса неполноценности. С одной стороны, это спрятанное глубоко внутрь, может быть, даже вытесненное в сферу бессознательного, чувство национальной социально-исторической ущербности, порочности и бесперспективности господствующей системы. Комплекс этот, помимо единого общего для всех фундамента, имеет еще и дополнительные «пристройки» на социально-клас-

совой основе. А. Амальрик справедливо отмечал наличие комплекса социальной неполноценности у крестьян — по отношению к горожанам, у рабочих — по отношению к интеллигенции. Такой же характер носит и отношение провинциалов к столичным жителям. Любопытно, что основанием для него служат не столько материальные различия, сколько характер труда и мера социальной несвободы.

С другой стороны — это ощущение человеком своего органического единства с системой, в силу чего любые серьезные изменения в ней и даже сама идея таких изменений воспринимается как угроза привычному укладу, который хотя и далек от совершенства, но к нему как-то приспособились.

Любопытно, что эта установка распространена отнюдь не только в среде, обладающей привилегиями, приближенной к власти и потому на самом деле имеющей основания быть удовлетворенной существующим положением. Перемен боятся и те, кто, казалось бы, может от них только выиграть. Видимо, в последнем случае срабатывает стереотип, о котором писал еще Н.М. Карамзин: «Зло, к которому мы привыкли, для нас чувствительно менее нового добра, а новому добру как-то не верится».

На таком причудливом фундаменте, сложенном из понимания, что живем мы плохо, и боязни это плохое менять, и зиждется комплекс неполноценности, проявляющийся в стремлении хоть как-то, пусть иллюзорно, преодолеть это подсознательно ощущаемое противоречие. Для этого есть два пути.

Первый — агрессивное наступательное самоутверждение. Его подлинная цель — скрыть внутреннюю неуверенность и раздвоенность, хвастливое приукрашивание своей жизни и достижений страны, а то и прямое мифотворчество на сей счет (особенно при контактах с разного рода «чужаками»); агрессивная нетерпимость по отношению к тем, кто думает и живет иначе, а также к внешним критическим наблюдателям. Тот, кто остается рабом

в душе своей, будет яростно сопротивляться попыткам вывести его из рабского состояния и, более того, будет мешать и другим выбраться из него. Ценой чужих жизней он готов оплатить собственный душевный комфорт, отстаивая своего рода моральное право на собственное рабство. Реальный (а не декларируемый в маскировочных целях) идеал людей с этим типом сознания передает старая «бесовская» формула Петра Верховенского — «все рабы и в рабстве равны».

Другой путь преодоления комплекса — муссирование славянофильской идеи богоданности русского народа, его якобы уникального духовного строя, который переделка на западный лад, погоня за материальными благами и политическими правами неизбежно разрушит.

Тесно переплетена с комплексом неполноценности холуйско-разбойничья мораль, которая является одним из компонентов господствующей общественной морали. Имея в нашей стране долгую историю, она была широко распространена среди разных слоев общества во все времена. Но до момента «переворота социальной пирамиды» в семнадцатом году все-таки существовали определенные ее противовесы — христианская этика, интеллигентская идея бескорыстного служения народу, дворянская честь и т.д. В результате революции эти ограничители были смяты, и названная моральная (точней сказать — аморальная) система стала доминирующей.

Возник феномен страны победившего хама, в которой мы до сих пор живем, и боюсь, даже при самом благоприятном развитии событий обречены жить еще долго. Ведь моральная реконструкция общества — дело весьма продолжительное, тем более, что лишь в самое последнее время мы стали продвигаться, причем пока довольно робко, с оглядками и попятными шагами.

Еще Герцен подметил, что в России для человека воз-

можны лишь два морально-психологических состояния — рабство и анархия. «В печали или в буйном веселье, в рабстве или анархии русский жил всю жизнь, как бродяга, без очага и крова, или был поглощен общиной; терялся в семье или ходил свободный среди лесов с ножом за поясом... Уход в монастырь, в казаки, в шайку разбойников был единственным средством обрести свободу в России. Народ учтиво называл разбойников шалунами и вольницей»*.

В революции исторический поршень проделал двойной молниеносный ход «туда-обратно» — от рабства к разбойной анархии и назад в рабство. И вряд ли есть серьезные шансы на иное развитие событий. Шансы были упущены раньше. «Русская душа — 1000-летняя раба» (выражение В. Гроссмана) — вернулась на круги свои.

А что произошло с нами за истекшие семь десятков лет? Во многом мы, увы, спустились на еще более низкую ступень, чем были до семнадцатого года (прежде всего это касается уровня личной нравственности, да и групповой морали), но кое в чем за счет общего развития культуры все же поднялись повыше (в образованности, в частичном преодолении русоцентризма). Поэтому некоторые надежды на наш моральный прогресс в будущем все же есть. Только не нужно связывать их ни с каким начальственным изволением, ни с каким добрым и прогрессивным «хозяином» (до сих пор живущий стереотип отношения к носителю высшей власти). Нельзя его связывать также с начальниками других уровней: их неистребимое холуйство, готовность выслужиться на любом преуказанном свыше направлении, успешнее проявиться уже при Горбачеве — например, в холуйстве антиалкогольном, холуйстве псевдоперестроечном и пр. — не оставляет надежд на их способность реально служить обществу. Да и вообще нынешнее «начальство» настолько развращено и лишено гражданских чувств,

* А.И. Герцен. О развитии революционных идей в России. Соч. в 9 томах. Т. 3, М., 1956, стр. 430.

что его можно оценивать лишь по тому, в какой мере — большей или меньшей — оно мешает делу моральной реконструкции, а также пытаться манипулировать им в благих целях, как оно всю жизнь манипулирует нами в целях недобрых, своекорыстных. Мы сами должны изжить в себе этот рабско-холуйско-разбойничий комплекс. За нас этого не сделает никто.

Слабая развитость нормальной трудовой этики — еще одна сторона этого комплекса неполноценности. Как известно, труд на Руси в течение долгих столетий был почти тотально несвободным. В результате морально-психологическое отчуждение от труда глубоко укоренилось в массовом сознании русских. Это мировоззрение противоположно евроамериканской традиции протестантской этики и упрощенно может быть передано стереотипами, наподобие «от трудов праведных не наживешь палат каменных», «работа дураков любит» и т.п. Правда, в XIX — начале XX веков освобождение крестьян, развитие капиталистических отношений стимулировали постепенные благоприятные изменения, но с революцией они были прерваны. Режим, декларативно провозгласивший свободный труд, на деле опять превратил его в казенную повинность.

А многие миллионы принудительно коллективизированных крестьян, трудармейцев, не говоря уже о гигантской «трудовой армии» заключенных, по существу, превратились в крепостных, а то — и в рабов режима. В то же время действительно эффективные работники вышибались из седла.

К тому же возможность для режима поддерживать социальную стабильность столь нерациональной с точки зрения экономики системы подкреплялась традиционно низким уровнем материальных притязаний у подавляющей части населения. Люди привыкли жить скудно и довольствоваться малым. И советский режим в течение десятилетий содействовал закреплению этой привычки. Впрочем,

в последние 15-20 лет массовые ориентации в этом плане заметно меняются. Материальные притязания существенно возросли. «Отголоски» потребительского общества докатились и до нас. Тем самым упала и стабилизирующая, тормозящая роль привычки к бедности как якоря режима. В этом, думается, одна из причин предпринимаемых сейчас попыток нащупать такой вариант экономического механизма, который совмещал бы стимулы к свободному труду и сохранение внеэкономической зависимости как отдельных людей, так и целых предприятий от произвольного усмотрения носителей административной власти. В какой комбинации и пропорции удастся соединить эти противоположные принципы и удастся ли вообще?

Шкала общественных ценностей у нас не просто деформирована, всюду наталкиваешься на примеры ценностных извращений. При назначениях на любые посты, при раздаче званий и других знаков отличия мы в подавляющем большинстве случаев видим победу посредственности — над нестандартностью, яркостью, оригинальностью, самодовольную полуобразованность — в роли эталона интеллектуальных стандартов.

В том же ряду стоят: воспитываемая с детства система двойных и даже тройных моральных стандартов, породившая лишь отчасти справедливое представление о лицемерии как непрременном атрибуте homo soveticus; поколениями вырабатывавшееся «искусство неистового холуйства» газетно-журнальной псевдопублицистики, умение предавать, в рамках извращенной морали цинично называемое «умением жить».

Вспомним в связи с этим малоизвестное высказывание Л.Н. Толстого:

«Для того, чтобы старое... уступило место новому, нужно, чтобы люди, сознающие новые требования жизни, ясно высказывали их... А между тем мы не только не высказываем той истины, которую знаем, а часто даже прямо высказываем то, что сами считаем неправдой... Один не говорит той правды, которую он знает, потому, что он чувствует себя обязанным перед людьми, с которыми он связан, другой — потому, что

правда могла бы лишиться его того выгодного положения, посредством которого он поддерживает семью, третий — потому, что он хочет достигнуть славы и власти и потом уже употребить их на служение людям, четвертый — потому, что не хочет нарушать старинные, священные предания, пятый — потому, что не хочет оскорблять людей, шестой — потому, что высказывание правды вызовет преследование и нарушит ту добрую деятельность, которой он отдается или намерен отдаться».

Что же тут важного, чтобы прокричать... «ура»... или написать статью... или пойти на патриотическое празднование и пить за здоровье и говорить хвалебные речи людям, которых не любишь... или промолчать...? Все это кажется так не важно. А между тем в этих-то кажущихся нам неважными поступках, в воздержании нашем от участия в них, в указании по мере сил наших неразумности того, неразумность чего очевидна нам, в этом наше великое, непреодолимое могущество. А то каждый свободный человек говорит себе: «Что я могу сделать?»... Только бы люди понимали ту страшную власть, которая дана им в слове, выражающем истину»*.

Как актуальны, как насущно необходимы для нас сегодня эти простые, как евангелие, толстовские проповеди. Может быть, в следовании им и состоит главная надежда на моральное возрождение нашего общества. Во всяком случае, без этого ни политическая, ни экономическая либерализация не помогут. «Свобода не улучшит положение человека, являющегося рабом собственных пороков»**.

Главной опорой режима является к в а з и э т а т и з м, т.е. фетишизация власти, причем не в западном абсолютистском, а в восточно-имперском смысле. Это означает, что государственная (а, точнее, партийно-государственная) власть мыслится как главный, если вообще не единственный стержень, на котором зиждется общественное устройство. Внешне это, может быть, и походит на прусскую модель полицейского государства, управляемого сильной, непререкаемой центральной властью. Однако при более глубоком анализе на первый план выступают существенные различия: российская действительность,

* Л.Н. Толстой. «Христианство и патриотизм». Полн. собр. соч. в 90 томах, т.39, сс.76-79.

** Эти строки из чартистского документа, датированного 1841 г., приводит Дж. Рюде в работе «Идеология и народный протест». — См. Дж. Рюде. Народные низы в истории. 1730-1848, М., 1948, с.314.

несмотря на сегодняшние старания, так и не доросла до прусской доктрины и, главное, до практики рациональной бюрократии, которая опирается не только на силу, но и на закон, во многом сохранив чисто азиатскую систему деспотической самодурной власти.

Ведь преобладающей установкой массового сознания в нашей стране до сих пор остается неверие в закон как воплощение справедливости и эффективное средство борьбы с несправедливостью. И неудивительно. Сами законы часто далеки от справедливости. Их нарушителями сплошь и рядом оказываются лица, облеченные властью. К тому же и практика применения законов, особенно в том, что касается защиты прав граждан, не дает особых оснований для «юридического оптимизма»: многочисленные правоохранительные органы, социальное назначение которых состоит в обеспечении правопорядка, сами допускают вопиющие отклонения и от норм права и от принципов справедливости.

Гораздо сильнее вера в непреодолимость произвола. Советский человек в массе своей относится к власти как к року, борьба с которым бесполезна, как говорится, «по определению».

Парадоксальным образом эта азиатская покорность власти и судьбе уживается с сильно развитым казенным патриотизмом, когда отождествляются родина и правящий режим. Эти патриоты упиваются, например, тем, что СССР носит этикетку сверхдержавы, которая не приносит гражданам ничего, кроме дополнительных тягот и означает лишь способность режима, наряду с безграничной властью над собственными гражданами, держать в страхе еще и немалую часть остального мира. Подобный «петербургский патриотизм, который похваляется количеством штыков и опирается на пушки», А. Герцен считал одной из причин нашего рабства: «Россия — отчасти, раба и потому, что она находит поэзию в материальной силе и видит славу в том, чтобы быть пугалом народов»*.

* Герцен. Там же, с. 449.

Впрочем, поклонение государству опирается на разные стереотипы. Помимо фатализма и казенного патриотизма, оно эксплуатирует исторические предания, символы и святыни, возможные патриархальные идеализации «святой старины». Одна из них — миф о благодатной жизни в патриархальной общине (увы, под его влиянием находился и такой ниспровергатель социальных мифов как Герцен). С точки же зрения власти он очень удобен, поскольку канонизирует консервативное единодушие «мира», а заодно и «отеческое» правление «доброего хозяина», и дискредитирует индивидуалистическую модель отношений личности и власти. А стадо, как известно, пасти легче.

Наконец, еще один стереотип, на котором стоит наш квазиэтатизм, — это страх перед «хаосом», «анархией», которые, якобы, наступят, если только чуть отпустить «вожжи». Логически ясно, что тут происходит несложная подмена понятий — свобода подменяется хаосом. Но формальная логика, как известно, никогда не была сильной стороной массового сознания. Так или иначе, но сама идея свободы остается для обывателя непривычной и пугающей, Гораздо привычней для него, например, полуосадное положение, которое было таким обычным способом обращения режима со своими подданными, что те к нему приспособились и боятся не только «анархии», но и просто индивидуального ответственного выбора.

Поддержку режиму в борьбе против всякого рода внутренних «чужаков», «не наших» оказывают две основные силы.

Стихийный народный империализм. Категорию «империализм» чаще всего используют применительно либо к государственной политике, либо к идеологической доктрине. Однако существует и империализм народный, присущий так называемым «простым людям», не обладающим никакой властью.

Любопытно, что это явление носит интернациональный характер и присуще, например, массовому французско-

му (а до 45-го года было присуще и немецкому) сознанию не меньше, чем российскому. Порой просто диву даешься, слыша или читая, как какой-нибудь обыватель с кругозором, ограниченным его убогой повседневностью, рассуждает почти в классических геополитических категориях. В России, правда, в силу ее специфики, понятие «жизненного пространства» на вооружении не стоит (о каком пространстве можно говорить, владея шестой частью обитаемой суши), зато о «государственных интересах», об «интернациональном долге большой нации» и т.п. говорится очень бойко. Главный же тезис, с негодующим пафосом обращаемый к восточноевропейским и прибалтийским народам, а также и к другим национальностям бывшей Российской империи, звучит примерно так: «Мы-де их освободили, а они, неблагодарные, не хотят жить по-нашему!»

Мне могут возразить, что эта народная империалистическая психология отнюдь не стихийна, а внушена массам по идеологическим каналам. Думаю, что это, если и справедливо, то лишь отчасти. Эффективность нашей предназначенной для идеологического оболванивания машины, по счастью, не столь высока. К тому же народный империализм распространен и среди тех слоев, куда пропаганда вообще мало доходит. Видимо, дело больше в стихийных традиционных стереотипах массового сознания, которые пропаганда лишь усиливает и, манипулируя ими, направляет против того «врага», который наиболее опасен, с точки зрения потребностей текущей политики.

Приведем лишь одну цитату из «Писем» лорда Болингброка, написанных уже более четверти тысячелетия назад:

«Едва ли найдется более распространенный среди сынов человеческих порок или безрассудство, чем тот смешной и вредный род тщеславия, который заставляет представителей той или иной страны предпочитать соотечественников жителям других стран и делать собственные обычаи, нравы и мнения мериллом того, что справедливо или несправедливо, истинно или ложно. Китайские мандарины были необыкновенно удивлены и заподозрили, что их обманывают, когда иезуиты показали им, сколь малую площадь на карте мира занимает их империя. Самоеды очень удивлялись тому, что царь Московии не

живет среди них, а готтентот, вернувшийся из Европы, едва оказавшись дома, разделся догола, надел свои браслеты из кишок и требухи и поспешил погрузиться в грязь и вонь».*

Как ни странно, но российский национализм в глубинной своей сути опирается на национальный комплекс неполноценности. Последний имеет разные формы и иногда даже с трудом узнается, поскольку скрывается за, казалось бы, весьма высоким самомнением. В самом деле, как за чванным национализмом, априорно присваивающим соотечественникам высший ранг по сравнению со всеми прочими, разглядеть глубоко запрятанную неуверенность в себе, ущербность массового национального сознания? Вопрос непростой, который, вероятно, требует самостоятельного исследования.

Напомним лишь, что наиболее распространенная и универсальная разновидность агрессивного комплекса неполноценности — антисемитизм. В современном СССР он составляет значительную часть идеологии неопочвенничества. Эта идеология проникнута духом поиска «постороннего виноватого», т.е. обвинения в собственных бедах и неудачах не самих себя, а неких злокозненных инородцев. В российской реальности чаще всего ими и являются евреи. Но вообще погромный потенциал такого рода почвенничества может обращаться (и часто обращается) на любые национальные меньшинства. А поскольку идея необходимости «держат националов в узде» является общей как для русских шовинистов, так и для кремлевской национальной политики, то объективно русский национальный комплекс работает на поддержку и укрепление режима.

Наконец, рассмотрим отношение человека к себе самому. Немалую услугу оказывает тут режиму разветвленная система моральных уловок и самооправданий. Они выполняют двоякую роль: либо анестезируют совесть, гражданские чувства человека (если таковые у него есть), либо

* Болингброк. Письма об изучении и пользе истории. М., 1978, с. 16.

(если они только имитируются для окружающих) дают ему возможность «сохранить перед другими лицо». Таким образом, человек, не теряя самоуважения и душевного комфорта, оправдывает перед самим собой и ближними свое комфортное, а то и прямо аморальное, поведение.

Вот только некоторые разновидности морально-психологических уловок конформизма, каждой из которых соответствует определенный тип приспособленца.

— Откровенное возведение аморализма в своего рода принцип жизни; дескать, «главное, чтобы бутерброд при всех обстоятельствах был бы с маслом, а какими средствами это достигается — неважно»; впрочем, подобное «пряמודушие» все же не слишком популярно и потому встречается реже других видов самооправданий.

— Симуляция идейной преданности официальным ценностям, маскирующая своекорыстный расчет, карьеризм, стяжательство, в лучшем случае обывательское желание профилактически избавить себя от всех возможных неприятностей. В условиях однопартийной монополии на власть и партийного диктата именно такой тип добровольных слепцов, лицемеров-карьеристов, а то и пресступников с партийными билетами распространился очень широко.

— Словесная имитация солидарности с оппозиционными силами. На деле подобные имитаторы диссидентства под разными предлогами избегают каких-либо действий во имя своих «убеждений». Это поведение распространено среди многочисленной прослойки людей, играющих роль интеллигента. Оппозиционная фразеология для них — признак хорошего тона, но в практической жизни они руководствуются отнюдь не ею, а сугубо эгоистическими соображениями. Пожалуй, в моральном смысле, этот тип — наихудший, поскольку словесная спекуляция идет на вещах светлых и высоких, верность которым подлинные интеллигенты отстаивают ценой немалых личных жертв.

— Обывательская в своей сущности мораль «рабочей

лошадки», которая полагает вредным вмешательство «не в свои дела», т.е. в граждански значимые проблемы. Главное для таких — нормальная профессиональная работа на своем месте.

Пожалуй, этот тип субъективно наиболее честен, хотя вреда, особенно в экстремальных обстоятельствах, может принести немало.

Вспомним еще одну моральную уловку. Я имею в виду тезис о собственном бессилии — «а что я могу сделать?» — и всесии власти, государства и вообще «начальства» — «они меня в бараний рог свернут». Для подкрепления «идеологии бессилия личности» и придания ей большей убедительности, люди с «фигу в кармане» охотно муссируют, а порой — и раздувают масштабы репрессий по отношению к инакомыслящим, «тотального контроля» власти над любым словом и поступком и прочие самоустрашающие мифы.

Революция, юридически упразднив сословную систему старой России и ликвидировав прежнюю шкалу сословных привилегий, довольно быстро создала *de facto* новую сословную иерархию. Верхушку ее составила партийно-чиновничья олигархия «выдвиженцев» (впрочем, во втором, а, тем более, в третьем поколении в ней уже достаточно сильны элементы кастовости, самовоспроизводства правящего слоя). Самый низший слой пирамиды — это армия рабов-зэков, численность которой в отдельные периоды достигала многих миллионов человек и, пожалуй, никогда, кроме очень коротких моментов после амнистий, не опускалась ниже двухмиллионной отметки. Если же вообще вывести слой рабов-зэков за рамки общественной структуры (как это делают, например, при исследованиях Римской империи) и считают его как бы «подвалом» или «подземным фундаментом» социальной пирамиды, то в ее нижней видимой части мало что изменилось: там по-прежнему находится крестьянство. Недаром же коллективизация воспринималась в народе как новое крепостничество.

Верхние же слои пирамиды, присвоившие себе право распоряжаться общественным богатством, разумеется, себя не обидели и создали целую систему перераспределения в своих интересах. Новая сословность породила и новую шкалу привилегий. С течением времени система привилегий становилась все более разнообразной, многоступенчатой и разветвленной. Используя ее в качестве инструмента управления, режим формировал и расширял свою социальную базу. В результате оказалась подкуплена заметная доля населения страны. Основательно расширившись со времен смерти Сталина, система привилегий в разной степени и формах охватывает не один десяток миллионов человек. Сюда входят высшая и средняя партийно-государственная бюрократия, работники сферы госбезопасности, значительная часть офицерского корпуса, научный и инженерно-технический персонал, занятый в колоссальной сфере так называемой «оборонки», номенклатурная верхушка научной и творческой корпораций, члены семей всех перечисленных групп. В том же ряду находится тесно сросшаяся с системой торговоснабженческая мафия, пустившие глубокие корни преступные и полупреступные корпорации в сфере, предназначенной для борьбы с уголовным миром, но сами обретшие немало черт из повадок своей «клиентуры».

Конечно, не единым хлебом жив человек, и среди привилегированного слоя тоже есть люди, готовые пожертвовать своими благами за общее улучшение ситуации. Однако абсолютное большинство несомненно составляет «преторианскую гвардию» режима и будет препятствовать любым изменениям, способным подорвать их положение. Поистине зловещая сплоченность и молниеносность действий волчьей стаи были продемонстрированы при расправе столичной партийной верхушки над Б. Ельциным, слегка ущемившим ее привилегии. Зло, как известно, всегда более динамично, всегда сплочено лучше, нежели добро. А в наших условиях оно к тому же и оседлало офи-

циальные структуры, почти монополюбно манипулируя ими и оттеснив от них потенциальных носителей «социального добра».

Но не только эти пара десятков миллионов человек составляют социальную базу режима. Во всех слоях общества существует большая прослойка общественно-аморфных людей, которых тоже устраивает status quo. Хотя они не обладают никакими привилегиями и чаще всего живут довольно скверно, но никаких перемен они не хотят. За многие годы они приспособились именно к такой жизни, а более молодые — и унаследовали подобную форму адаптации. Они удовлетворены и уравниловкой в распределении, и отсутствием состязательности при наличии минимальных социальных гарантий, и возможностью их прожить пусть кое-как, зато не напрягаясь, только имитируя полезную деятельность, а к тому же сплошь и рядом — по мелочам и ворюя.

Это вязкое болото социальной апатии и конформизма многих миллионов обывателей, пудовыми гирями висящее на ногах любых реформаторов режима и затягивающее следы их шагов, а часто — и их самих, может быть — главная инерционная сила системы. «Это бездонная пучина, где тонут лучшие пловцы, где величайшие усилия, величайшие таланты, величайшие способности исчезают прежде, чем успевают чего-либо достигнуть».*

Исходя из всего этого и следует оценивать степень запущенности и тяжести болезней, поразивших наше моральное сознание. Представляется, что наша моральная деградация зашла настолько далеко, что для нравственного выздоровления общества потребуются и долгое время, и весьма решительные меры. И начать надо с освобождения сознания от фальшивых идолов и ложных стереотипов, с обретения исторической памяти о подлинной картине событий истекшего семидесятилетия. Необходимо научить-

* А.И.Герцен, там же, с. 473.

ся применять к истории и современной социальной практике нравственные критерии: оценивать то или иное действие по шкалам добра-зла, справедливости-несправедливости, счастья-горя, с точки зрения живших и живущих конкретных людей.

На смену долгой эпохе чванливого самовозвеличения должна прийти опять же достаточно продолжительная эпоха самокритики, беспощадного социального и нравственного самоанализа, переосмысления обществом моральных основ своего бытия.

В условиях господства ложной системы ценностей нормой гражданского поведения становится неприятие окружающего аморализма, борьба с ним в меру личных сил и возможностей. История знает немало подобных ситуаций. Например, в императорском Риме в описанный Тацитом период нравственного упадка традиционная римская добродетель *Virtus*, предполагавшая самоотречение индивида во имя общего блага, трансформировалась «из добродетели служения государству» в «добродетель противостояния непосредственной практике этого государства»*. Иными словами, служение подлинным интересам общества и служение официальной системе власти становятся антиподами, противоположными жизненными позициями. Традиционная формула «служу царю и отечеству» в подобных ситуациях должна делиться пополам при помощи разделительного союза «или», одно из двух — «царю» или «отечеству».

Такова и наша, драматическая, а для многих — и трагическая жизненная ситуация. У нас она усугублена еще и тем, что подавляющая часть общества не только адекватно не понимает своих подлинных интересов, но и живет по такой моральной шкале, откуда эти интересы попросту не видны. Классический пример — проблема свободы, которая для западного человека является альфой и омегой всех оце-

* Г.С. Кнаббе. Корнелий Тацит, М., 1981, с.24, 25.

нок и суждений, а для рядового жителя нашей страны она по существу и непонятна. Итак, нам необходима моральная реконструкция общества на основе глубокой и всесторонней самокритики.

Дело это весьма болезненное, очень непростое и не обещающее скорых дивидендов. Качественные, необратимые изменения могут наступить не раньше, чем сменится одно поколение на хронологической лестнице нашей истории. Тон в общественной жизни должны задавать люди, внутренне свободные, не нажившие синдрома гнущегося перед начальством позвоночника.

Тухлое двадцатилетие брежневского правления кончилось. Но и ему предшествовали тоже далеко не ренессансные времена. Не одно поколение решало задачи жизненного успеха по аморальным в своей основе правилам. И чтобы разгрести окаменелости накопленной «коллективными» усилиями социальной грязи, требуются и силы и время. К тому же не ясно, что останется, если разгрести всю эту грязь. Не окажется ли, что она — единственная основа всей системы наших общественных отношений? У меня лично уверенности в обратном нет. Но все же будем надеяться на лучшее. Иначе очень страшно не только жить, но и думать о будущем. Кроме того, сознание безнадежности парализует активность. А сейчас нужно действовать, чтобы в очередной раз бездарно не упустить пусть небольшой, но все же шанс на обновление.



Владимир ШЛЯПЕНТОХ

СТАЛИН, СИМОНОВ И ДРУГИЕ

Для меня русская история делится на три периода — до 1917 года, с 1917 по 1979 и после 1979. Это абсолютно субъективная периодизация, отражающая только мои сложные отношения с моей родиной.

Мощная русофильская кампания 70-х годов, в которой участвовали и люди, которых я глубоко уважал, внушила мне, что русская история принадлежит им, а не иностранцам. Поэтому я остался без далекой истории, которая была мне эмоционально дорога и в которую я был сильно вовлечен.

Конечно, история евреев и даже Америки мне теперь ближе, но есть тут горький парадокс: мои знания русской истории несопоставимы со знаниями истории Израиля и Соединенных Штатов, к тому же они приобретались по мелочам, не с раннего детства, не в тесной связи с литературой и искусством, а в позднем возрасте и очень академично. И это очень печально, ибо я согласен с теми (вклю-

чая русофилов), кто считает ущербными людей, эмоционально не переполненных прошлым своего народа сызмальства.

К периоду после 1979 года, когда я эмигрировал, у меня особое отношение. Я поглощен событиями в стране, которая является объектом моих исследований и где живут мои близкие друзья, которым я страстно желаю позитивных изменений, ибо горячо желаю демократизации России.

Вместе с тем, я во многом отстранен от происходящего в Москве. Я не дрожал, как все либералы в течение трех недель после публикации в «Советской России» письма Нины Андреевой, я не вздрагиваю от речей Лигачева и не строю свои планы в зависимости от успехов перестройки. Словом, я живу уже в другой стране, и сильно ошибались те, кто полагал, что во время недавнего путешествия в Москву я примерял на себя форму активиста гласности. Нет и нет, это русские (и в этом меня убедили русофилы) должны бороться за тот или иной путь развития России, но не мои соплеменники; их история там кончилась.

А вот период между 1917 и 1979 г.г. — это мой. В эти годы я как бы по-прежнему живу в России, а не в Америке. Все, что я читаю о тех временах (а читаю я вряд ли меньше, чем самый яростный антисталинист в Москве), затрагивает меня на полную катушку. Я со всеми моими друзьями, с моей мамой и с моим отцом, скажем даже так: «со всем советским народом» — все эти 60 лет.

Поэтому я и читаю все, что относится к этому «моему» периоду русской истории. И в разной форме ставлю себя на место героев новых публикаций и фильмов, представляя себя то в роли жертвы (это чаще всего), то в роли интеллигента, которому предстояло сделать выбор, например, в воспоминаниях о 1953 годе «врача-убийцы» Рапопорта в «Дружбе народов» или, скажем, в фильме «Процесс».

Мемуары Симонова я прочел взахлеб. Это действительно уникальное произведение человека талантливого, умного и явно не злого, даже доброго, на счету у которо-

го много хороших дел, много «мицвот», если мне будет дозволено использовать это древнееврейское слово. Мы точно знаем о его помощи и Надежде Мандельштам, и Борщаговскому, когда тот был одним из главных «космополитов». Мы точно знаем, что Симонов не был антисемитом даже в самые благоприятные для этого времена. Мы знаем также, что он каялся на своем юбилее в 1965 году в том, что присоединился к кампании космополитизма, испугавшись за свою карьеру. Это Симонов, который издал Дудинцева, приветствовал Солженицына первой рецензией на «Один день Ивана Денисовича» и т.д.

Но еще важнее, что он был поэтом, которого от души любила вся страна, писателем, который легко выдержал экзамен после смерти Сталина, опубликовав относительно честную (по тем временам) книгу о войне. Именно она обеспечила Симонову первое место в опросе самой либеральной советской аудитории конца 60-х годов — читателей «Литературной газеты»*.

Симонов тогда опередил своими «Живыми и мертвыми» (хоть и не очень сильно) Булгакова («Мастер и Маргарита») и Солженицына («Один день Ивана Денисовича»).

Как бы теперь ни потешались некоторые снобы над вкусами советской интеллигенции, эти данные отражают огромную популярность Симонова, который в эти времена вовсе уже не был тем, кем он был при Сталине, т.е. любимцем вождя.

И вот такой человек решил исповедоваться на смертном одре, рассказать, что он думал и чувствовал в сталинские времена, не рассчитывая на публикацию не только при жизни, но даже много лет спустя.

Статья Бориса Панкина в «Московских новостях», близко общавшегося с ним в последние годы, не оставляет сомнений в том, что этот последний текст Симонова не был рассчитан на «публику». Сколько мы знаем таких мемуаров о

* Я сам проводил это обследование.

том времени, изданных «там» и «здесь»? Ничего подобного, пожалуй, и не найдешь.

И еще одна особенность симоновских воспоминаний — он действительно близко общался со Сталиным, и это дает нам возможность посмотреть на него при таких обстоятельствах, которые исключают корыстное использование образа вождя.

Конечно, как всякий рефлектирующий интеллигент, Симонов склонен к рационализации своего поведения и своих мыслей в прошлом, но это нормальное чувство, чуждое только законченным циникам. Естественно, это человеческое качество должно быть принято во внимание, однако без высокомерия и с пониманием человеческой природы.

Находясь под сильным впечатлением от симоновских мемуаров, я был немало удивлен тем, что написал о них такой уважаемый автор как Ефим Эткинд. Известный литературовед выступил здесь в роли беспощадного судьи, готового инкриминировать подсудимому все, что только возможно, и не разрешая ему сказать хоть что-то в свою защиту. Из шести страниц этого обвинительного вердикта, лишь одна посвящена истории с запиской Симонова к матери, в которой он сообщал, что торопится на встречу с Бухариным, и которую мать сохраняла до 1944 года, когда Симонов, обнаружив ее, в ужасе порвал.

Ефим Эткинд, один из самых серьезных знатоков советской истории, весьма зло иронизирует над «красавцем Симоновым», которого обуял постыдный страх. А разве 99 процентов людей в те ужасные времена не поступили бы точно так же? Разве обнаружение этой записки не означало бы автоматическую гибель? И разве сам Е.Г. Эткинд не порекомендовал бы Симонову (если бы тот в те времена мог воспользоваться его советом) поступить именно так?

И почему автор заметки считает, что Симонов осуждает перегибы тех кампаний против космополитизма лишь «для порядка»? Некоторые факты, приведенные выше, извест-

ная полемика Симонова с Шолоховым и Бубенновым о псевдонимах вовсе не дают оснований для столь легкого включения и этой части симоновского текста в обвинительное заключение.

Впрочем, Ефим Эткинд не одинок.

Марк Поповский, выступивший в «Новом русском слове», еще более спорен в своей оценке Анатолия Жигулина, опубликовавшего с большим трудом свою сенсационную биографическую повесть, упрекая автора, человека героического и предельно честного, в трусости в период гласности. Жигулин, будучи безмерно счастлив тем, что он может рассказать миру о страданиях собственных и товарищей, сомневающийся в такой возможности до последней минуты, даже во время разгула гласности, оказывается, «одобрил публично» тщательную проверку своего произведения.

Это и есть то, что вменяется в вину герою и страдальцу русской литературы. Автор статьи в «Новом русском слове» называет его «вконец перепуганным человеком», который, оказывается, «помог КГБ подтвердить, что в СССР никакой цензуры нет».

Марк Поповский иронизирует и над нынешним «Знаменем», беря в кавычки слово «смелое» применительно к этому изданию. И как это тоже несправедливо! Ведь должен понимать наш критик, что Бакланов действительно играет с огнем и что в случае «контрреформ» ему не снести головы. Неужели критик не читал (еще лучше, если бы он посмотрел по телевидению) выступление редактора «Знамени» на 19-ой партконференции, которая трижды сгоняла его с трибуны и на которой он, еврей, пошел в атаку на Бондарева, одного из лидеров растущей партии шовинистов. Грешно ругать того, который сейчас в команде камикадзе!

Как же заманчиво, приятно и легко набирать нам моральные «очки» здесь, на Западе, отказываясь вообразить самих себя в сходных обстоятельствах и забывая наш собственный послужной список поступков в прошлом, среди

которых, скорее всего, были и такие, которые никто не оценит как героические. Нам нельзя рассуждать о русской интеллигенции, взобравшись на броневик здесь, в эмиграции. Без попытки встать на место тех, о ком мы пишем, без согласия с принципами «понимающей социологии», которая настаивает на необходимости «входить в психологию исторических деятелей», серьезный анализ прошлого вряд ли возможен.

Однако я решил написать эти страницы не для полемики с весьма почитаемыми мною Ефимом Эткингом и Марком Поповским.

Мемуары Симонова показали мне материалом для обвинения не этого, в общем славного человека, который, родись он на Западе или эмигрировав в детстве, вероятно, вместе со всеми своими слабостями, принадлежал бы к числу самых достойных здесь людей. Нет, мемуары Симонова — это, на мой взгляд, повод для размышлений о влиянии на человеческую личность страха, ореола власти и новой, еще не опровергнутой и не дискредитированной идеологии.

Неповторимая комбинация этих трех факторов делала почти невозможным сопротивление. Я не знаю в сталинское время ни одного человека, который, будучи обласкан вождем, отверг бы его заботу о себе, заботу того, кто с легкостью мог бы отправить на смерть. Учтем при этом, что тогда еще никто не доказал, что новое общество, которое Сталин строит, не оправдывает суровой борьбы с его врагами и даже известных напрасных жертв, и что этому обществу не принадлежит будущее, и что не на его стороне законы истории.

Я не знаю, как обстояло дело у других, но мне понадобилось много лет, чтобы найти для себя убедительный довод против последнего аргумента. Как и против того утверждения, что патриотизм есть высшая ценность жизни. Лишь сравнительно поздно я нашел логически убедительными для себя ответ на эту задачу: нет никаких оснований

поддерживать социальный процесс, если он аморален. Лучше уж предпочесть «гибнущее дело». И вообще, историческая неизбежность — никакой не довод в дискуссии на моральные темы.

Возможно, многим эти рассуждения покажутся банальными, по крайней мере, тем, кто не был в атмосфере рождения социалистического общества. Только много позже можно было понять смысл шуточного лозунга, вывешенного в клубном помещении как бы при первобытно-общинном строе: «Да здравствует рабовладельчество — светлое будущее человечества!» Я даже думаю, что автор этой весьма старой шутки вряд ли понимал ее подлинную глубину.

Но вернемся к Симонову. Интеллигент, которому фантастически мощная власть предлагала руку и сердце, не мог не принять ее приглашения, зная, что означает отказ и имея замечательное идеологическое обоснование своему поведению.

Конечно, были герои, как Платонов, которые четко отвергли всякое заигрывание с властью, которые не хотели делать никаких шагов ей навстречу. Однако таких были единицы, и, конечно, Симонов им не чета, ибо он добрый и неглупый малый, поступавший так, как поступило бы на его месте абсолютное большинство людей, где бы они ни родились. Потом, конечно, и интеллект. Он был не очень глубокий. Это поразительно, что когда Симонов диктовал свои мемуары и размышлял о Сталине, «Жизнь и судьба» были давно написаны. И какова была чисто интеллектуальная дистанция между Симоновым и Гроссманом! Насколько легче было приспособиться к власти, к ее идеологии, подстроиться к вождю, если ты обладал в общем заурядным мышлением. Впрочем, вождь сам отсекал от себя тех, кого подозревал в мощи интеллекта.

Наверное, надо еще особо упомянуть о возрасте Симонова. Он очень точно назвал свои воспоминания «Глазами человека моего поколения». Для молодых служение власти было особенно приятным и интеллектуально легким делом.

Революция, Ленин и потом Сталин опирались на молодежь любого социального происхождения. Это позже, через много лет, все поменяется местами, и молодой человек окажется в оппозиции к Кремлю чаще, чем пожилой и тем более старый. А тогда возможность присоединиться к власти для юноши и девушки была необычайно привлекательна, и они с легкостью рвали с семейными традициями, с самой семьей и нередко прямо или косвенно присоединялись к врагам своих родителей.

Мог же будущий герой демократического движения Петро Григоренко быть заодно с теми, кто разрушал его деревню и его семью. А вера в Сталина Копелева, Солженицына и многих других! В середине 30-х годов Симонову было двадцать лет — идеальный возраст для того, чтобы делать карьеру в новом обществе, которое с подозрением относилось ко всякому, кто воспитывался до революции.

Любопытно, что поколение, предшествовавшее симоновскому, и последующее оказались не столь верны идеям коммунизма. Такие писатели, как Каверин, Панова, служба режиму, были все же далеки от той глубокой преданности Сталину, которая была присуща Симонову.

Каверин недавно с гордостью — и законной — говорил, что он ни разу не упомянул Сталина ни в одном своем печатном произведении. Не подвергая ни малейшему сомнению идею социализма, эти люди не были склонны идентифицировать Сталина со строем. Это же характерно и для людей моложе Симонова. Они могли даже выдвинуть из своей среды таких, как Анатолий Жигулин и его друзья, создавших в то время, когда душа Симонова переполнялась любовью к вождю, антисталинскую организацию в пользу «истинного» ленинского социализма.

Именно поколение Симонова было особенно восприимчиво к мысли, что на стороне коммунистов и, следовательно, Сталина — история. Каковы бы ни были издержки, именно они представляют ее неумолимые законы, и только идиоты не понимают этого. В этом и заключалась первичная идея.

«Преимущества социализма» интеллектуал отыскивал потом, для обоснования своего присоединения к тем, кто «оседлал историю».

Почитайте, что писал Эренбург уже в 60-е годы в неопубликованных главах из книги «Люди, годы, жизнь» (которые «Огонек» напечатал лишь сейчас), и вы увидите, что и этот многомудрый писатель, к тому же и еврей, был все еще полон искренней веры в социализм. Вспомним, что отделить Сталина от социализма было трудно даже для многих жертв ГУЛАГа.

Я уже не говорю о легионе западных интеллектуалов, которые бесконечно верили в идею социализма и в значительной степени в Сталина. В свете того, что мы теперь знаем, вряд ли справедливо поносить их, не могли же они быть более прозорливы, чем те, кто встречался с советской действительностью лицом к лицу. Правда, они не были в силовом поле Сталина, и вроде бы страх не должен был парализовать их критические способности, однако мечта о земном рае не могла не казаться им бесконечно привлекательной.

Да чего более: Чеслав Милош писал в своей первой западной книге «Плененный ум» (1953), что даже архиобразованные польские интеллигенты в первые годы после войны (несмотря на близость к России) в немалом числе были среди горячих сторонников русского социализма. Вера и страх были для них опять-таки главными стимулами.

Конформизм, служба власти, даже если можно доказать, что человек верил в официальную идеологию, приносившую ему выгоды (как это было с Симоновым), всегда морально сомнительны. Выгодная вера никак не уравнивает его с жертвами режима, которые «почему-то» имели другие взгляды. Последние были истинными героями, а Симонов принадлежит к толпе, к той толпе, которая поверила новым идеям, особенно тогда, когда стало ясно, что неверующим ничего хорошего не светит. Но кто же из симоновского поколения сумел возвыситься до Ахматовой и Мандель-

штама? Давайте поищем таких — найти их будет непросто.

И все же конформизм сталинской эпохи, замешанный на мифе и жутком страхе за жизнь, не сравним с тем, что мы видели в 70-е годы.

По сути, этот период является замечательным аргументом для защиты Симонова, аргументом в пользу тезиса о великой и всемогущей ауре власти.

В 70-е годы почти вся советская интеллектуальная элита была с необычайной легкостью коррумпирована совершенно бездарным брежневским режимом. Чего только не успели сделать многие из нынешних геральдов перестройки — были участниками кампаний против своих коллег, рвали отношения с друзьями, ставшими диссидентами, соревновались в похвалах «Малой земле» и в ругани Запада.

А ведь им уже не грозили ни ссылки, ни аресты, ни мучительная смерть в ГУЛАГе, а только нахмуренные брови начальства (как признался Арбатов, один из главных приспособленцев этого периода), ну, еще максимум, временное прекращение поездок на Запад и лишение каких-то льгот.

Рязанов в «Гараже» точно запечатлел характер этого жалкого выбора, стоящего перед интеллигентом в это десятилетие. А еще мы узнали из статьи Аркадия Ваксмана, главного разоблачителя верхов в период гласности, что десятки рафинированных московских интеллигентов радостно принимали приглашения сына Щелокова, московского плейбоя, участвовать в его гульбищах. Симонов был с большинством в эти последние годы, и это были действительно постыдные поступки, когда он подписывал в «Правде» письма против Солженицына и других.

Защищая Симонова от моего уважаемого оппонента, я, однако, далек от позиции Юрия Буртина, блестящего московского литератора, который недавно взял на себя примерно такую же роль, что и я, но в отношении своего бывшего шефа по «Новому Миру», Александра Твардовского.

Обвинителем Твардовского выступил его брат, Иван

Трифонович Твардовский, который в своей автобиографической повести, опубликованной в 1988 году в «Юности», прямо упрекает лидера советских либералов в том, что в молодости он сознательно предал свою семью, когда она была выселена на муки и гибель в Сибирь. Твардовский в то время создавал «Страну Муравию» с ее безудержной апологией коллективизации, проглотившей родителей и братьев.

Иван Трифонович цитирует письмо Александра, который писал родным в Сибирь: «Дорогие родные! Я не варвар и не зверь. Прошу вас крепиться, терпеть и работать. Ликвидация кулачества не есть ликвидация людей, тем более детей...» Письмо заканчивалось словами: «Писать вам больше не буду ... мне не пишите».

Буртин практически безоговорочно оправдывает Твардовского, утверждая, что даже в 30-е годы он не был «запуганным человеком». Он отрицает и его черствость по отношению к родным. Все его поведение Буртин объясняет тем, что Твардовский был тогда преисполнен энтузиазма, что он безгранично верил в то, что революция и советская власть творят святое дело. Многое в этом анализе справедливо, но снять так просто эгоистическую, корыстную «переменную» в поведении Твардовского в те времена, как мне кажется, невозможно, не вступая в конфликт со здравым смыслом.

Впрочем, вернемся опять к Симонову. Нельзя сказать, чтобы у него никогда не возникало сомнений в тех или иных решениях Сталина. Однако обычно он объясняет это либо своим незнанием их глубинных причин, как это обстояло с разрывом с Югославией, или чересчур жестоким способом проведения правильной в целом политики, как это было с «космополитизмом». (Вот она мистерия власти!)

Симонов подробно и, видимо, правдиво излагает свои тогдашние впечатления о том, как Сталин руководил литературой. После любой встречи с вождем он тщательно за-

писывает каждое слово Хозяина. И ни разу ему не пришло в голову задуматься над чудовищностью ситуации, когда держиморда выступает в роли высшего судьи литературы. Симонов сам, по сути, признается, что до конца своей жизни был духовно поработан вождем. Уже в 60-е годы, беседуя с адмиралом Исаковым, маршалом Василевским, он спокойно, без особых комментариев, скорее даже одобрительно, записывает эпизоды, в которых Сталин выступает как чистый самодур (например, когда он отправляет на смерть Рычагова, командующего ВВС только за то, что тот осмелился на заседании покрывать Сталина).

Мысль Симонова работала только в одном направлении — понять глубинные замыслы Иосифа Виссарионовича — занятие, которому жадно предавался не только Симонов, но и весь интеллектуальный цвет нации.

Сталин никогда не выглядит глупым у Симонова, обычно более пронзительным и реалистичным, чем простые смертные (и он это как бы мягко и ненавязчиво подчеркивает), даже не очень жестоким, иногда просто добрым, например, тогда, когда он щедро выдает премию тем, кто очень ее хочет и даже прямо пишет ему об этом. Сталин иногда и ведет себя весьма деликатно: Симонов рассказывает, как И.В., решив не отмечать премией «Югославскую тетрадь» Тихонова, поспешил объяснить, что тот ни в чем не виноват, а просто «Тито плохо себя ведет».

Мемуары Симонова крайне интересны тем, что показывают, как близость к власти ослабляет, нет, почти парализует интеллектуальные способности талантливого человека, как рождает она в нем способность к оправданию самых диких поступков начальства, в данном случае, вождя. И в этом смысле они не могут не внушать глубокого песимизма и даже презрения к человеческой природе.

Елена ГЕССЕН

ТЕАТР В ЭПОХУ ПЕРЕСТРОЙКИ

Москва, март 1988 года

«Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» Строчка эта неотвязно, назойливо, вытесняя все прочие, стучала в голове весь последний час нашего полета в Москву. Все и вправду было удивительно знакомо. Так же, как семь лет назад, на пути отсюда, тянулись под крылом заснеженные поля, такое же каменно-непроницаемое лицо у пограничника, то же забытое чувство — застигнутости врасплох, — окатывало, когда он, неторопливо рассматривая визу, подозрительно переводил взгляд с фотографии на лицо. И привычные московские пейзажи двигались за окнами автобуса, который мы случайно поймали в аэропорту вместо такси.

И то же ощущение узнаваемости охватило меня перед театром, куда достали билеты московские родственники. В разношерстной, нисколько, кажется, не изменившейся толпе перед домом культуры имени Чкалова звучал тот же вечный вопрос: не найдется ли лишнего билетика, и то там,

то здесь радостные возгласы «счастливчиков» — этот спектакль из тех, на которые приходит вся Москва. И вовсе не удивительно, что здесь я встретила старинного приятеля, с которым рассталась семь лет назад, он ничего не знал о моем приезде и, увидев меня, скорее всего, решил, что перед ним привидение...

«КОГДА Я ВЕРНУСЬ...»

И все же при всей привычности окружения и антуража нам предстояло увидеть нечто непредставимое, необычное даже для нынешней Москвы (где многое невозможное стало возможным) — премьеру спектакля по песням Галича. Правда, на афише красным по белому было объявлено совсем другое — «Не покидай меня, весна» по песням Кима. И в начале я была даже несколько обескуражена: «Смотрите, сегодня — Ким». Пока не услышала, как кто-то сказал: «Нет, нет, это они специально — спектакль по Галичу еще не разрешен, вот они так и написали».

Что ж, и это знакомо: атмосфера полулегальности, полузапретности, окутывающая все самое интересное, атмосфера, в которой плод едва ли не всегда кажется слаще.

Зато дальше и впрямь пошли чудеса. Со сцены зазвучали песни Галича — те, что десятилетиями мы тайком переписывали на магнитофоны системы «Яуза» и перепечатывали на той самой «Эрике», которая «берет четыре копии», те, что за океаном любой из нас мог услышать в любую минуту. Но это было уже в другом мире. И разве не чудом было все это увидеть и услышать посреди Москвы, в исполнении молодых актеров, которые и в школу-то еще не ходили, когда песни Галича приобрели популярность? И, может быть, если и вправду рукописи не горят, то и магнитофонные пленки не стираются?

Спектакль по Галичу поставлен в театре-студии «Третье направление» режиссером Олегом Кудряшовым. «Третье направление» — это синтез музыки и слов, танцев и эстра-

ды. Режиссер до предела обнажает драматургическую основу песен Галича: их диалогичность и полифонию, их образность, резкое столкновение характеров и обстоятельств.

Первое действие построено на противопоставлении казенщины и живого таланта, на каждодневном противоборстве чиновников и поэта, палачей и жертв. Как определил когда-то это деление сам Галич — «и вохровцы, и зэки».

Перед зрителем разворачивается фон, на котором возникло искусство Галича, отвергнувшее надуманный, фальшивый мир советской официальной песни. Под руководством Вождя, который то и дело меняет наряды, появляется на сцене то в гимнастерке, то в кожаной куртке, то во френче, но при этом всегда узнаваем — хор выкрикивает «Марш Осовиахима» с его замечательной строчкой: «А вместо сердца — пламенный мотор» и бодро запекает: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Вождь в своей очередной ипостаси объявляет очередной номер программы: «Пролетарский вальсок», и по сцене начинают кружиться пары, упоенно распевующие:

Все наладится, образуется,
 Виноватые станут судьями,
 Все безумные образуются,
 Все наладится, все забудется,
 Сказки — сказками, будни — буднями,
 Никаких грехов не останется...

Сникает музыка, распадаются, расходятся по разным углам пары, и на фоне шлягера 30-х «Все стало вокруг голубым и зеленым...» возникает новая тема спектакля: актеры выстраиваются в шеренгу, вдоль которой проходит Вождь. В наступившей тишине четко звучит вопрос: «Год, статья, срок», и неслышно шелестит ответ человека, на секунду выходящего на шаг из ряда. Не слышно — потому что ответ не важен, потому что это лагерь, в котором сидит вся страна — архипелаг ГУЛаг, раскинувший свои щупальца по всей карте, захватывающий всех и каждого, мир, в котором да-

же луна вызывает ассоциации с неволей — «над блочно-панельной Россией, как лагерный номер, луна».

Над сценой вдруг нависают темно-зеленые, огромные, непонятного назначения полотнища: актеры срывают их с места, носят по сцене, закутываются в них, как в плащ-палатки, а потом расставляют — так, что зритель видит нечто похожее одновременно и на чудовищные пугала и на виселицы.

Самый пронзительный номер спектакля — песня «Караганда», монолог дочери врагов народа, которым «дали высшую», а сама она, проскитавшись по всем кругам ада, застряла в Караганде. Горький ее рассказ идет под гитару, струны которой лениво, не в лад, перебирает парень уголовного вида, в застиранной майке — шоферюга, чужой муж, единственная утеха в одинокой женской судьбе: «А что с чужим живу, так своего ведь нет!»

Лейтмотивом второго действия как бы становится строчка: «А кто не псих? А вы — не псих?» Здесь тональность резко меняется: перед нами явно сумасшедший дом. Безумие царит и в Белых столбах, куда приезжает герой «на брата и на психов посмотреть», и в истории Семена Петровича Мальцева, чудом излечившегося от диабета, которую распевает разудалый хор («лишь при советской власти такое может быть!»), и в хождениях по инстанциям ударника коммунистического труда Клима Петровича Коломийцева, тщетно дбивающегося почетного звания для своего «выдающего» цеха (производящего колючую проволоку), и в суе и страданиях «красного треугольника». Словом, перед зрителем абсурдный и обнаженный мир советской действительности. Но в этом безумии есть своя система и свои дирижеры. И как в первом действии на сцене постоянно появлялся человек во френче, гимнастерке, кожанке, так и здесь действием управляют двое: дама в белой блузке и черном жакете, губки бантиком, папка в руках, — партийная функционерка, «товарищ Парамонова», и сопровождающий ее бывший Вождь, сменивший

френч на обычный костюм, но несколько не изменивший своей сути.

В поэме «Кадис» Галич предостерегал Януша Корчака от возвращения в послевоенную Варшаву:

Не возвращайтесь, Корчак!
Вам страшно будет в этой Варшаве!
Вам стыдно будет в этой Варшаве!

Но сам он перед отъездом написал: «Когда я вернусь, ты не смейся, когда я вернусь..» Книжка песен, вышедшая в издательстве «Посев», называется «Когда я вернусь». Так же назван и спектакль.

Мы не знаем, как отнесся бы Галич к этому «возвращению» (да и состоялось бы оно, будь он жив?). Но, думаю, его тронула бы реакция зрительного зала, где преобладала молодежь, реакция, в которой смешались слезы, крики «браво», восторженная овация.

За две недели, что мы были в Москве, дважды проносился слух об отмене спектакля, потом появилась небольшая рецензия в «Московском комсомольце», эти слухи опровергнувшая. Потом вроде бы не отмененный, но вместе с тем и не разрешенный — спектакль получил высочайшее соизволение и как будто играется до сих пор.

ЧЕЛОВЕК ВО ФРЕНЧЕ

Идти на другой спектакль, поставленный тем же Олегом Кудряшовым, честно говоря, не хотелось: это был «Клоп» по Маяковскому. Уж слишком все было знакомо. Но в фолк-опере Ю. Кима и композитора В. Дашкевича от Маяковского почти ничего не осталось. Сохранились лишь имена героев, пафос же спектакля, его идея никакого отношения к поэту революции не имеют. Перед нами — история несчастной любви, убитой жизнью, бытом и бюрократией, трагедия человека, который хочет жить, а его призывают лишь работать и бороться.

Обещали Ванечке пироги да прянички,
Повидло...
Да покуда выдали, у Вани зубы выпали.
Обидно!

Симпатии зрителя на стороне несчастливого Ванечки Присыпкина, который все никак не может дожидаться обещанных благ и которому давно надоело с лучезарной улыбкой маршировать в толпе синеблuzников, влачить жалкое существование в общаге и зависеть от резолюций секретаря Лассальченко. Маленький Лассальченко уверенно чеканит по жизни шаг, он непоколебимо тверд в своих ответах и решениях, он все знает наперед и вызывает бурный восторг синеблuzников, которые выстроились его приветствовать.

В стилистике спектакля соседствуют городской романс и частушка, герои движутся по сцене то в дробной чечетке, то в томном танго. Никакого обличения мещанства (помните наши школьные сочинения по Маяковскому?) здесь нет и в помине, и нестойкий Ванечка, подпавший под соблазн обычных человеческих желаний, оказывается куда привлекательнее и человечнее своих непробиваемо-железобетонных сотоварищей. И зал дружным сочувствием откликается на горе этого обманутого Ванечки, который понуро выкрикивает свою последнюю, отчаянно-пронзительную частушку:

На Казанском на вокзале меня поезд задавил,
Что ж вы раньше не сказали, я туда бы не ходил.

Чувствуется, что для создателей спектакля главный объект презрения и гнева — секретарь Лассальченко, чем-то напоминающий персонификацию Вождя в пьесе «Когда я вернусь». Тут, впрочем, и удивляться нечему, ведь обе вещи поставил один режиссер. Но, похоже, что человек во френче вообще становится одной из главных фигур на московской сцене.

Так, мужчины во френчах четко печатают шаг по сцене Театра Юного Зрителя, где идет еще одна немыслимая в прежние времена пьеса, «Собачье сердце». В действие то и дело врываются представители достославного ЧК, хамски вторгаясь в квартиру профессора Преображенского и ведя неустанный надзор за его исследованиями. Хотелось бы написать что-нибудь хорошее об этом спектакле, но — увы! — нечего. За исключением Вдовина — «Шарика» актеры весьма средние, серые. Даже появление наплывом, в глубине сцены, персонажей оперы «Аида» (как мы помним, профессор любил напевать арии из этой оперы) выглядит не более, чем одна из вымученных «режиссерских задумок».

Сейчас в Москве «Собачье сердце» идет в трех театрах. Спектакль ТЮЗа был первым и, наверное, поэтому стал событием. Причем, скорее, общественно-политического значения, нежели художественного звучания.

И все же булгаковский текст спасает дело. В стране победившего Шарикова он и в конце 80-х годов звучит актуально. Зал взрывается аплодисментами, когда профессор Преображенский произносит свою знаменитую тираду: «Что такое ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе и не существует... Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха...»

Для создания иллюзии разрухи 20-х годов на сцене насыпаны груды черных бумажек, долженствующие, по-видимому, изображать грязь. Этот режиссерский штрих, может быть, и не был нужен, достаточно зрителям, выйдя после спектакля на улицу Горького, оглянуться вокруг: темные проемы окон в обезлюдивших домах, поставленных на капитальный ремонт, тусклый свет немногочисленных фонарей, полное безлюдье и тротуар в снежно-ледяных наростах — достаточно увидеть все это, чтобы ответить на вопрос профессора Преображенского: «Что такое разруха?»

СТИХИЯ АБСУРДА

А теперь о спектакле театра миниатюр «Эрмитаж» «Хармс! Чармс! Шардам! или школа клоунов». Начнем с того, что его никак не назовешь политически ангажированным, хотя у авторов для этого были все основания. Судьба Даниила Хармса, арестованного в 1939 году в Ленинграде и погибшего в 1942 году в тюрьме, вполне могла стать основой политического гротеска, аллюзий, да и прямых высказываний на определенную тему.

Но театр выбрал другой путь. Уже сама программка настраивает зрителя на веселый лад: спектакль определяется в ней как «представление исключительно для легкомысленных людей в трех шарах, двух молотках». На сцене разворачивается веселое действие, едва ли не цирковое представление, в котором не стоит искать особого смысла или единого сюжета: обрывки прозы Хармса монтируются в причудливую игру, которой самозабвенно предаются актеры и в которую постепенно включается и зал. Даже во время антракта расшалившихся зрителей, захваченных игровой стихией, так и тянет ткнуть ногой по разбросанным в фойе мячам.

Даниил Хармс был веселым человеком — изобретателем, выдумщиком, абсурдистом. Об этом — по-разному, но очень похоже — вспоминают его друзья. «Он видел мир таким, каким его видят дети и поэты», — пишет Виктор Шкловский. «Он больше всего не любил избитых, привычных слов, мнений и всего, что уже встречалось часто и набило оскомину», — вспоминает актриса Алиса Порет. А художник Борис Соколов замечает: «Хармс эксцентричен с головы до ног. Он сам произведение искусства. Человек-спектакль». Почему-то кажется, что если бы каким-то чудом Хармс попал на озорной, полный света и выдумки спектакль театра миниатюр, он остался бы доволен.

Две недели — очень короткий срок. Мы многого не успели: мы не были на «Серсо» режиссера Васильева в театре

им. Станиславского. Мы не попали в маленькие театры-студии, где и зала-то никакого нет, а зрители сидят на скамьях или смотрят спектакль через щели в стене. А сколько соблазнительного обещала нам афиша: тут тебе и Мрожек, и Ионеско — с опозданием, как минимум, на двадцать лет. Но и увиденное дало нам возможность почувствовать пульс московской театральной жизни, ощутить себя, как и прежде, завзятыми московскими театрами, пусть и ненадолго.

В издательстве «Третья волна» (Нью-Йорк — Париж) вышла новая книга Доры Штурман «Городу и миру», посвященная публицистике Солженицына. В книге пять глав: «Жить не по лжи», «Солженицын и демократия», «Солженицын и Запад», «Солженицын и национальный вопрос», «Солженицын и «плюралисты».

Объем книги — 430 страниц.

Цена книги — 24 доллара.

Заказы и чеки направлять по адресу:

*Mr. Alexandre Glezer (c/o M-me Marie-Therese de Foras)
215, rue du Faubourg St. Honore
75008 Paris
France*



Белла ЕЗЕРСКАЯ

САГА О МОСКОВСКИХ ПРОСТИТУТКАХ

О спектакле «Звезды в утреннем небе»

Неисповедимы пути гласности. Одних выпускают, других за то же самое сажают; одних реабилитируют, других продолжают репрессировать, одно разрешают, другое запрещают. Наивная, честная лента Аскольдова «Комиссар» вот уже двадцать лет не может пробиться к зрителю несмотря на перестройку и гласность, пьесу Александра Галина «Звезды в утреннем небе» от ее постановки на сцене Ленинградского Малого драматического театра отделяет всего три года (1984-1987) — детский срок.

Даже в эпоху горбачевской гласности кажется маловероятным, чтобы пьеса такой остроты, да еще из современной жизни, могла увидеть свет рампы, чтоб ее разрешили вывезти за рубеж (вынести сор из избы) — в Канаду, в Европу, в Нью-Йорк, где ее встретили с восторгом бывшие соотечественники и аборигены.

Похоже, что на периферии (а Ленинград, увы, такой именно периферией и является) под сурдинку творятся дела более интересные, нежели в столице. Или — что им разрешено твориться кем-то свыше. Я — из числа тех, кто относится к горбачевским новациям с большой долей здорового пессимизма. В отличие от прочно забуксовавшей перестройки, гласность — явление более зримое, легче осуществимое, но, вместе с тем, настолько непредсказуемое, настолько произвольное, что трудно говорить о какой бы то ни было закономерности, кроме, пожалуй, одной: закономерности явно ощущаемого хаоса.

Не будем сейчас открывать дискуссию о том, насколько серьезно коснулись перемены советского театра в целом, насколько эти перемены органичны и долговременны и каковы перспективы на будущее и насколько показательна судьба додинского театра на общем фоне. Говорят, одна ласточка весны не делает — и хотя мы много слышали об эпическом спектакле «Братья и сестры» (который ленинградцы везли в Нью-Йорк, да «не довели»*), и хотя по слухам этот спектакль давно уже стал в Ленинграде легендой, — у нас есть реальная возможность говорить только об одном, увиденном нами спектакле. И по этой частности судить о целом.

Как бы там не было, но когда вам предлагают лишь слегка завуалированное сравнение страны с сумасшедшим домом, где не только можно существовать вполне сносно, но даже защитить кандидатскую и докторскую, — вы как-то не очень задумываетесь, являются ли эти гастроли частным бизнесом незадачливого антрепренера или чьим-то недо-

* Гастроли ленинградцев оказались наполовину сорванными по вине американского продюсера, пригласившего труппу для показа семичасового спектакля «Братья и сестры» по роману Ф. Абрамова, и не сумевшего собрать недостающих 125 тысяч. Для многочисленной труппы, застрявшей в Канаде без въездных виз в США, это было шоком. Решено было в качестве альтернативы показать нью-йоркцам спектакль «Звезды в утреннем небе», в надежде расстрогать американских меценатов и собрать недостающую сумму. Этого не случилось, хотя спектакль прошел с огромным успехом.

смотром в самых верхах, призванным притупить бдительность американских либералов.

Самое пикантное в пьесе Галина, пожалуй, то, что героинями ее являются московские... проститутки, которых, согласно советской пропаганде, вовсе как бы не существовало, даже в виде отдельных, кое-где еще сохранившихся пережитков капитализма. В русской литературе со времен Толстого, Достоевского и Куприна тема эта не поднималась, а в советской — и подавно. Казалось, одного этого обстоятельства достаточно, чтобы ввергнуть в шоковое состояние советских зрителей, запретить спектакль, а автора упрятать в места, аналогичные тем, где происходит действие его пьесы. (А происходит оно, ни много, ни мало, на территории бывшей психушки.) Но этого, как мы видим, не произошло.

Мы уже давным давно забыли о существовании таких помещений, как забыли о существовании вагонов-теплушек, в которых во время войны перевозили людей. Перед этим уродливым баракком, заклеенным обрывками газет «Правда» и «Известия», с тусклой 25-свечевой лампочкой, которую надо включать и выключать поворотом выключателя, со ржавыми железными кроватями с кучами тряпья на них, со слепыми окошками под потолком — перед этим баракком Палата № 6 кажется царскими покоями. Прижатый к авансцене задней стенкой с кроватями, громоздящимися одна на другую, барак этот — символ нашей многострадальной родины.

В основу пьесы Александра Галина легло действительно событие: в 1980 году, ввиду предстоящих Олимпийских игр, из Москвы были в приказном порядке высланы нежелательные элементы, дабы столица предстала перед зарубежными гостями городом «образцового коммунистического порядка». Как читатель уже знает, этими нежелательными элементами в пьесе Галина оказались не диссиденты, не отказники, не сионисты, не религиозники (хотя их выслали тоже) — ими явились москов-

ские проститутки. Табу на изображение представительниц самой древней профессии на земле было, наконец, снято, но мое консервативное мышление долго отказывалось принять очевидный факт и все удивлялось странному, нестандартному поведению девушек.

Но не проституция, как таковая, является темой спектакля Льва Додина. Авторы, похоже, далеки от попытки заклеить это социальное зло или, скажем мягче, осудить его. Спектакль — о другом.

Близкое соседство олимпийской трассы и страшного дурдомовского барака, куда на время Олимпиады был упрятан «нежелательный элемент», само по себе кощунственно. Сокрушительной критике подвергается сама идея политизации спорта, как и искусства, науки, литературы, всей жизни. Олимпийский огонь освещает «внутренности» дурдомовского барака. Олимпиада превращена в пропагандистское шоу, призванное очередной раз продемонстрировать всему миру преимущества советской системы.

Нет, разумеется, психбольницы — не монополия страны «зрелого социализма». Но в цивилизованном обществе никто не может упрятать в них даже больного человека без его письменного на то согласия (какое он часто не в состоянии дать). Никто не посмеет тронуть попрошайку и наркомана с облюбованного им места в городском сквере даже ввиду приближающейся королевской процессии. Уж на что мэр Коч был озабочен тем, что «бамы» оскверняют своим зловонным присутствием самые живописные места города, — и то ничего не мог сделать, ибо они — люди, и их неприкосновенность и человеческое достоинство гарантированы конституцией.

Спектакль А. Галина и Л. Додина — о глубочайшей инфляции морали, о предельном унижении, которому подвергается человек в «стране победившего социализма». В этом смысле социальный фон, на котором представлены парии общества, мне видится чрезвычайно важным.

Авторы отнюдь не рисуют их такими жертвами соци-

альной несправедливости. Но мы, умудренные опытом жизни на Западе, сразу отмечаем разницу. Если квалифицированная нью-йоркская проститутка выезжает на работу в кадиллаке, живет в собственном доме, то русская, даже «валютная», выше импортных колготок и французских духов в своих мечтах не поднимается. На Западе в проститутки идут ради роскошной жизни, в России шли с горя, по нужде, как Сонечка Мармеладова, или в результате совращения, как Катюша Маслова. В Советском Союзе в проститутки не идут — ими становятся исподволь, постепенно. Само общество побуждает к этому, само общество стирает грани дозволенного и недозволенного — вот почему в Союзе так много «полупрофессионалок» — «честных» секретарш, студенток, работниц, подрабатывающих к зарплате или стипендии, чтобы как-то свести концы с концами.

В этом смысле показательны пути на дно каждой из героинь. Анна, в блестящем исполнении Татьяны Шестаковой, наивная, одураченная пропагандой девочка подалась на стройки коммунизма (партия сказала — комсомол ответил «есть») — и разбилась о действительность жестоко: спилась, пошла по рукам за стакан водки. Но это жалкое, спившееся, потерянное существо несет в себе способность к состраданию и ту нравственную силу, на которой стояла, по утверждению Солженицына, и будет стоять русская земля.

Пятнадцатилетняя Мария (Наталья Акимова), матерая зэчка, родившая ребенка неизвестно от кого, ругается и поет блатные песни. Свою школу жизни она прошла в колонии для несовершеннолетних, куда ее «по ошибке» упрятала родная мать.

«Валютная красotka» Лора все еще надеется встретить хорошего человека, для чего и придумывает себе деда-профессора и романтическую профессию воздушной гимнастки. И только «оглобля» Клара давно растеряла все иллюзии под кулаками высокопоставленных клиентов и смотрит на свою профессию сугубо утилитарно.

Есть в спектакле и свой сумасшедший, или, если угодно, свой князь Мышкин. Это физик Александр Илиади — человек истинно прекрасный во всех отношениях — таким только и место в сумасшедшем доме.

Философско-религиозная концепция спектакля (к сожалению, упущенная большинством американских критиков) четко обозначена этими тремя персонажами: Марией, Лорой и Александром.

Рыжеволосая красавица Лора — это Мария Магдалина. Александр, целомудренно обожающий ее, Иисус Христос. Евангельская притча о Христе и грешнице получает логическое завершение, однако в другой истории — пятнадцатилетней проститутки Марии. Но сейчас мне хочется вернуться к той исполненной гуманизма и целомудрия сцене, когда соблазняемый Лорой Александр раздевается. Свет на сцене гаснет. Стена барака поднимается и откуда-то из-за сцены бьет неземной свет, освещая обнаженную пару, стоящую на коленях друг перед другом. Александр кладет Лоре голову на плечо и засыпает. Она укрывает его своими волосами и поет над ним украинскую колыбельную. Тут идиллия прерывается оскорбительно громким звоном кремлевских курантов. Эта сцена — философско-религиозная кульминация спектакля. Режиссер утверждает: человек рожден прекрасным. Он — Божье творение, чудо природы. Все уродливое, злое, сотворила с ним жизнь. Перед лицом Любви вся эта шелуха опадает. Под омерзительными лохмотьями Александра скрывается тело Аполлона. Циничный жаргон Лоры сменяется колыбельной песней.

Философско-религиозную подоплеку спектакля, к сожалению, не поняли и некоторые русские критики. Нина Аловерт в рецензии «В мире без милосердия» (НПС) пишет: «Текст грубый и грубый бессмысленно, потому что никакого режиссерского замысла я за этой грубостью не нашла». Речь идет о том, что Мария, девочка-проститутка, родившая ребенка неизвестно от кого, становится

объектом насмешек своих товаров. Александр приходит ей на помощь, уверяя, что дева Мария тоже была проституткой и прижила Христа неизвестно от кого. Когда ее спрашивали, кто отец ребенка, она отвечала: «А Бог его знает». Отсюда, по теории Александра, и пошло название «Сын Божий».

Это святотатство возмущает Аннушку, стихийно, но глубоко верующую, но в нем содержится шифр: воспринимать слова Александра нужно методом инверсии, наоборот: не святая дева Мария была проституткой, а проститутка Мария — святая. Она — жертва клеветы. Она оставила на чужих руках своего сына, она умирает в муках по вине жестоких людей («клиентов» из советской элиты). Так происходит реабилитация Марии в русле евангельской легенды о Христе и Марии Магдалине. Как известно, Христос сказал благочестивым преследователям: «Кто из вас без греха, пусть бросит в нее камень». Милость к падшим — из лексикона Библии, Пушкина, но не строителей коммунизма. У них, строителей, другая заповедь: падающего — толкни.

Толкает Марию под откос Валентина — единственная в спектакле женщина правильного поведения. Наверно, охранницы в женских лагерных бараках были такими. Или капо в немецких концлагерях: грубые, злые, утратившие все женское. Валентина — комендантша общежития, куда сослали несчастных «олимпиек». Но амбиций в ней... Какая ни на есть, а начальница! Бессмертное пришибеевское «держат и не пущат» Валентина усвоила прочно. Кроме того, у нее брат в Москве, в милиции, в больших начальниках. Брат и помогает делать карьеру единственному сыну Коле — тот уже в милиционерах. Так надо же: влюбился Коля в Марию, проститутку с ребенком, и хочет жениться, а ребенка усыновить. Валентина в панике: ей не ко двору невестка-проститутка. Она тиранит сына, выгоняет из дому Марию — та с горя садится в машину к титулованным клиентам, откуда ей дорога — в больницу. Но в боль-

ницу не добраться, и несчастный милиционер держит на руках истекающую кровью невесту и уговаривает ее потерпеть, пока «они» (олимпийцы) проедут. Человеческая жизнь — ничто, показуха — все.

Об этом спектакле можно говорить долго, отыскивая все новые, не замеченные ранее пласты. Можно говорить о поэзии обнаженного человеческого тела, которого в спектакле очень много, но которое, вопреки ожиданию, не вызывает эротических эмоций. Можно говорить о сексуальных сценах, всегда обрываемых в нужную секунду, чтобы не смутить нашего целомудрия. Можно говорить об изумительном черном юморе, снимающем напряжение и приносящем разрядку (на юмор особенно охотно реагировали американские зрители — им в этом помогал отличный перевод, сделанный Михаилом Строниным и Элизой Торон). Можно, наконец, говорить о музыке. Музыка занимает в этом спектакле особое место.

Она состоит из запетых до дыр мелодий, сопровождающих жизнь советского человека от самого рождения. Начинается спектакль бравурным маршем Свиридова «Время, вперед!», кончается слащавой лирической песней Пахмутовой, написанной к закрытию Олимпиады «До свидания, Москва, до свиданья». Трагические события в черной Волге, невидимые зрителю, идут под хриплый, ненавидящий голос Высоцкого. Даже украинская колыбельная Лоры — из радиопередачи для малышей.

В контексте страшной действительности, явленной нам авторами спектакля, эти бодрые музыкальные клише звучат зловеще. Особенно издевательски звучат знаменитые «Подмосковные вечера» Соловьева-Седого, столь популярные на Западе. Грешные героини и «правильная» Валентина, объединившись в бабьем своем горе, без слов воют по-волчьи эту песню, а Аня насмешливо комментирует: «Этот стон у нас песней зовется?»

А события, между тем, нарастают стремительно и ведут к финалу, о котором мне хочется поговорить особо.

Олимпийский огонь приближается. Дорога прочесана — заяц не проскочит. «Под каждым кустом — мусор», — замечает Лора. А тут какой-то сумасшедший сбежал из психушки — из тех самых новых корпусов», что через шоссе. Читатель уже догадывается, что этот сумасшедший не кто иной, как физик Александр, которого тянет на «старые места». «Тут я кандидатскую защитил». О, кто из нас, ныне живущих здесь, не знает этой мучительной тяги к старым местам, к старой тюрьме, где прошла юность и где каждый из нас защитил свою «диссертацию»... На поимку Александра брошены мощные милицейско-гэбэшные силы. «Правильная» Валентина объясняет эту панику соответственно своему пониманию событий: «Он может огонь потушить». Идиотизм этого заявления чрезмерен даже для героев Кафки, но у советских — собственная логика.

В полном соответствии с этой логикой выстроен финал спектакля, породивший множество противоречивых мнений. Огонь приближается. Комендантша Валентина, которой наказано строжайше «держат и не пущать», крестнакрест забила дверь и растопырив руки закрыла ее собственным телом (дважды тут по-разному обыгрывается тема креста). Но девчонки как с цепи сорвались: они выбивают тысячу лет не мытые стекла и, как ужи, выскальзывают на крышу. Они пьют за здоровье «наших ребят», обнимаются в неистовом патриотическом восторге: «За победу наших орлов! Наши ребята самые лучшие! Никакие американцы, никакие индусы! Наши победят!»

Критика А. Гершковича (НРС от 3 июля) финал смутил своей иллюстративной заданностью: забыв про все свои обиды и горести, московские проститутки вдруг объединяются на почве патриотических чувств и восторженно приветствуют «олимпийский огонь». Все два с половиной часа нас убеждали в том, что герои знают причину своих мытарств и бед. И вдруг этот экстаз чисто советского патриотизма. Дважды употребленное словеч-

ко «вдруг» говорит о том, что финал спектакля остался для критика непознаваемым. А ведь никакого недоразумения здесь нет: финал закономерен и страшен именно своей закономерностью. Патриотический экстаз возник не вдруг — он подготавливался тщательным промыванием мозгов каждого из этих несчастных созданий, начиная с самого их рождения. Мы здесь, на Западе, склонны забывать, и как следствие, преуменьшать разрушительную силу советской пропагандной машины, способной превратить в идиотов даже людей, наделенных интеллектом — не чета бедным московским блудницам. Разве не знаем мы старых большевиков, вышедших из 20-летнего каторжного заключения с непоколебимой уверенностью в правоте дела Ленина? Разве не влекли нас на улицу призывные звуки первомайского оркестра? Разве не собирались мы вокруг праздничного стола ежегодно 1 мая и 7 ноября? Мы, знавшие уже тогда, что эти праздники надо бы отмечать не застольем, а похоронным звоном. А вот поди ж ты! Пропаганда, замешанная на стадном чувстве, патриотических бреднях, эрзац-традициях, дала свои зловещие всходы. Как говорится: «наш год украшен Октябрем и Маем...» Не густо. (В проклятой царской России религиозных и светских праздников было 56 в году.) Как же тут не радоваться еще одному, дуриком, в кои веки перепавшему? Жизненный опыт тут ни при чем. Он идет параллельно. Небожители-олимпийцы и презренные парии объединяются в едином патриотическом порыве. Финал достигает орвелловской силы, и в этом несомненная победа его авторов — Александра Галина и Льва Додина.

Белла Езерская. «МАСТЕРА»

В издательстве «Эрмитаж» выходит книга Беллы Езерской «Мастера» (выпуск второй). В книгу вошли интервью с М.Шемякиным, Ю.Любимовым, Н.Горбаневской и другими представителями русского искусства за рубежом. Стоимость — \$10 (один доллар необходимо добавить на пересылку).

**Заказы направлять по адресу:
Bella Ezersky, 359 Madison St., Apt. 2-B, New York, NY 10002**



Предлагаемая вниманию читателей полемика относится к расстановке политических сил в Израиле и к тому, какое влияние она оказывает на будущее страны.

Р. РАЙХЛИН

ПРОСУЩЕСТВУЕТ ЛИ ИЗРАИЛЬ ДО 2000 ГОДА?

Класс или общество, находящееся в упадка, всегда будут противиться уразумению действительности; они не станут пользоваться своим интеллектом для уяснения существующего порядка вещей, но воспользуются им для приобретения аргументов, могущих успокоить, утешить и обмануть их самих.

Карл Каутский

На этот вопрос я отвечу отрицательно. Конечно, нельзя утверждать категорически. Положение может измениться, и изменится ответ. Однако в нынешней ситуации и при нынешнем развитии дел мой ответ однозначен — нет, не просуществует! Ниже я попытаюсь изложить доводы, которые привели меня к такому выводу.

С самого начала я отмечу, что не собираюсь сопоставлять военные потенциалы Израиля и враждебных ему арабских стран. Эта очевидная угроза как была, так и осталась. Я буду говорить о другой угрозе, которая не очевидна и поэтому представляет большую опасность для Израиля, чем военная угроза арабских стран.

Отношение евреев к арабам во время борьбы Израиля за независимость, как известно, не отличалось большой любовью. Если требовали интересы безопасности, арабов без всякого стеснения изгоняли из их деревень. Так было вплоть до 1951 года. Многие кибуцы сегодня расположены именно на арабских землях. Я хочу отметить, что изгнанием арабов занимались все евреи как левые, так и правые. Этого требовали нужды войны и обороны. Евреи были едины в своей борьбе за национальные интересы.

В то время арабы считались реакционным элементом, а королевские режимы в арабских странах были «агентами английского империализма». Так утверждала советская пропаганда, следом за ней восточноевропейская и далее вся коммунистическая и социалистическая пропаганда.

Крутой поворот в советско-арабских отношениях произошёл после свержения короля Фарука в Египте в 1952 году и последовавших за этим офицерских переворотов в других арабских странах. С этого момента арабские страны из реакционных перешли в прогрессивные, а их место занял Израиль.

В самом Израиле поворот в советской политике в то время не привел к каким-либо потрясениям. Однако в остальном мире потрясения были, и результаты их медленно и верно дошли до Израиля.

Во время Шестидневной войны только советский блок порвал дипломатические отношения с Израилем. Весь остальной мир был восхищен его блестящей победой. Через шесть лет, в войне Судного дня, Израиль был в жалком одиночестве, и его победа в войне вызвала во многих странах сожаление. Арабский бойкот только набирал силу, в то время как ненависть к Израилю со стороны левых сил уже созрела. Советские цветочки дали плоды: Израиль стал расистской, империалистической и фашистской державой. Но пока все это было за границами Израиля, положение можно было оценивать как неприятное и не больше.

Революция произошла в 1977 году, когда на выборах в Кнессет левые — впервые с момента возникновения Израиля — потерпели поражение и перешли в оппозицию. Это, казалось бы, естественное для демократических стран изменение власти для Израиля оказалось роковым. Дело в том, что когда левые правили страной, они ассоциировали себя с государством. Теперь эта связь была порвана. Израильские левые не просто перешли в оппозицию, они перешли в антиизраильскую оппозицию.

Потеряв голоса еврейских избирателей, левые стали ориентироваться на голоса арабских избирателей, и соответственно их политика стала проарабской. Левые не способны изменить свою идеологию — они предпочитают изменить народ. В соответствии с марксистским лозунгом «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!» израильские левые объединились с левыми других стран в антиизраильскую коалицию. Вот несколько характерных примеров такой эволюции.

Во время Шестидневной войны половина израильских коммунистов выступила против арабов в поддержку израильского правительства. Во время ливанской кампании против израильского правительства выступили единым фронтом решительно все левые. Более того, левые, вроде партии МАПАМ и движения «Шалом ахшав» («Мир сегодня»), начали деморализацию армии и народа: среди солдат распространялись антивоенные листовки, солдат призывали к отказу служить в армии и т.п. Антивоенные демонстрации стали в Израиле нормальным явлением. Дальше — больше. В наше время уже не редкость предательство народа со стороны левых. Ненависть их к стране столь велика, что они переходят на сторону врага из чисто идеологических соображений (деньгами тоже не брезгают). Я имею ввиду дело «атомного предателя» (М. Ваануну) или дело редакции коммунистической газеты «Дорогой «Искры»». (Эта «Искра» идет по дороге ленинской «Искры».)

Куда же ведет эта дорога?

Израильские журналисты соревнуются в нарушении законов страны и публикуют сведения, запрещенные военной цензурой. Нет секретов — так публикуют сплетни и ложь. Вот образец. По сообщениям израильской печати и радио, минимум 10 человек на оккупированных территориях умерли от слезоточивого газа. Источники этих сообщений — не больницы, а «арабские круги». Нет ничего проще, как выяснить этот вопрос по телефону в токсикологическом центре. Слезоточивый газ не ядовит. Но «смерти» от слезоточивого газа уделяется не меньше внимания, чем сообщениям о применении Ираком ядовитых газов против курдов. Что же удивительного, что в Израиле журналистов изредка бьют.

Наши «борцы за мир», в том числе Эйби Натан, нарушают израильские законы «во имя мира». Сегодня уже не редкость слышать, что кто-то отказывается служить на оккупированных территориях всего лишь в 20 километрах от дома. Я не помню ни одного случая, чтобы отказывались служить в Синае. Что же будет завтра?

Я привел примеры преступлений, которые очевидны. А сколько таких преступлений, которые граничат с предательством? Что при всем этом надо отметить — сочувствие предателям и преступникам со стороны братьев по классу. М. Ваануну стал международным героем, а в защиту арестованных редакторов «Дорогой «Искры»» выступили все журналисты Израиля и ни одного, я подчеркиваю, ни одного слова осуждения или проклятия. Предательству дают идеологическое обоснование, моральную поддержку. Предатели — это борцы за мир!

В такой атмосфере даже суд поддается влиянию. Сравните наказание, которое получили израильские шпионы в США супруги Поллард и М. Ваануну. Во время вьетнамской войны дезертиры бежали из США, поскольку наказание было суровым. Излишняя мягкость наказаний ведет к тому, что преступления не прекращаются. Зато потом преступник приобретает ореол святого мученика и пострадавшего «за веру».

Интересно отметить, что американцы сурово карают только у себя дома. От других, таких как Израиль или Южная Африка, они требуют милосердия, терпеливости и свободы. Будто только в США необходимы законность и порядок.

В наше время интересы государства и народа уступают интересам идеологии. Уже не редкость, когда израильские общественные деятели, не находя поддержки у евреев, ищут ее у арабов. Не в этом ли одна из причин того, что большинство изданий коммунистических газет выходит на арабском языке и что почти половина списка кандидатов на выборах в Кнессет от крайних левых партий — арабы.*

Не находя поддержки внутри страны, израильские левые ищут ее за рубежом. Что ни день, в газетах США публикуются антиизраильские призывы наших писателей и ученых. Израильские отставные генералы и министры едут в США и Европу, чтобы мобилизовать там общественное мнение в свою пользу и против Израиля. Нечего сказать, адрес правильный: Израиль в глазах заграничных левых страна империалистическая, фашистская и т.п. Что ни говори, а у американцев интересы часто расходятся с интересами израильтян. Там, на международной конференции, израильские левые надеются побить израильских правых. Им, левым, и в голову не приходит, что они деморализуют свой народ и продают его, подобно М. Вануну, во имя идеологических убеждений.

Вся эта борьба «за мир и справедливость» идет только в одну сторону. Левые не замечают или не хотят видеть, что нет тут никакой взаимности. Мир и демократия требуются только от Израиля. Все пацифистские движения направлены только против Израиля. Нет ничего подобного на другой стороне, арабской или палестинской. Более того, если там появится кто-то с робким призывом к миру с Изра-

* Справедливости ради следует заметить, что заигрывание с арабскими избирателями началось при правом правительстве во главе с М. Бегиным. Это правительство отменило все ограничения, наложенные на арабов в период становления государства.

лем, он тут же будет убит. Так какого же лидера среди палестинцев ищут для переговоров о мире израильские левые? Который будет мертвым?

Дорога «Искры» — старая широкая дорога, протоптанная многочисленными толпами левых. Утверждается, что Ленин вел свою антиправительственную борьбу в России на деньги немецкого правительства. Не знаю, сколь авторитетны эти доказательства. Однако доподлинно известно, что сегодня подрывная деятельность левых революционеров и «борьба за мир» финансируется различными «прогрессивными» странами вроде СССР, Кубы, Ливии и т.п.

Нет ничего особенного в поведении израильских левых. Идеология любых левых в любой стране интернациональна и расходится с национальными интересами. Левые — борцы за свою идеологию, часто вопреки интересам своего народа. Для них цель оправдывает средства. Вот почему они с легкостью становятся на путь преступлений. Крайние левые всегда были и есть предатели своего народа. Любой коммунистический интернационал — интернационал предателей. Советская Россия отлично использовала и Наверное использует эту особенность психологии левых. Все всемирно известные советские шпионы, как например, К. Филби в Англии или Зорге в Германии, были найдены советскими резидентами и мобилизованы на идеологической основе. Я напомним также историю с испанским золотом. Во время гражданской войны в Испании социалистическое правительство с поразительной легкостью отдало весь золотой запас страны своему «старшему брату» — России и таким образом ограбило свой народ.

Экстремизм левых и порожденная этим агрессивность арабов привели к появлению среди евреев столь же крайних правых, вроде движения «КАХ» Меира Кахане. Это движение черпает силу в поведении левых и арабов. Сегодня в Кнессете оно имеет одно место. Прогнозы говорят, что на предстоящих выборах это движение получит

минимум еще одно место. И это вопреки бойкоту его лидера со стороны средств массовой информации.

Крепнут и другие крайние правые партии. Израильское общество поляризуется. То, что раньше называлось центром, скатилось влево, религиозные — вправо. Иного выхода нет — чтобы скомпенсировать левых, кто-то должен стать правым.

Нынешняя израильская ситуация очень напоминает положение, в котором оказались США во время вьетнамской войны. США проиграли эту войну вопреки своей военной и экономической мощи. Проиграли войну не на фронте, а в глубоком тылу. Стоит отметить, что аналогичная война в Корее в 1950 году фактически американцами была выиграна. Я думаю, что заслуга в корейской победе принадлежит не столько генералам, сколько сенатору Маккарти, который во имя национальных интересов страны подавил левые и пацифистские силы.

Поражение США во Вьетнаме обернулось трагедией прежде всего для самих вьетнамцев, а не американцев и, может быть, по этой причине не было осознано левыми кругами. Все же стоит подумать, что произойдет, если, уступая давлению левых, Израиль выведет свои войска с оккупированных территорий. Действительно ли левые хотят той резни, которая была в Камбодже, или миллионов беженцев, которые до сего дня бегут из коммунистического Вьетнама?

Во всех странах мира гражданином считается тот, кто служит в армии. И только граждане страны обладают избирательным правом. В Израиле, вопреки этой логике, арабское население (17 процентов) обладает избирательным правом, но освобождено от службы в израильской армии.

Сегодня никто не может объяснить причины такой странной «дискриминации». Возможно, что арабы не горят стремлением служить в армии, тем не менее они хо-

тят иметь привилегии, которые даются тем, кто в армии служит.

Обладать избирательным правом им мало. В прошлом реакция арабов на «дискриминацию» была тихой и проявлялась в том, что они голосовали за коммунистическую партию. Сегодня, когда правые сняли с арабов все ограничения, а левые партии заигрывают с ними, когда правительство слабо и не способно сохранить в стране законность и порядок, арабы стали враждебны и агрессивны. Не прекращаются их демонстрации при активной поддержке израильских левых против правительства и армии, идет сбор израильскими арабами денежных средств для поддержки волнений братьев на оккупированных территориях. И это еще не все. Камни и бутылки с горячим летят в автомобили на дорогах страны, леса и рощи сжигаются (1200 лесных пожаров в 1988 году), посевы и рыба травятся. Убийства, преимущественно детей, совершаемые арабами по национальным мотивам, уже не редкость. Как и в средние века, арабы снова превращают Израиль в пустыню.*

Сегодня «наши» арабы превратились в пятую колонну! Придет время, и она выступит.

Обратите внимание: все защитники экологии, животных и прав человека молчат, и никто из них не говорит ни слова против варварства, которое даже не назовешь первобытным, ибо первобытный человек отлично понимал значение экологии для его существования.

Особо следует остановиться на совершенно новом факторе в анализе положения Израиля — волнениях арабского населения на контролируемых территориях. Как очевидно, эти волнения могли быть легко подавлены с по-

* Когда я говорю «снова», то хочу напомнить, что в древности Израиль был зеленой и процветающей страной. После завоевания арабами страна превратилась в пустыню по двум причинам: арабы не умели пользоваться той сельскохозяйственной культурой и техникой, которая была; вместо этого они стали выращивать коз, разведение которых до того еврейская религия сильно ограничивала. Козы съели страну.

мощью тех же методов, которые были использованы против арабов во время войны за независимость 40 лет назад. Однако скоро будет годовая юбилей, как эти беспорядки начались, и нет даже намек на то, что они прекратятся или хотя бы ослабнут. Контролируемые территории превратились в израильский Бельфаст с той лишь разницей, что английское правительство критикует израильское и посылает своих представителей проверять положение на территориях, а израильское воды в рот набрало и не вмешивается во внутренние дела Англии. А ведь можно было бы выразить парочку протестов по поводу жестокого убийства членов ИРА.

Волнения, как это обычно бывает, возникли случайно и в одном месте, но мгновенно распространились по всем контролируемым территориям. Израильское военное командование оказалось не в силах предупредить их или хотя бы остановить их распространение. Теперь оно уже не способно их подавить. В чем же причина? Нет достаточной военной силы? Если бы в первый день волнений были приняты меры, которые предпринимаются теперь, если бы в первый день была бы только десятая часть тех жертв, которые уже имеются, то не было бы и картины, наблюдаемой сегодня. Нерасторопность и нерешительность военного командования привели к вспышке. Анархия восторжествовала с самого начала. Буйная молодежь ломала и крушила израильские военные порядки. Система вышла из-под контроля. Как в таких случаях бывает, власть на местах была захвачена «идеологически подкованными» элементами (коммунизм, ислам и т.п.), которые образовали различные комитеты и советы. С помощью террора и угроз эти элементы властвуют на местах.

Первая же вспышка привела к наплыву в Израиль огромного количества корреспондентов (более 400) различных антиизраильски настроенных газет и телевизионных компаний. Я уже привел пример (со слезоточивым газом) лживости израильских средств информации. Иностранцы ничуть не лучше. Газеты были заполнены протестами раз-

личных деятелей предпочтительно «еврейской национальности». Все, что фотографировалось корреспондентами, потом фигурировало в военном суде над солдатами.

Бдительного ока прессы оказалось недостаточно. Различные общественные деятели из-за рубежа и члены Кнессета поспешили проверить чистоту мундира израильских командиров. Левые тоже образовали фронт и мобилизовали для этого израильских арабов. Лидер левых Шимон Перес поторопился подлить масла в огонь и заявил, что Израиль не нуждается в оккупированных территориях, и предлагал вернуть сектор Газы Египту.

Почему все эти активисты и контролеры не торопятся проверить положение в Курдистане? Почему из тех 400 корреспондентов, что примчались в Израиль, никто не завернул в Курдистан? Обратите внимание: все борцы за мир и против атомного вооружения молчат — никто из них не выступил с протестом против применения Ираком химического оружия. Где все те гневные письма в газеты и грандиозные демонстрации за мир и разоружение?

Израиль демократическая страна, однако первые 25 лет его существования можно назвать диктатурой левых. Во всем, что касалось безопасности страны, у левых не было оппозиции. Более того, лидер оппозиции М. Бегин часто одобрял действия правительства и не скупился на похвалы ему. Так было, например, после операции израильской армии по спасению заложников в аэропорту Антебе.

Сегодня правительство парализовано и не способно руководить в военной ситуации. Еще хуже положение в Кнессете, где сложилось проарабское лобби. Коммунисты и крайние левые представляют интересы ООП (Организация Освобождения Палестины). Лидер рабочей партии МАПАЙ Шимон Перец представляет интересы Иордании, а его партийный товарищ Эзер Вейцман — Египта. Израиль растаскивают по кускам.

Раздробление общества и анархия, сложившиеся в стране, могут привести к поражению Израиля. Выше я привел в качестве примера США. Израиль уже проиграл войну в

Ливане. Следующее поражение будет более трагичным.

Истории известно немало случаев, когда раздробленное общество и демократическая анархия приводили к печальному концу некоторые государства.

Каждый, кто проезжает в автомобиле и видит катастрофу с человеческими жертвами, думает: «Со мной этого не случится». Тем не менее дорожные катастрофы повторяются и часто с теми, кто до этого наблюдал их со стороны. Приведу только один исторический пример, который мы все учили в школе. Это история борьбы двух древнегреческих государств, демократического — Афин и тоталитарного — Спарты. Конфликт, как известно, кончился поражением Афин и закатом блестящей древнегреческой культуры. Здесь я просто цитирую одно из описаний тогдашнего положения в Афинах: «Добившись равенства политических прав, свободный пролетариат, пользуясь своим численным превосходством, а следовательно, большинством в народных собраниях, провел ряд законоположений в свою пользу. Так, он потребовал платы за посещение народных собраний, за отправление судебных обязанностей и т.п. и стал злоупотреблять своим правом голоса, т.е. подавая его за тех, кто ему заплатит больше. В дальнейшем бедняки стали притеснять богачей, налагая на них целый ряд налогов, конфискуя их имущество за маловажные проступки, изгоняя их из государства и пользуясь оставшимся после их изгнания имуществом и даже требуя у них устройства народных увеселений и празднеств. Местами дело дошло прямо до конфискации без всякого повода имущества и уничтожения долгов. Это привело к страшной вражде между аристократами и демократами, причем в жертву приносился патриотизм, к которому все греки были весьма чувствительны. Так, во время Пелопонесской войны афинская аристократия держала сторону Спарты, дабы нанести удар афинской демократии».

Как мы знаем удар был нанесен и не только афинской демократии.

Положение в Израиле находится под пристальным вни-

манием арабских руководителей и особенно руководителей ООП, которая нисколько не изменила ни своих целей, ни своей политики. Но есть и новое в поведении ее лидеров. Они стали открыто встречаться с израильскими левыми, чтобы поддержать борьбу «миролюбивых сил в Израиле». Подобно тому как когда-то израильские коммунисты бегали в советское посольство за советами и инструкциями, так сегодня израильские левые координируют свои действия и получают инструкции от лидеров террористических организаций. Как волка не корми — он все в лес смотрит!

В угоду «политике дружбы и мира» от израильского народа фактически скрывается (или лучше сказать в стране не афишируется), что положение на израильско-египетской границе много хуже, чем это было до заключения мирного договора с Египтом. Спрашивается, что дала Израилю столь любимая левыми политика «мир в обмен на территории»? Ничего. Так может, следует перейти к политике «территории в обмен на мир»? Если арабам нужен мир, то пусть дадут Израилю территории. Да нет же, кто так говорит — тот против мира.

Эта статья была написана в марте 1988 года. Я разослал ее в редакции ведущих израильских газет и не получил никакого ответа, даже обычного, стандартного «Ваша статья... не может быть опубликована в нашей газете». Я отправил экземпляры статьи с просьбой оценить, насколько мой прогноз верен, президенту, главе правительства и некоторым министрам. Но не получил никакого ответа, разве лишь от секретарей: «Ваше письмо получено и будет передано...». Я отправил экземпляры 20 членам Кнессета, поровну левым и правым и получил лишь два ответа: от Меира Кахане и бывшего начальника Генштаба Рафаэля Эйтана.

Доктор Герцель предсказал становление еврейского государства. Похоже, что теперь мы можем предсказать его бесславный конец.



Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ

ПАСКВИЛЬ ПРОТИВ ЛЕВЫХ ВМЕСТО ВДУМЧИВОГО

АНАЛИЗА

На вопрос, поставленный Р. Райхлиным, просуществует ли Израиль до 2000 года, я отвечаю положительно: да, будет существовать! Но должен сказать, что статья его меня разочаровала. Я думал, что речь пойдет о геополитическом положении Израиля как еврейского государства, вклинившегося в арабский мир, о соотношении сил двух враждебных лагерей, об их военном потенциале, наконец, о влиянии двух сверхдержав на Ближнем Востоке. Всего этого нет и в помине, вместо этого мы читаем пасквиль, направленный против левого лагеря Израиля.

«Гул затих. Я вышел на подмости. Прислонясь к дверному косяку, я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку». По наивности я предполагал, что речь пойдет о предвидении будущего: «Что случится на моем веку?» Но разве пасквиль против определенного политического лагеря заслуживает глубокого анализа и развернутого ответа?

Начнем с того, что вся историография автора в отношении Израиля страдает непростительным упрощенчеством и потому многими извращениями. Приведу несколько примеров. Р. Райхлин, например, пишет: «Отношения евреев и арабов во время войны за независимость, как известно, не отличались большой любовью. Если этого требовали интересы безопасности, арабов без всякого стеснения изгоняли из их деревень. Так было до 1951 года. Многие кибуцы сегодня расположены именно на арабских землях».

В этих словах дается совершенно ложная интерпретация еврейско-арабских отношений. В течение многих лет до освободительной войны 1948 года евреи строили свои отношения с арабским населением, руководствуясь политикой сдерживания — не отвечать на арабский террор и враждебность той же монетой. Известно, что когда разгорелись страсти вокруг Стены плача, еврейские руководители призвали население ишува* не поддаваться на арабские провокации. В этой сдержанности проявлялась сила слабых, сила евреев, которые составляли меньшинство в подмандатной Палестине.

Эта сдержанность и умеренность не была мягкотелостью. Это было веление разума. Это была стратегия собирания сил, которая всецело оправдала себя. Политика эта как раз и осуществлялась левым руководством еврейского ишува и встречала резкое осуждение со стороны право-националистического лагеря, который рвался перевести еврейско-арабские отношения на рельсы взаимного истребления.

Следует учесть, что все годы до создания Израиля евреи жили, как на вулкане, который мог каждую минуту взорваться. Они жили на грани великой опасности, но никогда этой грани не переступали. Этому способствовала не только политика сдерживания, но и основная, коренная

* Еврейское поселение в Палестине.

линия еврейской колонизации, которая не имела ничего общего с империализмом — не прибылей искали евреи в Палестине, а Родину. Им был совершенно чужд захват земель, они приобретали их за полную цену и платили компенсацию арабским арендаторам. Их лозунгом было завоевание страны трудом, и они старались строить свои отношения с арабами на основе доброжелательного соседства. Большинство кибуцов и трудовых поселений как раз и были расположены на этих землях, а не на землях, захваченных во время войны 1948 года, как пишет Р. Райхлин.

Что же касается изгнания арабских жителей с их поселений, то факты таковы. Большая часть арабов оставляли свои города и села в надежде вскоре возвратиться, как обещали их собственные вожди. В Хайфе, например, евреи упрашивали арабов остаться, а те часто не соглашались. Да, были случаи изгнания, но, в основном, это вызывалось нуждами войны. Широко известно, что этой войны можно было избежать, если бы арабы согласились на раздел страны, в соответствии с решением ООН, принятым в 1947 году, но они решительно отвергли раздел, надеясь изгнать евреев из страны. Такова объективная картина. Зачем же потребовалось нашему автору, считающему себя, как это следует из духа его рассуждений, израильским патриотом, наводить тень на ясный день? Зачем рисовать картину, в которой евреи, а не арабы выступают агрессивной стороной?

Говорят, что история — это прошлое, опрокинутое в настоящее. Извращение прошлого, по-видимому, объясняется желанием автора доказать, что еврейско-арабский мир — это иллюзия левых, правые же всегда занимали бескомпромиссную линию. Но эти рассуждения могут убедить людей, которые поворачиваются спиной к действительности. Не только в прошлом, но и после создания еврейского государства евреи оставались м е н ь ш и н с т в о м на арабском востоке, и потому простой голос разума всег-

да ставил их перед необходимостью искать компромисса с арабским большинством. В этом и заключалась программа левого лагеря, который автор представляет как «пятую колонну» в Израиле.

Пойдем дальше. Р. Райхлин пишет: «Крутой поворот в советско-арабских отношениях произошел после свержения короля Фарука в Египте в 1952 году и последовавших за этим офицерских переворотов в других арабских странах». И это неверно: автор делает слишком много чести политике Кремля и его принципиальности. Советская политика настроилась на антиизраильский лад не в результате переворота в Египте, а в силу совсем других причин, СССР действительно поддерживал Израиль во время освободительной войны, но делал он это исключительно из корыстного расчета, надеясь на изгнание Англии из Палестины. Поэтому вскоре после окончания войны Москва вернулась на старую позицию проарабской ориентации, которую она всегда занимала по отношению к сионизму.

Автор статьи изображает дело таким образом, будто поворот советской политики против Израиля «не привел к каким-либо потрясениям» в стране. И так было до тех пор, — пишет он, — пока потрясения в остальном мире и их результаты «медленно и верно не дошли до Израиля». Это конечно, совершенная небылица. Советский Союз пользовался поддержкой в Израиле (в том числе и у левых) только тогда, когда он сам поддерживал еврейское государство. Но с тех пор как он занял антиизраильскую линию, в наших отношениях с Москвой наступило полное охлаждение. Лучшим доказательством этому служит раскол коммунистической партии Израиля в первые дни Шестидневной войны. Как мы помним, еврейская часть компартии, возглавляемая генеральным секретарем Самуилом Микунисом, осудила проарабскую политику Советского Союза и открыто встала на позицию обороны страны.

По мнению Р. Райхлина, после победы правых на выборах 1977 года левые не просто перешли в оппозицию, но

перешли в антиизраильскую оппозицию. Это уже чистейшей воды поклеп, который проще простого опровергнуть. Ведь если бы это было так, то разве возможно было бы существование в течение четырех лет правительства национального единства, в котором на равных правах принимают участие правые и левые силы страны.

«Потеряв голоса еврейских избирателей, — пишет автор статьи, — левые стали ориентироваться на голоса арабских избирателей, и, соответственно, их политика стала проарабской». Ведает ли Р. Райхлин, о чем он говорит? Как известно, ведущей партией левого лагеря является Партия труда (блок «Маарах»). Ее представитель занимает в правительстве пост министра обороны, на которого ложится главная ответственность за подавление арабского сопротивления на оккупированных землях. Какая же это, спрашивается, проарабская ориентация?

По-видимому, у автора статьи произошло просто смешение понятий. Известно, что единственной партией, которая опирается на арабские голоса, является коммунистическая партия Вильнера, да еще так называемый «Прогрессивный список за мир». Но ведь они-то и принимаются в Израиле как арабские партии, и с них, как говорится, взятки гладки. Все остальные партии, в том числе и правые, борются на выборах за арабские голоса на равных началах.

Далее мы в статье Райхлина читаем: «В соответствии с марксистским лозунгом «Пролетарии всех стран, объединитесь», израильские левые объединяются с левыми других стран в антиизраильскую коалицию». Да помилуйте, о каких левых идет речь? В Израиле существуют маленькие группки, политическое влияние которых близко к нулю. Это, в первую очередь, израильские коммунисты, которые всегда занимали проарабскую позицию. Есть в сфере их влияния и еще несколько групп. Но можно ли их выдавать за левый лагерь Израиля?

Главные партии левого лагеря — это уже упомянутая Партия труда, это «МАПАМ», являющаяся по преимуществу партией кибуцов и, наконец, РАЦ, партия защиты гражданских прав. Эти партии выступают как политическая альтернатива правому лагерю Ликуду и стремятся получить на выборах большинство, чтобы сформировать правительство. И вполне очевидно, что такое правительство будет отстаивать национальные интересы Израиля не менее твердо, чем правое правительство, которое представляет партию Ликуд. Так было в период борьбы за создание государства. Положение это сохранялось и в течение тридцати лет его существования. Почему же сегодняшний Израиль должен ринуться в объятия правых? Все страны мира сегодня ищут пути взаимопонимания. Традиционные враги стремятся договориться, чтобы строить свое будущее в обстановке мира. Почему же Израиль должен остаться в стороне от этой мировой тенденции? Да, левый лагерь стремится к урегулированию отношений с арабским миром. Это разумно и естественно, но автор статьи видит в этом предательство национальных интересов Израиля.

На самом деле опасность исходит не от левого, якобы предательски настроенного лагеря. Опасность заключается в равновесии сил — правых и левых — которая парализует национальную волю страны. Как преодолеть эту опасность — уже другой вопрос.

«В наше время, — читаем мы дальше, — уже не редкость предательство левых, ненависть их к стране настолько велика, что они переходят на сторону врагов». Тут Р. Райхлин и вовсе ставит себя в смешное положение. Левый лагерь Израиля, в который входят кибуцы и трудовые поселения, всегда был стеной обороны страны. Так что, если наш автор главную опасность для Израиля видит в так называемом предательстве левых, то он может спать спокойно. Защита еврейского государства находится в верных и надежных руках.

В заключение хочу отметить, что рассуждения автора статьи сильно напоминают напевы, которые раздавались в гитлеровской Германии, где так модно было трубить о «ноже в спину немецкой нации». Этим выражением пользовался и сам фюрер. Да простит меня автор: приведя эту ссылку, я не хотел его обидеть. Но что поделаешь: слов из песни не выбросишь. И зачем только Р. Райхлину понадобилось возводить напраслину на Израиль, утверждая, будто его левая вступила на стезю предательства.

"МЕЛКИЙ ЖЕМЧУГ"

"Мелкий жемчуг", новая книга Аллы Кторовой, разнопланова и многотемна. Это литературно-исторический коллаж, где описание пращуров и предков прошиваются картинками жизни современной Москвы, а воспоминания о детстве и юности во время Второй мировой войны идут параллельно с рассуждениями о современной литературе, взглядами автора на нового человека эпохи НТР и т.д.

"Мелкий жемчуг" продается во всех магазинах русской книги США и Европы. В книге 303 страницы, с портретом автора и фотоиллюстрациями. Обложка выполнена Вагричем Бахчаняном. Цена книги — 20 долларов. За пересылку — 7 доллар. Заказы на книгу также принимаются по адресу:

Victoria Sandor,
5838 Edson Lane,
Rockville, MD, 20852
USA

НОВЫЕ КНИГИ ОРІ

Виктор Суворов
АКВАРИУМ

«Каждый знает, какой стране принадлежит самая мощной в мире секретная служба. Конечно Советскому Союзу. И эта служба именуется КГБ. А какой стране принадлежит вторая по величине и мощи тайная служба? На этот вопрос мы отвечаем так же: Советскому Союзу. И эта служба именуется ГРУ» Аквариум — здание ГРУ на жаргоне его сотрудников

366стр.

9.50 ф.ст.

Илья Земцов и Джон Фаррар
ГОРБАЧЕВ:
ЧЕЛОВЕК И СИСТЕМА

Семьдесят лет после Октября

«Исследование личности Горбачева дает нам возможность понять советское общество не только и канун семидесятилетия его революции, но и на многие годы после него. Без ортодоксального коммунизма Горбачев, возможно, обойдется. Вопрос, однако в том — обойдется ли он без тоталитаризма» (из Пролога)

320стр.

9.50 ф.ст.

Жак Росси
СПРАВОЧНИК ПО ГУЛАГУ

Исторический словарь советских пенитенциарных институций и терминов, связанных с принудительным трудом

Предисловие Алена Безансона.

«В литературе о ГУЛаге труд Жака Росси, — читаем в предисловии, — занимает оригинальное место. В сухой и безличной форме приведено больше проверенной и классифицированной информации чем та, которой мы располагали доселе. И тот, кто углубится в эту книгу, ужаснется, будет столь же потрясен, как при чтении искусно написанного повествования»

546стр.

13.50 ф.ст.

Борис Винокур
ТАЙНА КРЕМЛЕВСКИХ СТЕН

Политический детектив, раньше издан с большим успехом в переводе на английский язык

240стр.

9 ф.ст.

Книги можно заказывать в издательстве OPI (Overseas Publications Interchange Ltd. — 8, Queen Anne's Gardens, London W4 1TU, England), в книжном деле A.Neimanis (Bauersfr. 28, D-8000. Munchen 40 West Germany) и во всех русских книжных магазинах.

ОБ АВТОРЕ ЭТОГО ЭССЕ

Имя Ильи Лукина появляется здесь впервые, и я, насколько это сейчас возможно, хочу представить его читателю. Хотя гласность в Советском Союзе и напоминает речку, вышедшую из берегов, опыт нас учит быть осторожными: все весенние наводнения проходят, где надо, возводят дамбы, и наступает момент, когда отчаянного автора, рискнувшего заплывать в недозволенные воды, призывают к ответу.

Илье Лукину, надеемся, это не грозит. В отличие от настоящего автора этой статьи, имя которого мы пока назвать не можем, Илья Лукин просто псевдоним. А реальный автор статьи «Двойной гамбит Андропова» — вполне лояльный советский ученый, широко известный своими публикациями. И пока его коллеги описывают некоторые преступления полувековой давности, он изучает (и как убедится читатель, небезуспешно) преступления современных вершителей судеб России, собирает уникальный материал о фигурах, которых касаться запрещено. Мы много знаем о советской структуре, но ее «человеческие» механизмы остаются загадкой.

Свежая концепция «хода конем» Андропова, построенная на тонком знании деталей, собранных не из книг, пристальное рассмотрение трагедии, которая грозила стране в случае, если бы Андропов не умер, позволяют по-новому взглянуть на события, свидетелями которых мы были совсем недавно и являемся сейчас. Исследование тайных ходов Андропова и его ставленников есть лишь часть солидного исследования Ильи Лукина, публикация которого не за горами.

Ю.Д.

Илья ЛУКИН ДВОЙНОЙ ГАМБИТ АНДРОПОВА

ГАМБИТ — от итал. *dare il gambetto*, дать подножку; название начала шахматной партии, в которой одна из сторон жертвует пешку или фигуру ради получения активной позиции и скорейшей возможности перейти в атаку.

Из словарей.

Россия переживает смутное время.

Впервые за долгие годы оживились надежды на свободу, гласность, демократию. Насколько они обоснованы, покажет жизнь. И хотя уровень нынешней гласности низок, она уже привела к некоторой поляризации сил на советской политической арене. С одной стороны оказалась «левая» интеллигенция, с другой — темные силы реакции, маскирующиеся за обществом «Память», боевиками госбезопасности и милиции, принявшими вид невинного молодежного движения любителей. Перестройка того и гляди обернется перепалкой.

Россия сегодня явно на распутье. Она стоит перед реальной опасностью «правого» переворота.

Словно торопясь показать народу смысл тоталитаризма, левые журналы и даже некоторые газеты публикуют произведения, приоткрывающие закулисные стороны сталинского режима — с его репрессиями, концлагерями, пытками, расстрелами, политическими убийствами. Что ж, уроки истории полезны. Но есть ли смысл обращаться к столь далекому прошлому? Не разумнее ли, не проще ли оглянуться на недавние события? Не на 1929 или 1934, не на 1937 или 1947, а на близкое время — год 1982, когда власть захватили самые черные силы нашего общества? И ведь были встречены с восторгом теми, кто жаждал «твердой руки»... Они и поныне готовы к открытой борьбе. Их шансы на победу куда весомей шансов «прогрессистов».

Вот почему не лишне вспомнить, как на пост Генерального секретаря партии пробрался Ю. Андропов. Прорыв генерала КГБ на высший этаж управления страной — неплохой отрезвляющий урок наивным мечтателям, верящим в перестройку общественной жизни нашего Отечества.

1

Похороны Брежнева и избрание Ю. Андропова Генсеком были обставлены благопристойно. Народная скорбь, очередь прощания с покойным, почетный караул, провоз гроба с покойником на орудийном лафете по «трупопроводу» от Колонного зала до Кремля, салют... Заседание Пленума ЦК, траурные речи, избрание нового Генсека голосованием — все это породило впечатление налаженности и спокойствия.

Андропов тут же начал принимать высоких гостей, съехавшихся на церемонию последних проводов политического деятеля, правившего Россией почти двадцать лет. Вице-президент США Дж. Буш жал Андропову руку, склонив голову в порыве грусти. Все, казалось, шло заведен-

ным порядком, без отступления от кремлевского ритуала, от демократических процедур избрания нового политического деятеля и руководителя страны. Русская пресса за рубежом писала: «Смена Брежнева Андроповым сопровождалась борьбой за власть только на страницах западной печати. В действительности было лишь ограниченное соперничество, а не борьба за власть».

Но так ли это? Что происходило за политической ширмой?

На самом деле Ю. Андропов получил пост Генсека в жестокой схватке. Его приход к власти — явление не только историческое, но и почти уникальное. Напомню: ни Дзержинский, ни его преемники по НКВД и КГБ не сумели добиться высочайшего поста в партии. Известны поползновения Л. Берии и А. Шелепина на власть в ЦК, но они были пресечены. Если же мы обратимся к более ранним временам русской истории, то увидим, что лишь один человек, находившийся примерно в равных с Андроповым условиях, смог добиться русской короны. Я имею в виду Бориса Годунова, возглавлявшего в свое время опричнину. Малюта Скуратов не смел и мечтать о троне Ивана Грозного. Бенкендорф не помышлял о шапке Мономаха. Кстати, Фуше не сумел свалить Наполеона. Правда, в Китае одно время правил Ху Яобань, вышедший из недр китайского КГБ. Но этими несколькими историческими аномалиями и ограничивается ряд высших политических деятелей от госбезопасности.

Сталин намеренно менял своих наркомов внутренних дел, опасаясь их могущества и предваряя возможные дворцовые перевороты. За тридцать лет правления он, видимо, так и не сумел создать блокировочный механизм, который мешал бы «органам» прорваться к власти. Это чуть было не стоило головы Хрущеву. Однако стабильность положения председателя КГБ в 60-70 годах показала, что такой механизм найден. Он исправно действовал до 1982 года. А потом вдруг отказал!

Не грозит ли новый отказ сегодня?

Ответить на этот вопрос можно, лишь обнажив тайные пружины советской политической машины, используя которые Ю. Андропов сумел оттеснить в сторону других претендентов на власть.

Самым наивным было бы объяснить происшедшее личными качествами Ю. Андропова, однако и они немаловажны. О нем известно не так уж много, хотя о карьере его на Западе опубликованы уже монографии. Точно известно одно: он начал свой деловой путь рядовым платным стучаком и прошел до самого финала — главного стучача страны. Что говорит в пользу этого соображения? Еще в 1940 году его направили на работу в недавно завоеванную Карелию, откуда выгнали всех местных жителей, наводнив города и деревни русскими переселенцами. На руководящую работу в Карелии ставили только проверенных «органами» людей. Андропов, очевидно, подошел... Во время войны и оккупации Карелии он не партизанил, а находился в Москве, откуда засылал агентов в тыл вражеских армий. После освобождения Петрозаводска его назначают секретарем горкома партии, откуда он попадает в ЦК. С 1954 года Андропов на дипломатической работе — посол в Венгрии. Широко известна его роль в подавлении тамошнего восстания, его умение плести интриги, благодаря которому венгерские руководители попали в ловушку и были ликвидированы. В 1957 году Андропова переводят в Москву, в центральный аппарат партии, через десять лет назначают председателем КГБ. В 1982 году ему исполнилось 68 лет.

Родился он в Ставропольском крае и, следовательно, был земляком М. Суслова, его куратора от ЦК. Положение Ю. Андропова можно было считать прочным, карьеру — блестящей. Однако, шансов стать Генсеком у него не было.

Что еще можно сказать о личности Андропова?

По Москве ходили слухи, что он занимался английским, играл в теннис, увлекался классической музыкой и кол-

лекционировал антиквариат. Достаточно ли этих данных, чтобы прогнозировать его приход к власти?

2

Зима 1981-1982 годов оказалась для России труднейшей, во многих отношениях переломной, кризисной.

На 1 января 1982 года страной правил Политбюро, четырнадцати членам которого исполнилось — всем вместе — 989 лет, почти половина нашей эры. Средний возраст члена Политбюро составлял 70,6 года. Ю. Андропова в этом синклите стариков можно было считать молодым. Брежневу исполнилось 75 лет, он уже перенес несколько инфарктов и инсульт, у него явно начался маразм личности. Он всегда был чрезмерно чувствителен и сентиментален, к старости сделался слезливым. На похоронах М. Суслова он почти рыдал, предчувствуя, что следующая очередь — его.

Политически задача состояла в том, чтобы умереть пристойно, передав бразды правления в руки своего клана. В него входили А. Кириленко. К. Черненко. В. Щербицкий, Н. Тихонов, Д. Кунаев — называю членов Политбюро, с которыми он дружил, выпивал, проводил досуг, решал главные проблемы. Всех их он привел за собой в Политбюро, отвел им крупные участки политической деятельности, в которые они подбирали кадры своих руководителей. А те — в свою очередь — подчиненных. Дань от подданных поступала по длинной цепочке, которой старались придать максимальную надежность и устойчивость. Главным во всей политической жизни страны сделался принцип стабильности, то есть по возможности непринятие никаких мер, влекущих перемены.

Между тем, страна находилась в отчаянном кризисе. Всюду царил голод, даже в Москве с прилавков магазинов исчезли масло, сыр, мясо, колбаса. Коррупция достигла неслыханных масштабов. Беззаконие стало нормой жизни.

Печать была безгласна. Централизм, пьянство и воровство довели экономику до полного развала. Афганские и польские события подрезали под корень разрядку. Пошел новый виток вооружений, требовавший огромного экономического напряжения, к которому страна была не готова. Хозяйственный кризис сомкнулся с бездеятельностью верхов. Недостатка в решениях и постановлениях не было, они просто не исполнялись.

В этих условиях два ведомства имели основания быть недовольными.

Во-первых — армия. Ее заказы выполнялись крайне медленно и плохо. Общий кризис дезорганизовал промышленность, наметилось резкое отставание в военных разработках научного порядка. Падение курса рубля на внутреннем рынке не позволяло военным жить так, как по их мнению должно жить в развитой стране высшее офицерство. Полковнику ракетных войск невозможно было купить на свою зарплату автомашину... Диспетчер авиавокзала или мясник в магазине — миллионеры, а офицер вынужден был заискивать перед ними.

Недоволен был и КГБ. По роду деятельности его аппарат не связан с контролем над обыденными делами граждан. В его ведении — диссиденты, наиболее крупные дела о коррупции, проходившие с большим трудом и редко, о валютных махинациях, операциях с золотом, драгоценными камнями. С диссидентов много не возьмешь... Министерство же внутренних дел, к примеру, с его огромным аппаратом участковых, инспекторов ГАИ и ОБХСС получало (и до сих пор получает!) огромные дивиденды. Инспектора ОБХСС входят в любой магазин, как к себе домой, там им накроют стол, дадут сумку с продуктами, помогут купить дефицит, а в карман заботливо опустят конверт с деньгами. Данью обложены каждый автовладелец, каждая торговая «точка». КГБ всего этого лишен. Поэтому его аппарат ненавидит милицию, завидует ей и выступает за «порядок в стране».

Именно эти две силы — армия и КГБ — с неизбежностью должны были вести дело к перевороту в стране. В конце концов он наступил. Удивительно другое: он произошел бескровно, почти без насилия, во всяком случае — без стрельбы на улицах, танков и объявления Москвы на осадном положении.

Итак, каким образом произошел переворот? Как сумел Ю. Андропов обойти соперников?

Правда, он был членом Политбюро, но открывало ли это дорогу к вершине партийного аппарата?

Как ни мало расстояние от Лубянки до Старой площади, пройти его нелегко. Можно было, конечно, разогнать ЦК, арестовать Политбюро. Но в глазах всего мира это означало бы незаконный путч. Впрочем, с мировым общественным мнением никто не посчитался бы. Куда важнее тот факт, что переворот в центре еще ничего не означает. Власть на местах принадлежит партийным органам, которые, не задумываясь, разгромили бы местную госбезопасность, пошли бы на столицу и отстаивали бы свои prerogatives.

На моей памяти дни в Москве — сразу после ареста Берии в июне 1953 года, когда в столицу съехались за несколько часов на потрепанных «газиках» и «виллисах», которых в обычные дни в Москву не пускали, на «победах», заляпанных грязью российских проселков, районные партийные работники в кожаных тужурках. Они заняли КГБ силой. У мрачных подъездов Лубянки встали не двухметровые лейтенанты с автоматами — охрана КГБ, а жуковские солдатики, порой — первогодки, не умевшие как следует заправить гимнастерку за пояс.

Нет, действовать надлежало в привычных рамках Устава КПСС, только на «законных» основаниях! Что, впрочем, не исключало закулисных шагов, а наоборот, — предполагало их.

Многие, даже серьезные историки и политики, думают, будто Генсек избирается Пленумом ЦК или самим Политбюро. Это иллюзия. Власть всегда берется, ее добывают с боем. Лишь впоследствии ее освящают решением Пленума ЦК. Каков бы ни был результат его голосования, никто от захваченной власти не откажется. Да если б в Политбюро дошло дело до голосования, то за любую кандидатуру подали бы не более одного голоса — самого кандидата.

Все же и в Политбюро не все его члены имеют равные возможности для захвата власти. Анализ показывает, что в Политбюро существуют несколько кругов, обладающих правами и силой влияния. На вершине стоит Генсек. Его ближайшее окружение — члены Политбюро, являющиеся одновременно и секретарями ЦК. На 1 января 1982 года в этот центральный круг входили: А. Кириленко — секретарь по экономике, К. Черненко — секретарь по оргработе, М. Суслов — секретарь по идеологии, М. Горбачев — секретарь по сельскому хозяйству.

Второй круг составляли руководители крупных ведомств, имеющих ключевое значение: Н. Тихонов — Совет Министров СССР, А. Громыко — МИД, Д. Устинов — оборона, А. Пельше — контроль, Ю. Андропов — КГБ. Третий круг — периферийные члены Политбюро, здесь тогда были первые секретари ЦК Украины и Казахстана — В. Щербицкий и Д. Кунаев, Ленинградского обкома партии — Г. Романов и Москвы — В. Гришин.

Члены Политбюро, принадлежащие второму и третьему кругам, сидят в своих ведомствах или городах и республиках и не имеют прямой возможности перехватить бразды правления, выпавшие из рук Генсека, в первые же минуты безвластия. Сама отдаленность Украины и Казахстана, а также Ленинграда от столицы играет роковую роль: их партийные вожаки не успеют получить доступа к вершине пирамиды власти, как она окажется оккупиро-

ванной другим претендентом. В несколько лучшем положении находится, правда, московский партийный босс, однако после известных событий середины 50-х годов, когда была предпринята неудачная попытка сместить Хрущева и лишь вмешательство московского партаппарата помогло ему устоять на ногах, МГК был отделен от ЦК административно и по подъездам дома на Старой площади. Тем самым пути к вершине власти ему были перекрыты.

Те же соображения относятся к «ведомственным» членам Политбюро. Как бы ни велики были силы армии и КГБ, их руководители не в силах прорваться к вершине власти, не перешагнув аппарата ЦК. В этом кроется одна из сторон блокировочного механизма, препятствующего разного рода путчам и переворотам, связанным с личными амбициями того или иного члена Политбюро. Есть тут и еще одна преграда.

Дело в том, что, хотя прямая дорога к верховной власти открыта лишь членам Политбюро — секретарям ЦК, то есть тем, кто принадлежит к первому кругу властителей, но и среди них есть важные различия.

Вторым секретарем ЦК и вторым лицом в партаппарате был в то время А. Кириленко. По сей день в обкомах, райкомах партии секретарь по промышленности (в сельских райкомах — по сельскому хозяйству) является вторым секретарем. Он замещает первого в случае его отсутствия. Таким образом, формально, по Уставу КПСС, А. Кириленко был преемником Брежнева.

Фактически это было не так. В последние годы Брежнева К. Черненко стал его политической тенью, нередко вещая от имени генсека. Он сумел внушить своему патрону еще в Молдавии, что его преданность беспредельна. Он возглавил канцелярию в Молдавском ЦК, Брежнев привез его в Москву своим помощником. Лишь много позже он стал заведовать отделом оргработы в ЦК партии, а затем продвинулся до должности секретаря ЦК.

К. Черненко не любили и боялись. Все знали, что он ин-

триган, скрывающий за приторно любезной улыбкой мстительные и честолюбивые замыслы. Не любили его еще и потому, что он никогда не бывал на большой и самостоятельной партийной работе, не руководил даже обкомом партии. Последние тридцать лет он был просто лакеем Брежнева.

И все же накануне 1982 года он считался вторым человеком в Политбюро. Брежнев открыто говорил о его заслугах, называл его своим учеником и продолжателем своих дел. Были и другие, косвенные, свидетельства того, что Черненко — второе лицо после Брежнева. Незадолго до смерти Генсека первый секретарь Дагестанского обкома партии подарил Брежневу самовар из чистого золота весом 20 кг. Проведенное впоследствии расследование показало, однако, что в квитанции значилось не 20 кг, а 40. Второй самовар — дубликат первого и тоже из чистого золота был подарен К. Черненко. Именно ему, а не А. Кириленко или М. Суслову!

Теперь о секретаре по сельскому хозяйству — М. Горбачеве. Он считался в тот год еще новичком в ЦК. Лишь недавно он перебрался в Москву после смерти своего предшественника Ф. Кулакова. Горбачев не обладал связями в центральном партаппарате, поэтому его никто всерьез не рассматривал как конкурента в борьбе за власть. (По-видимому, это обстоятельство и побудило К. Черненко назначить его своим преемником — ожидать от него переворота было невозможно.) Но в январе 1982 года многие считали М. Горбачева мальчиком для битья, ведь сельское хозяйство хронически находилось в тяжелейшем положении и кто-то должен был отвечать за его отставание!

И наконец надо сказать о секретаре по идеологии М. Суслове, который формально считался третьим секретарем ЦК. Собственно, по Уставу партии так и положено. На местах до сих пор идеолог — третье лицо в обкоме или райкоме, то есть человек не очень значительный, его

роль нередко поручается женщине, как правило, вчерашнему педагогу. Несмотря на то, что формально М. Суслов занимал третьестепенное положение в иерархии членов Политбюро, на самом деле он — главное действующее лицо на политической арене. Родился он в Ставропольском крае (Андропов и Горбачев — его земляки), был секретарем его крайкома, с 1947 года — секретарь ЦК, с 1966 года — член Политбюро..

М. Суслов — одна из загадочных фигур в брежневском Политбюро. За долгие годы упорного труда он создал себе совершенно особое положение. Дело в том, что, заняв пост идеолога, он как будто не рвался к высшей власти в партии. Почему — остается загадкой! Среди честолюбивых коллег, стремившихся занять кресло Генсека, он принадлежал к партии стабильности. Более того: он был ее основателем, создателем, вдохновителем и организатором. Быть может, потому, что нагляделся на то, как стремительно падают головы в сталинском Политбюро и аппарате ЦК? Бог весть... Во всяком случае, его сила была не меньше, чем могущество Генсека. Видимо, он был закулисным организатором заговора против Хрущева, завершившегося победой Брежнева. Не раз в открытом столкновении он давал отпор и Брежневу. Так было, к примеру, когда сын Суслова написал докладную в Политбюро о беспорядках в науке и Брежнев дал команду отстранить его от руководства научным институтом, который тот возглавлял. Суслов воспрепятствовал этому и победил.

Какие бы мотивы ни руководили М. Сусловым, достоверно лишь одно: он не рвался в Генсеки. Он руководил идеологией, без его санкции не назначался ни один номенклатурный руководитель высшего ранга. Он же курировал КГБ и МВД.

Вторая сторона блокировочного механизма Политбюро, делавшая невозможными путчи, состояла в том, что именно к креслу Суслова сходились все нити власти в стране, когда отсутствовал Генсек. Брежнев пил водку и

коньяк, бабничал, танцевал, пел под гитару, ездил с визитами за рубеж и по стране — Суслов сидел в «лавке» и вершил судьбами страны. Суть блокировки заключалась в том, чтобы по неписаному «партийному праву» главный идеолог не значился преемником Генсека и не мог самовольно влезть на трон. Его задача заключалась в том, чтобы обеспечивать охрану положения своего хозяина от любых посягательств. К тому же, как мы говорили, он и не рвался на место патрона.

Ввиду такой верности и приверженности принципу стабильности М. Сулов завоевал особые прерогативы в Политбюро. К его креслу сходились дубликаты рычагов управления страной. Он был серым кардиналом и держал в руке остальных членов Политбюро. При этом — не проталкиваясь вперед!

В последние годы в механизм политической власти партии был встроены, очевидно, и специальный переключатель, автоматически дававший в тот или иной момент всю полноту власти Сулову. Это вызывалось и военными соображениями. Между Москвой и Вашингтоном проложена прямая связь. Если ракета сбилась с курса или самолет с ядерным оружием ушел со связи, то немедленные прямые переговоры должны предотвратить ответный удар. Кто-то должен всегда находиться у трубки телефона. Таким человеком у Брежнева был М. Сулов. Его кресло считалось магическим, ключевым в Политбюро, вождьленной мечтой партийных боссов. Только оно давало верный выход к посту Генсека. Дорога к вершине власти проходила через суловский кабинет, иного пути не существовало.

Таков был расклад в Политбюро накануне 1982 года.

Основную борьбу за пост Генсека, который должен был вот-вот освободиться, вели между собой две главные фигуры Политбюро: А. Кириленко и К. Черненко. Возможно, третьей фигурой все же стал бы М. Сулов, но ему суждено было умереть раньше. Пока же бились между собой два заклятых врага, два хитрых конкурента.

Ю. Андропов казался фигурой четвертого ранга и не котировался на высший пост в стране. С чего же он начинает свою беспрецедентную борьбу, завершившуюся успехом всего через одиннадцать месяцев?

4

В стране, насквозь прогнившей от коррупции, на какое-то время в центре внимания оказалось взяточничество начальника управления Госцирками Колеватова. Москвичи хорошо помнят это дело! Колеватов брал крупные суммы денег за то, что отправлял артистов на длительные гастроли за рубеж. Это приносило им солидную валюту. Взятки достигали астрономических размеров: Колеватову дарили «мерседесы», золотые кулоны... Часть добытых сумм он передавал некоему Борису по кличке Цыган. Его без памяти любила Галина Брежнева, дочь Генсека и жена первого заместителя министра внутренних дел Ю. Чурбанова. Галина через мужа улаживала проблему виз, и не только, видимо, артистам цирка. Она любила своего Цыгана и липла к нему прямо на улицах, в лифте, на глазах у топтунов и охраны, взашей провожавшей изумленных граждан. Дочка Брежнева превратилась в наркоманку и алкоголичку с расстроенной психикой.

За расследование взялся КГБ. Но когда его ищейки вышли на Галину и Цыгана, дело обрело нежелательный характер. Если сведения о нем стали бы известны широкой публике, то могли бы докатиться и до зарубежной прессы. А материалы следствия были таковы, что открывали жуткую картину всеобщего разложения верхов. Похождения Гришки Распутина и его окружения при дворе Николая II в сравнении с этими оргиями выглядели невинными развлечениями и игрой в фанты. Они бросали тень и на самого Брежнева. Поэтому, извещенный Галиной о вызове ее к следователю КГБ, Генсек распорядился расследование прекратить. Сделано это было, очевидно, не лично, а

через Суслова — куратора КГБ. Тот отвечал перед Политбюро за деятельность своего земляка Ю. Андропова и его машины. Суслов вызвал к себе С. Цвигуна, первого заместителя председателя КГБ, и предложил принять соответствующие меры. Цвигуна выбрали, очевидно потому, что он находился в родственных отношениях с брежневским кланом и, следовательно, должен был стоять на страже его интересов.

С этого часа Цвигун оказался в западне. Суслов требовал от него прекращения следствия, Ю. Андропов настаивал на строгом исполнении закона. Наивно думать, что председатель КГБ преследовал высокие цели наведения порядка, в это же время в КГБ без движения лежали дела о коррупции в Узбекистане и Таджикистане, покрупнее дела Колеватова! Андропов понимал, что в данном случае он получает в руки, быть может, единственный шанс, позволяющий ему шантажировать самого Генсека. И он шел на это.

Для Цвигуна же положение сложилось катастрофическое. Материалы следственного дела лежали у него в сейфе. Но в аппарате КГБ он оказался в полном одиночестве. К нему в кабинет никто более не заходил, он перестал принимать участие в обычных делах комитета. Приезжал на Лубянку, запирался и ничего не делал.

Вскоре наступила депрессия.

В один из январских вечеров 1982 года он, как обычно, поехал на дачу. Вез его телохранитель. Цвигун попросил того показать свой пистолет, подержал его на ладони, словно взвешивая, и сказал, что пистолет очень удобный и легкий. Не уставной. Неожиданно он положил его в карман. Телохранитель удивился, но ничего не сказал. На даче валил снег, и охранник разгребал его широкой деревянной лопатой. Цвигун пошел по дорожке, спросив у охранника, куда она ведет.

— А куда, — ответил тот, — к забору. Я тут расчистил немного, а у забора — сугроб...

— Вот и хорошо, что никуда, — ответил Цвигун и пошел к забору.

Около сугроба он и застрелился.

Впрочем, не исключено, что его просто убили по приказу свыше.

21 января 1982 года в «Правде» появился некролог о смерти С. Цвигуна. Событие, по нашим политическим меркам, не слишком значительное. Мало кто догадывался, что за ним последует.

Смерть Цвигуна позволила Ю. Андропову добраться до его сейфа, дело по обвинению Колеватова извлекается на свет и ему дается — после значительного перерыва! — законный ход. Следствие, несмотря на запрет Суслова, продолжается и весьма активно. Это уже прямое неповиновение всесильному идеологу.

И не только ему. Впервые за долгие годы кто-то — пусть даже сам председатель КГБ — воспротивился Суслову и Брежневу. То был открытый вызов и удар по всей брежневской машине власти, потрясение самых ее основ. Ответственным перед Генсеком за это оказался Суслов, земляк и куратор Андропова.

Теперь уже главный идеолог стоит на распутье. У него было два выхода из западни. Либо начать открытую войну с Андроповым, за которым стояли армия и госбезопасность. Либо примкнуть к Андропову и свергнуть Брежнева. В любом случае главный идеолог должен был перешагнуть через систему, которую создавал многие годы, которая служила безотказно именно в силу принципа стабильности. Блокировочный механизм, отделяющий ЦК от КГБ, начал разваливаться.

Не выдержав потрясений этих дней, Суслов неожиданно умирает. Его смерть последовала не от длительной и затяжной болезни, а, как следовало из медицинского заключения, была скоростижной, вызванной сильным переживанием или волнением. 27 января 1982 года, меньше чем через неделю после гибели Цвигуна, «Правда» пуб-

ликует некролог о смерти Сулова. Идя за гробом своего верного служаки и хранителя, Брежнев чувствует, что его трон зашатался.

Между тем вскоре Андропов наносит ему еще один удар.

Ничтожный, глупый до идиотизма председатель ВЦСПС А. Шibaев давно вызывал возмущение в стране. Профсоюзы окончательно развалились, став придатком хозяйственного механизма. Шibaев понастроил себе дворцы и дачи с бассейнами, отделанными мрамором, с бункерами и лифтами, брал взятки в валюте и золоте. Однако он пользовался доверием Брежнева, поскольку не переходил каких-то определенных границ и, возможно, платил верхам свой налог. Весной 1982 года Ю. Андропову представился удобный случай расправиться с Шibaевым. Тот не выполнил указания Генсека, поручившего ему во время официального визита на Кубу встретиться с представителями АФТ-КПП и наладить минимальные контакты. Кому-то из ближайшего окружения Шibaев проболтался, что он не пожелал вести переговоры с «прислужниками империалистов». Разумеется, это высказывание тут же стало известно Андропову.

И вот, накануне Пленума ВЦСПС и за несколько дней до съезда профсоюзов, во Дворец труда на Ленинском проспекте столицы на двух бронированных черных «членовозах» (так называют машины членов Политбюро) въезжали Ю. Андропов и секретарь ЦК В. Долгих (он, как видно, всегда выполняет в Политбюро функции «последней инстанции» — палача или снимателя с должности). Их сопровождали охранники. В тот же момент — режиссер оценил бы эту великолепную слаженность! — шibaевский ЗИЛ выехал со двора в гараж. Домой бывший председатель ВЦСПС вернулся на черной дежурной «Волге».

Удивительно, но Брежнев проглотил пилюлю. А ведь именно он награждал Шibaева высшими орденами страны, одобрял выдвижение в Верховный Совет СССР, на пост председателя ВЦСПС! Все же Шibaев не был его личным

другом и не на нем зиждилось могущество брежневского клана.

Между тем Ю. Андропов в те дни все еще не выступает на передний план схватки в верхах. Он лишь «борец за законность и порядок». В Политбюро между собой по-прежнему соперничают А. Кириленко и К. Черненко. Брежнев понимает, что эти два заклятых врага уже стары, для них смерть Сулова — быть может, последний шанс пробиться на вершину власти. Каждый из них стремится поднять бразды правления, выпавшие из рук главного идеолога.

Первый шаг совершает Черненко. Самовольно, без решения Политбюро и официального назначения, хотя и пользуясь попустительством престарелого Брежнева, он начинает приходить в суловский кабинет, как в свой собственный. Он вызывает к себе главных редакторов газет и журналов, наставляет их, дает санкции от имени главного идеолога на назначение и смещение руководителей.

Все это не устраивает Кириленко, который чувствует, что власть ускользает у него из-под носа. Надо сбить противника с завоеванных позиций. Но как? Требуется интрига, ход, которые показали бы Брежневу, что этот тихий канцелярист, грибоедовский Молчалин, лакей и дворецкий не так уж безобиден, как кажется. Кириленко ищет союзника, чьими руками он мог бы повернуть это дельце. Но союзник нужен сильный и хитрый.

С этими мыслями он приходит к Андропову, к этому новоявленному колебателю тронов. Кириленко, разумеется, не мог не знать о деле Колеватова, Цыгана и Галины Брежневой, о «борьбе за законность» председателя КГБ, и поддержал его в этой борьбе. Понимал он, очевидно, какого джина выпускает из бутылки, но шел на риск, надеясь, видимо, опередить Андропова и первым выйти на финишную прямую, ведущую к креслу Генсека. В этот момент для него важно было одно: устранить конкуренцию Черненко за суловское кресло.

Так возник временный союз Ю. Андропова и А. Кири-

ленко. Действовали они согласованно: Андропов — через КГБ, Кириленко — в Политбюро. Какой же ход избрали союзники? В руках председателя КГБ находится мощная машина распространения слухов — специальный отдел. Его задача состоит в том, чтобы не только собирать сплетни, но и распускать их, изучая реакцию общественного мнения страны на то или иное возможное событие. К помощи этого отдела они решили и прибегнуть.

К тому же сложились благоприятные условия. 25 марта 1982 года Генсек вернулся из поездки в Ташкент на носилках. Выступая на тамошнем авиазаводе имени Чкалова, он неосмотрительно собрал чересчур большую аудиторию. Всех рабочих согнали в один цех, они сидели и стояли повсюду. Многим пришлось залезть на строительные леса, в здании шла реконструкция. Леса вдруг затрещали и стали падать. Телохранитель действовал строго по инструкции: он сбил с ног охраняемого и навалился на него, прикрыв телом от возможного покушения на жизнь. Телохранитель встал, Генсека унесли.

Почти месяц пролежал он в тяжелом состоянии в Москве. В то время ходил такой анекдот. Брежнев говорит: «По Москве ходят слухи, что я умер, а вместо меня по городу возят чучело. Это неправда! Я жив, а вместо чучела возят меня...» Но что удивительно: по Москве действительно ходили слухи о смерти Брежнева и о том, что его место занял Черненко. Пущенные из КГБ, они доводятся до ушей зарубежных корреспондентов в Москве, муссируются заграничными агентствами, передаются по «Голосу Америки». Комментарии зарубежной прессы были однозначны: «Очевидно, слухи исходят из кругов Политбюро с тем, чтобы побудить престарелого Брежнева подать в отставку». В сообщениях отмечалось, что сведения распространяются работниками КГБ, что весьма странно при их обычной молчаливости.

Странность, впрочем, вполне объяснима: то был слух, пущенный по указанию Ю. Андропова и по согласию с Ки-

риленко. Совершенно очевидно, что эти намеки должны были попасть в обзор зарубежной прессы, который кладется на стол каждого члена Политбюро. Разумеется, его просматривает и Генсек. Видимо, в те дни он не читал сам этот обзор, но уж этот абзац ему должны были заботливо подчеркнуть красным карандашом или прочесть вслух члены его клана.

Уйти в отставку!? Ничего глупее и нелепее нельзя было выдумать. Это означало бы лишить весь клан, ближайшее окружение Генсека доходов, которыми они кормились. Брежнев не смел и помышлять об отставке, никто не возволил бы ему снять мундир с бесчисленными орденами и надеть пижаму пенсионера. Почести и лесть были наградой за то, чтобы он не уходил со своего поста хоть до ста лет. Но Брежнев и его окружение сразу смекнули, что им подсказывает КГБ. Во-первых, Черненко нежелателен для «органов» в качестве куратора от ЦК и секретаря по идеологии. Во-вторых, Черненко метит в Генсеки и не так уж предан Брежневу, как тот думает. Тень способна возмутиться против хозяина и выпихнуть его в дом престарелых. При этом брежневский клан не будет особенно возражать, так как в этом варианте пострадает наименьшее число его членов, приверженцев и ставленников. Слух был звончком Брежневу: поберегись тени!

И Генсек хорошо понял намек: Черненко тотчас вернули на свое место. Это тем легче было сделать, что никакого решения на этот счет не принималось. Кириленко активно поддержал Брежнева, другие члены Политбюро промолчали, выжидая, чем кончится борьба между Черненко и Кириленко. Промолчали все, кроме Андропова, который в этот критический момент усиливает меру своего риска и подымает планку выше. Он понимает, что вышел теперь на прямую с самим Брежневым, между ними уже никто не стоит: ни Цвигун, ни Сулов. Блокировочный механизм устранен с его дороги, и он наносит удар Брежневу в самое сердце: сажает в психушку Галину Брежневу, арестовы-

вает Цыгана. И снова информация как бы случайно просачивается в зарубежную прессу, дело обретает огласку.

Теперь уже Брежнев попал в капкан, Андропов мог требовать у него любую цену за жизнь его дочери, за сокрытие сведений о коррупции и разложении всего клана. Впрочем, цена уже определилась — кресло Суслова. И она была оплачена.

Заметим, что решительные действия Ю. Андропова понравились армии, он встал на защиту «законности и порядка», проявив неслыханную твердость. Впервые вокруг его имени появляется ореол «сильного человека». В дальнейшем Ю. Андропов старался поддержать свою репутацию борца за право дело. Никто, однако, не подумал о том, что коррупция расплодилось именно в то время, когда он был председателем КГБ и обязан был бороться с ней. То есть по его прямой вине. Что как только он получил в распоряжение сусловский кабинет, так дело Колеватова тихо свернули, Галину Брежневу выпустили из психушки, а о Цыгане пустили слух, что он якобы скончался в тюремной больнице от операции аппендицита.

Переводом Ю. Андропова на место главного идеолога были довольны все члены Политбюро, за исключением, разумеется, Черненко. Прежде всего был рад сам Генсек: Галина на свободе, дело закрыто, клану никто более не угрожает. Ю. Андропов, исполняя сусловские функции, перешел из стана врагов на роль охранника кресла Генсека. Он удален из КГБ, куда поставлен новый председатель — Федорчук, бывший председатель КГБ Украины, следовательно, человек Щербицкого.

Доволен решением и Кириленко — Черненко поставили на место, он потерял возможность сесть в сусловское кресло и обратиться к власти. Правда, теперь Андропов мог претендовать на высший пост в стране, но ему надо еще укрепиться в ЦК, на это уйдет немало времени.

Особенно доволен Д. Устинов — сталинский нарком! Армия и КГБ в восторге: к власти пришел человек, кото-

рый ничего не боится, ни перед кем не пасует и готовый чуть ли не пожертвовать собой во имя порядка и законности. Для Андропова эта поддержка была очень кстати. Его гамбит удался.

Итак, в мае 1982 года Ю. Андропов закончил первый этап своей борьбы за власть. Он получил сусловское кресло и приступил к перегруппировке сил на политической арене страны.

Единственный штрих, непроизвольно прорвавшийся на похоронах Брежнева, напомнил давнюю историю с Цыганом: когда Ю. Андропов, в знак скорби по покойному Генсеку приблизился к семье Брежневых, чтобы поцеловать бедную Викторину и ее дочь в склоненные лбы, Галина резко отдернула голову от губ своего палача. Это все, что она могла себе позволить.

5

Тут же, буквально через несколько дней после нового назначения, Ю. Андропов начинает вторую часть своего гамбита.

Расстановка сил в Политбюро уже иная. На вершине по-прежнему Брежнев, который после всего случившегося впал в глубокий маразм. Ю. Андропов теперь в центре первого круга Политбюро и отвечает за стабильность режима. По-прежнему у власти Кириленко и Черненко, между которыми продолжается грызня, каждый из них претендует на наследство Брежнева.

Ю. Андропов понимает: для него политическая задача состоит в том, чтобы укрепиться в должности, завоевать на свою сторону армию, не терять связи со своим бывшим ведомством, выдвинуть новых людей в Политбюро, сохранить над головой нимб борца за законность и справедливость. В этом духе он и действует. Прежде всего он убирает с политической арены наиболее одиозную и скомпрометировавшую себя фигуру брежневского режима,

олицетворяющую для обывателя коррупцию и произвол.

Не прошло и двух с половиной месяцев, как Ю. Андропов снимает с поста крупнейшего в стране мафиози: первого секретаря Краснодарского крайкома партии С. Медунова. Тут уже пострадал близкий друг, которого Брежнев не раз обнимал перед телекамерой, с кем целовался и который составлял его личную опору в партаппарате. Не исключено, что Медунов делился с брежневским кланом частью награбленного в курортном крае богатства. А оно было, видимо, одним из самых крупных в стране.

О ближайшем подручном Медунова — Воронкове было известно, что тот, будучи председателем горсовета Сочи, брал крупные взятки и накопил несметные сокровища, оценивавшиеся в миллионы рублей. Его деятельность не укрывалась от КГБ, он был арестован и посажен. Нити взятки тянулись к Медунову и выше. Первый секретарь крайкома заботился о Воронкове, который жил в лагере в отдельном домике, пил и ел по-прежнему, ожидая близкого освобождения.

Прокуратура СССР и КГБ решили арестовать второго секретаря крайкома, замешанного в эти аферы. Представители высоких следственных органов прибыли в Краснодар, имея на руках ордер на арест, подписанный самим Генеральным прокурором СССР. Но прежде, чем арестовать секретаря крайкома, по неписаному партийному праву надо, было вывести его из членов бюро крайкома. Медунов не принял представителей КГБ и прокуратуры СССР и отказался созвать бюро, доложив обо всем Брежневу. Дело заглохло.

Тогда Андропов предпринял хитрый тактический ход. Второго секретаря крайкома повысили в должности — назначили заместителем министра машиностроения легкой и пищевой промышленности. Он укатил в Москву за назначением, и его без помех арестовали.

В июле 1982 года пришел черед самого Медунова. Брежнев и Черненко находились на отдыхе в Крыму. Ю. Андропов вел очередное заседание Политбюро, где с отчет-

том об «успехах» мелиорации и рисосеяния в Краснодарском крае выступал Медунов. Факт заурядный, ничем ему не грозивший. Медунов приехал в Москву, не подозревая подвоха. Но из здания ЦК он вышел уже не секретарем крайкома.

В тот же день из Краснодарского края сбежали в неизвестных направлениях около полутора тысяч ответственных работников разного ранга — от секретаря Новороссийского горкома партии до директоров пансионатов, санаториев, домов отдыха, ресторанов. В Хосте председатель горсовета засунул себе в уши провода и включил ток, предпочитая смерть на самодельном электрическом стуле допросам в подвалах Лубянки.

И снова Брежнев промолчал! Хотя и чувствовал, что отставка Медунова выбивает у него из-под ног политический фундамент. Почему не вступился за друга? А ведь имел реальную возможность, вернувшись с отдыха, переиграть решение Политбюро. Но уступил! Кому? Только ли Андропову, КГБ и прокуратуре? Видимо, и эта акция понравилась армейским кругам.

Затем Андропов принимается за остатки разгромленных им ранее российских диссидентов. Арестовали последних приверженцев СМОТ в Москве и Киеве, провели тысячи новых обысков, забрали около сотни ротапринтщиков, печатавших самиздат, посадили в тюрьмы почти всех, кто поднимал свой голос в защиту прав человека. По стране в очередной раз прокатилась волна самоубийств среди интеллигенции. Чтобы как-то оправдать репрессии, КГБ распускал слухи о якобы готовящейся агрессии Китая и США против СССР.

И снова армия была довольна: все работало на нее, доказывая пользу сильной власти. Никто не заметил, однако, что акции «по наведению порядка» на какой-то краткий миг истории совпали с карьерными интересами Ю. Андропова! К осени 1982 года он был готов к продолжению своей политической игры: силы перегруппированы, авторитет завоеван. Первый этап гамбита ввел его в централь-

ный круг Политбюро, второй — должен был поставить на вершину пирамиды власти в стране.

А между тем расстановка сил в Политбюро оставалась прежней: Генсек, за ним — Кириленко и Черненко. Андропов был четвертым. Главная борьба развертывается в этот момент между вторым и третьим.

Чувствуя себя обойденным, вперед активно рвется Черненко. Ведь случись давно ожидаемое — смерть Генсека, и его кресло займет второй секретарь ЦК Кириленко. Как его устранить с дороги? Трудно побудить престарелого Брежнева к столь решительным действиям. Да и не в традициях клана топить кого-то из своих членов... Снять Кириленко можно, лишь опорочив его, вызвав всеобщее к нему презрение, недоброжелательность. Требовалась интрига, провокация! Сам ее связать Черненко не мог. И он идет на поклон к Андропову.

Вчерашние враги объединяются.

Неизвестно, кому в голову пришла идея отправить сына Кириленко в «побег за границу». Неизвестно так же, как была конкретно выполнена эта акция. Методов давления на человека много, в органах госбезопасности на этот счет есть профессионалы! И вот немолодому уже человеку, генералу по чину, кладут в портфель валюту и сажают в самолет, летящий в Англию. В чем суть интриги? Не может быть вторым секретарем партии человек, чей сын пытался убежать из Отечества!

Под этим предлогом 8 сентября 1982 года Кириленко выводят из состава Политбюро. Теперь, как мы видим, Андропов и Черненко ставят подножку общему своему противнику в борьбе за власть. Гамбит продолжается!.. Проанализируем расстановку сил в Политбюро на октябрь 1982 года. Генсек непоколебим. Место второго секретаря ЦК пустует — никто не успел еще занять это кресло, что свидетельствует о напряженных действиях конкурентов, не получивших пока преимуществ в Политбюро. Брежневский клан еще очень силен, и, дойди дело до свободного волеизъявления, Черненко получил бы в Политбюро большин-

ство голосов. Теперь Андропов и Черненко противостоят друг другу, между ними не осталось ни посредников, ни третьих лиц. Иных соперников за кресло Генсека не существует.

Между тем события развертываются скоропалительно.

6

В конце сентября 1982 года Брежнев едет на торжества в Баку, где Г. Алиев устраивает ему пышный прием. Брежневу дарят роскошное кольцо (едва ли такой бриллиант имел российский император), вручают кинжал, ножны и рукоять которого осыпаны алмазами. Генсека зацеловывают, обнимают и спаивают... Но все это слишком рискованно для престарелого Брежнева, он еле дышит.

Нервотрепка последнего года: сильные потери клана, явное наступление новых людей в ЦК, уголовное дело Галины, смерть Суслова и Цвигуна, снятие Кириленко — все это не могло не волновать престарелого партийного монарха, впавшего в старческое слабоумие. 7 ноября он еще сидит на трибуне мавзолея и тихо машет рукой демонстрантам, а 10-го утром, в 8 часов 30 минут, умирает.

Наступил «час пик» политических надежд Черненко и Андропова. У каждого из них был, по-видимому, свой план захвата власти, рассчитанный на получение информации о смерти Брежнева сразу же, в первые минуты безвластия.

По заведенному еще Сусловым порядку известие о временном отсутствии, болезни или смерти Генсека должно быть немедленно и в первую очередь передано главному идеологу и никому более. Он распоряжается войсками охраны Кремля и на его обязанности лежит законная передача дел новому Генсеку. Если, конечно, он не захочет воспользоваться полученной властью сам. Значит, информация о смерти Брежнева непременно и в первую голову должна была попасть к Андропову и никому другому. Разумеется, Андропов первым узнал, что с Генсеком неладно, и прибыл в Кремль, не дожидаясь сообщения о его смерти,

то есть заранее. Черненко опоздал!

В то же утро авиаотряд номер 235 правительственных самолетов поднялся по тревоге в воздух и отправился за членами Политбюро на периферию. Когда этот синклит стариков собрался, решать было нечего — власть находилась в руках Андропова. Теперь ее можно было отобрать разве что силой. С оружием в руках. Все решала армия.

Единственный человек, который по роду своей деятельности обязан знать, что творится в стране, и, разумеется, знал, — министр обороны. Он располагает собственной разведкой. Главное разведывательное управление Министерства обороны не подчинено КГБ, хотя тесно с ним переплетено и не уступает ему по силе и размаху. Д. Устинов верно оценил ситуацию и принял сторону Андропова. Кроме того, его личные симпатии — министра сталинского кабинета — всегда лежали на стороне «сильной власти». По его распоряжению грузовики с автоматчиками заняли подходы к Кремлю, все переулочки центра столицы были наводнены мотопехотой. Они простояли там более суток, обеспечив силой андроповский переворот. То были не войска Министерства внутренних дел, то есть Щелокова, а армейские соединения Д. Устинова.

Заседание Политбюро продолжалось не более 10 минут. Открыл его Андропов и предоставил слово Черненко. Тот предложил избрать Генсеком Н. Тихонова, понимая, разумеется, что это ход приличия, и ожидая аллаверды Тихонова. Тот не замедлил откликнуться и предложил, в свою очередь, избрать Генсеком Черненко, ученика и продолжателя дела Брежнева. Обмен улыбками и любезностями прервал Д. Устинов, заявивший, что власть принадлежит Андропову, и военные поддерживают его кандидатуру на высший пост в партии. Спорить было бессмысленно: здание охранялось войсками КГБ и армии. Д. Устинову не возразили.

Но вопрос не был решен окончательно! Ведь не Политбюро утверждает нового Генсека, по Уставу партии он избирается Пленумом ЦК. На нем можно было еще побо-

роться! И если бы голоса разделились, то Андропову пришлось бы арестовать часть членов Пленума ЦК, провести голосование вторично, а может быть, и созвать внеочередной съезд партии, который избрал бы более сговорчивый и послушный ему ЦК. В любом случае это пахло политическим скандалом, который мог бы испортить андроповскую репутацию борца за законность. Черненко не оставалось ничего иного, как рассчитывать на такой поворот событий.

Андропов понимал это и принял меры.

Пленум ЦК собирался необычными методами. Решено было открыть его 12 ноября в 11 часов утра. Приезжающие и прилетающие делегаты проходили в зал и в нем ждали открытия заседания. Это сбивало с толку периферийных руководителей партаппарата: они не имели возможности снестись со своими кураторами в ЦК и не знали «расклада» Политбюро. К 11 часам кворума не было, люди прибывали ежеминутно. Важно было не дать им придти в себя, заставить голосовать врасплох. Заседание открылось в 14.00 и закончилось через 15 минут. Председательствовал Андропов, который предоставил слово Черненко.

Кто не знает неписаного партийного права, тот не поймет остроумия хода. Черненко не мог выдвинуть себя в Генсеки. Однако, он мог предложить кого-то другого из брежневского клана, скажем, Тихонова. В этом случае Андропов как председатель предоставил бы слово Устинову или Алиеву, которые назвали бы его кандидатуру. Голоса могли разделиться. Но в этом варианте, то есть Тихонов против Андропова, мог победить, не применяя жестких мер, последний. Важно было не противопоставить себе Черненко, так как все в партии знали, что Брежнев именно его, а не Тихонова или Щербицкого, метил в свои наследники.

Черненко понимал, чем он рискует — и без особой надежды на успех. Он не захотел затевать опасной игры. На трибуне он назвал Андропова как лучшего кандидата на пост Генсека. Пленум послушно проголосовал «за»: ведь сам

Черненко предложил его на пост Генерального, значит Андропов дал гарантии, что брежневский клан и большинство ЦК не пострадает.

Так с пути Андропова был устранен последний конкурент в борьбе за власть.

Гамбит был окончен.

7

Испуг по поводу прихода на высший пост в стране недавнего председателя КГБ был так силен, что на следующий же день в московских магазинах появился сыр, через неделю — сливочное масло и колбаса. Торговцы трусили не на шутку. И правильно сделали!

В стране начался очередной виток террора, новая мафия преследовала старую, разоблачая ее и делая вид, что она не заинтересована в сверхприбылях. Федорчука перебрали в МВД, где был создан аппарат заместителей по политической части, пришедших из КГБ. Госбезопасности были переданы новые категории уголовных дел, особенно связанных с хищениями, что резко увеличило доходы чекистов. Щелоков немедленно распрощался со своим постом и чином. Позже самоубийством покончила его жена и он сам.

Чего же достигла страна за месяцы правления Андропова?

Новый Генсек верил только в административную власть, он принялся доводить до блеска сталинскую систему устрашения и порядка. Экономической программы у него не было никакой. В парикмахерских, банях, магазинах устраивали облавы, и у задержанных требовали ответа: почему они днем находятся здесь, а не на рабочем месте? В это время юристы поговаривали о введении усиленных мер ответственности за прогул или опоздание на работу. Андропов снизил цены на водку — «андроповка» стоила 4 рубля 70 копеек, то было последнее снижение цен на алкогольные напитки.

Что же еще произошло при Андропове? Сбили южнокорейский «Боинг» с пассажирами, ушли с переговоров о разоружении. Все это работало на сильную власть сильного человека, повышало престиж армии и КГБ. Их власть резко увеличилась. В Политбюро впервые оказалось три генерала КГБ — Андропов, Шеварднадзе и Алиев. В Москву перевели из Ленинграда и назначили секретарем по экономике одного из самых воинствующих мракобесов — Г. Романова.

15 месяцев Андропов пробыл у власти, но так и не смирился с тем, что главным идеологом страны оказался Черненко. В декабре 1983 года состоялся Пленум ЦК, ждали, появится ли на нем Андропов. Все знали, что он смертельно болен. Открыто говорили, что если Генсек выйдет в президиум Пленума, то это будет последний день Черненко в Политбюро. Если не выйдет, то Черненко станет Генсеком. Как известно, Андропов на Пленуме не появился, произошла лишь встреча с его речью...

А теперь вернемся к тому, с чего начали: чему учит нас двойной гамбит Андропова? Какой исторический урок заключается в нем?

Страной правят три главные силы: партия, КГБ и армия. Их интересы — всегда во главе угла нашей общей российской избы. Положение М. Горбачева неустойчиво и ненадежно потому, что он — впервые за все годы существования режима — пытается ослабить их влияние. Не его курс на гласность страшен сегодня партийной номенклатуре, армии и КГБ, а политика дестабилизации партаппарата, снижение расходов на вооружение и госбезопасность. Впервые эти три державы внутри державы приравнивают к остальным ведомствам, не считаясь с тем, что от них зависит само существование режима. КГБ, армия и партийная номенклатура не допустят, чтобы их прерогативы были отвергнуты. А средства для приведения в «чувство» или физического устранения либерального Генсека всегда отыщутся...

В этом смысл политического урока, преподанного нам двойным гамбитом Андропова.

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ «ПОКИНУТОЙ РОССИИ»

В 1975 году в Израиле маленьким тиражом вышла моя книга «Покинутая Россия», удостоенная второй премии Иерусалимского университета.

С тех пор я получил много писем от Университетов, книготорговых фирм и просто читателей с просьбой переиздать книгу, которая много лет назад была раскуплена и исчезла с книжного рынка. Сейчас подготовлено второе издание этой вещи, которая будет опубликована под заголовком «Покинутая Россия. Журналист в закрытом обществе». Книга выйдет в новой редакции, с предисловием Ефима Эткинда и послесловием автора.

В этом номере читателям предлагается несколько глав из этой книги, рассказывающих о том, как в пятидесятые годы формировалось мировоззрение автора, будущего советского журналиста и многолетнего сотрудника советских центральных газет, о его школьных и институтских годах, о жизни Московского Юридического института, о последних и, может быть, самых мрачных годах сталинизма.

Виктор Перельман



Виктор ПЕРЕЛЬМАН

МОСКОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ

Главы из книги

ВЕСНА В БЫКОВЕ

Летом 1944 года мы с матерью вернулись в Москву, и я снова стал ходить в 170-ю школу в Петровском переулке. В мае сорок пятого кончилась война, а в июле мне исполнилось шестнадцать лет.

Время писать о прекраснейшей поре жизни, но вот вопрос: какими на нее глядеть глазами? Какими словами говорить о жизни, в которую некогда был влюблен со всей пылкостью души и на которой сегодня, как это ни странно, вынужден поставить крест.

Павлов подразделял людей на «мыслителей» и «художников». Мне кажется, моя собственная личность — лучшее доказательство условности этого деления. Было время, когда я мог жить мечтой, и душа, как у юного Жана

Кристофа, способна была ослепить разум. Но шли годы, и под натиском другой уже жизни, той самой, о которой пишу эту книгу, художник стал сдавать позиции безжалостному рационалисту. Бессмыслен вопрос, кому отдать предпочтение. Не научившись мечтать, человек не способен научиться думать.

Будучи уже старым и тяжело больным человеком, отец продал нашу быковскую дачу. Перешла она к ловкому и небезденежному хозяйственнику, который по-своему распорядился домом и нашим чудесным запущенным участком. Ситуация почти та же, что и в чеховском «Вишневом саде», да только я, в отличие от чеховских героев, не испытывал ни малейшей грусти, расставаясь с Быковым. Слишком многое изменилось с того первого послевоенного лета сорок пятого года, когда, вернувшись из эвакуации, я снова очутился на своей даче.

Что именно изменилось, вот так просто и не скажешь. Был я в гостях у давних быковских приятелей, шел по голым, облысевшим просекам, где не осталось и кустика малины — одни сорняки да плевел вдоль дорожных обочин. Без конца меня обгоняли машины, обдавая клубами пыли. За оградами гремели транзисторы, и от царящей вокруг суеты веяло не чарующими прелестями Подмосковья, а лишь усталой пресыщенностью. И было бесконечно грустно оттого, что никогда уже в мою жизнь не вернется то первое послевоенное лето. Нынче плевел, да пресыщенность, а тогда хлебные карточки и голод. Голод не только по хлебу — по жизни, которая столь надолго была прервана войной.

Первый, кого я увидел, был довоенный мой приятель Борька Бурмистров. Мыкался он, как и я, с матерью в эвакуации — точно не помню где: то ли на Урале, то ли в Ташкенте — и, как и я, по-видимому, почувствовал — все мы тогда почувствовали! — что жизнь не такая уж плохая штука. Кроме голода, ненависти и грязи было в ней кое-что, ради чего стоило жить.

Мне казалось, что даже природа в ту весну просыпалась с каким-то особенным благоуханием, как и полагалось ей проснуться после долгой и тягостной спячки войны. Мы мчались на велосипедах по просекам и невольно прислушивались к редким голосам, доносившимся из-за оград. Однажды на углу Вялковской и Комсомольской услышали патефон. Звуки доносились из маленькой шестигранной беседки, обвитой зеленым плющом. Мы поставили у забора велосипеды. Бурмистров улыбнулся и выразительно вскинул вверх указательный палец: мол, что бы это могло значить. Мы припали лбами к штакетнику и, набравшись храбрости, отворили калитку.

Через минуту очутились в беседке. Под ритмы модной в то лето песенки английского солдата «Прощай, и друга не забудь...» две девочки в туфельках на высоких каблуках танцевали фокстрот. Мне казалось, что до войны я видел их и даже играли мы на Вялковской улице в штандр. Затем появились их подружки. Одну я знал наверняка и даже помнил имя — Рита. У нее были крупные губы и дивные бархатные глаза. «Еврейка!» — подумал я про себя. Девочки стали учить нас с Бурмистровым танцевать. Рита, нежно взяв меня за руки, вела за собой, а я, напыжившись, точно выполнял титаническую работу, бездарно шаркал по дощатому полу башмаками и улыбался все той же счастливой улыбкой.

В то лето знакомились молниеносно. Даже в воздухе было нечто такое, что как магнитом притягивало нас друг к другу, мальчиков и девочек, повзрослевших за годы войны. Танцуя, мы стеснялись приблизиться друг к другу, в чем-то мы были страшно несовременны, но в чем-то отчаянно смелы. Правда, за эту смелость иным пришлось дорого поплатиться, но это произошло позже, когда среди первых послевоенных всходов появились полынь да плевел.

Сейчас уже не припомнить, как я попал на дачу Крыловых, очутившись в компании двух очаровательных сест-

ричек Эли и Нели, с которыми стал приятелем на многие годы. И сейчас перед глазами их уютная зеленая дачка с застекленной верандой, с гостеприимной, и всегда улыбающейся нам мамой, и двумя синеглазыми девочками-близнецами, настолько одинаковыми, что я долго не мог научиться различать, которая из них Неля, а которая Эля. Обе излучали нежность и обаяние, у обеих были пышные золотые волосы и даже грассировали одинаково — не то чтобы не выговаривали букву «р», а произносили ее мягко, с какой-то особой нежностью.

Я пишу о них столь восторженно, ничуть не боясь отступить от правды. Хочу представить их такими, какими видел, передать ту обстановку немого обожания, которая царилла в те летние вечера на участке Крыловых. И тех, кто сюда приходил, я тоже великолепно помню — и по именам, и по фамилиям. Насколько сильным было потрясение, связанное с этой дачей, что ничего невозможно упустить.

Эля и Неля — наши обожаемые лауры — с газовыми шальками на плечах сидели в старинных плетеных качалках (даже качалки, казалось, из сказок), а у их ног расположились их верные рыцари Жарков и Сендах и читали стихи.

Трудно было представить более разных людей. Жарков — большеголовый, светлолицый русак, настолько живой и веселый, что пребывать в спокойствии для него вообще было невозможно. Его дамой сердца была Неля. Он сидел обычно у ее ног, обняв собственные колени, и, раскачивая старинную качалку, читал Маяковского и Асеева. Иногда вдруг запевал какие-то невероятные частушки. И без конца смеялся, вскинув вверх голову. Смех у Жаркова был неподражаемый. Он взрывался, падая на спину, и, раскачиваясь как ванька-встанька, хохотал весь — грудью, животом и даже подскакивающими вверх ногами.

Сендах, кажется, вообще не умел смеяться. У него были вьющиеся волосы и большие, с мрачным блеском глаза. Он читал, лежа на спине, подложив под голову тонкие длин-

ные руки и уставившись в вечернее быковское небо. Читал он свои стихи, Пастернака, Ахматову...

Я помню его горящие, устремленные к небу глаза и его мрачный торжественный голос: «Все расхищено, предано, продано, все голодной тоской изголодано...»

Дамой его сердца тоже была Неля. Когда он заканчивал чтение, она восторженно хлопала в ладоши, а он приподнимался и целовал ей руку. Мне казалось, что Сендах недолюбливает Жаркова, а Неля любила их обоих, правда, за разное. Она говорила:

— Жаркова люблю за смех, а Сендаху — за стихи.

Был еще в этой компании Алик Генкин. Как и я, он был представителем младшего поколения салона. И, наверное, поэтому мы не подпускались к качалкам королев. Мы сидели обычно в стороне и слушали, о чем вещали рыцари. Впрочем, Генкину иногда все-таки предоставлялось слово. Генкин был прирожденный математик. Когда он говорил, то глубокомысленно прикладывал палец к виску и непрестанно ссылался на Декарта и Эйнштейна.

Речь его была обычно очень заумна, особенно когда он обрушивался в своих гневных филиппиках против рифм и размеров, утверждая, что ямб и хорей с точки зрения математической логики — нонсенс, и он не желает тратить время на доказательство этого очевидного положения, и вообще завтрашний день принадлежит математикам, способным оперировать не побрякушками слов, а возведенными в абсолют абстракциями.

Предметом поклонения Генкина была Эля. Во время его «откровений» она непонимающе хлопала глазами. Зато Сендах, не отрывая от земли головы, без тени улыбки на лице говорил:

— Так их, Генкин, чистоплюев, так их!

Неля, напротив, вдруг начинала защищать Генкина. Она говорила, что его точка зрения тоже имеет право на жизнь. Но всех прерывал Жарков. Своим тонким тенорком он

вдруг запевал: «Кабы были все, как вы, ротозеи, чтоб осталось от Москвы, от Расеи...»

Иногда к Крыловым заходил друг Генкина Летинский — коротко остриженный великан с большим лбом и большими навывкате глазами. Летинский учился в студии Еврейского театра и где-то еще подрабатывал. Позже, когда студию закрыли, целыми днями без копейки в кармане пропадал у Генкина на даче. В гостях у Крыловых почти всегда молчал, но однажды под общим нажимом прочел что-то Шолома-Алейхема и с тех пор уже довольно часто выступал со своим репертуаром.

В этой компании я был моложе всех и, по обыкновению, помалкивал. Я просто-напросто терялся в таком окружении и, хотя мне было страшно досадно, что рядом с этими прекрасными людьми выгляжу таким темным и неотесанным, меня охватывало в те летние вечера чувство безотчетной радости.

Конечно, в жизни мне не очень повезло — за мое еврейство меня унижали, пинали из стороны в сторону, едва не превратили в нациста, но теперь этому, слава Богу, конец.

Я лежал, растянувшись на траве, и слушал Сендаха. Где-то на заборе мяукал крыловский котенок. На небе горела Большая Медведица. И мне казалось, что я открываю для себя новую жизнь, рядом с которой ничтожным и диким было все, чем я жил в Томске. Это ничтожное и дикое никогда не вернется снова, и в моей будущей жизни, прекрасной и светлой, как эта ночь, не будет бомбежек, не будет ненависти и унижений, не будет русских и жидов, а будет такая любовь между всеми, какая царила между людьми на даче сестричек Крыловых.

Мог ли я предвидеть, что, спустя несколько лет, именно на этой поэтической даче, именно в этой прекрасной компании разорвется такой силы бомба, которая заставит меня иными глазами взглянуть на многое, о чем я думал в эти летние вечера.

Но, повторяю, это произойдет позже, когда в России уже не будет таких весен, какую пережил я в мае 45 года, и сама Россия не будет уже такой гордой и счастливой, какой вышла из войны, да и наше выросшее из войны поколение, последнее поколение романтиков, кое в чем уже утратит невинность мнения.

НАШ НЕЗАБВЕННЫЙ ОРС

Возраст измеряется годами. Зрелость — пережитыми событиями, но в общем все зависит от человека. Сколько выпало на долю сталинских узников, но среди реабилитированных я встречал глубоких стариков с инфантильным сознанием шестнадцатилетних. Возвращаясь после долгих лет каторги, они писали в газеты благодарные письма за то, что им была предоставлена возможность прожить такую прекрасную жизнь. В газетах их называли вечно молодыми борцами за коммунизм.

Мне не пришлось изведать тюрьмы, но в 1947 году я уже во многом был не тот, что в 45-м, а в 52-м — не тот, что в 47-м. В жизни у меня была лакмусовая бумажка, помогавшая мне лучше узнавать себя и других. Таким индикатором становились мои старые знакомые — одни и те же люди, но встреченные в разные годы жизни. Я стоял со своим бывшим одноклассником или сослуживцем на улице и, глядя на его изменившееся лицо, задавал себе тривиальнейший вопрос: а насколько изменился и постарел я сам? Но в нарушение всякой логики получал ответ из совершенно другой области, каким он и я были в юности.

Кто знает, возможно, во время таких встреч как раз и замыкались в моих полушариях клеммы между первой и второй сигнальными системами и «мыслитель» своим рациональным умом переоценивал ценности, добытые эмоциями «художника».

Кручу ленту памяти и сетую, что временами стопорится она. Мелькают одни и те же лица и события. Но нет, просто мозг, как опытный рентгенолог, делает на ленте не один,

а два, три и более снимков, чтобы, совместив их, помочь мне лучше понять прошлое.

Однажды шли мы с приятелем мимо здания Министерства иностранных дел, и в ту минуту, когда поравнялись с главным подъездом, возле него остановилась черная «Волга». Из нее не спеша вышел высокий, хорошо сложенный человек в дипломатической форме (годы едва тронули его атлетическую фигуру). Я узнал своего однокашника по 170-й школе Игоря Паленыха. Кивнул ему, но он, погруженный в дела службы, не заметил меня. В связи с чем приятель не упустил случая сострить: «Имеет инструкцию с иностранцами не здороваться».

Я уже не первый раз встречаю Паленыха. Жизнь словно специально подчеркивает, как разошлись наши пути-дороги после окончания школы. Последний раз мы, правда, виделись давно, в году 52-м или 53-м. В то время я уже окончил институт, но, не получив работы, с невероятным трудом устроился бухгалтером-ревизором в областном управлении полиграфии.

В мои обязанности входило ездить по области и проверять, не допускают ли районные газеты отклонений в расходовании средств, отпускаемых областью. Так вот, вернувшись однажды чертовски усталым из района, я встретил Паленыха у ворот Сандуновских бань. Он выходил из бань высшего разряда и страшно обрадовался, увидев меня:

— Откуда, старина, да еще в таком затрапезном виде?

— Из Уваровки, — ответил я, — не приходилось бывать?

— Честно, не приходилось, — добродушно улыбался Паленых. — Я, между прочим, тоже только с дороги. Два месяца торчал в Лиссабоне, надоело зверски. Пойду-ка, думаю, в русскую баньку, попарюсь с веничком...

Он говорил обычные вещи, был очень доброжелателен, но я почувствовал, какая между нами пропасть. И оттого, что это был наш Игорь Паленых, почти член нашего ОРСа, — пропасть казалась еще больше.

Мы условились встретиться всем ОРСом в ближайшие дни, но, когда через неделю я позвонил Паленыху, приятный женский голос сообщил, что Игорь утром улетел в Рим. Встреча с Паленыхом все же свою роль сыграла. В тот же день я обзвонил членов ОРСа, и в воскресенье вчетвером — я, Натансон, Леви и Мара — сидели в кафе «Националы» и, вспоминая минувшее, мечтали о будущем. Все они были тогда выпускниками МВТУ и со дня на день ждали распределения.

Кажется, мы тогда поклялись видеться чаще, единодушно признав, что это чистой воды свинство — жить по соседству и годами не встречаться. Но клятвы так и остались клятвами, а жизнь разметала всех в разные стороны. И вот теперь, когда я увидел у входа в Министерство иностранных дел Паленыха, то решил снова, как 20 лет назад, обзвонить членов ОРСа. Все оказались в Москве, живы-здоровы, но услышал я в трубке голоса усталых, обремененных жизнью людей: да, хорошо бы, конечно, свидеться, но когда? У Мары второй месяц хворает жена. Леви на днях должен отправлять ребенка в лагерь. Бездетный Натансон — единственный, с кем время от времени я встречался, — и тот слег с холециститом и собирался в Ессентуки.

Я положил трубку и вспомнил почему-то прогнозы нашей литераторши Лидии Герасимовны на выпускном школьном вечере. Она подняла тост за будущее ОРСа*, впервые назвав нас нашей классной кличкой. Она предрекала нам блистательное будущее. У нее была мания — всегда говорить полунамеками, и оттого, что она несчетное число раз вспомнила Эйнштейна и Нильса Бора, нетрудно было догадаться, каким станет наше завтра. Да и мы сами верили в наше завтра. И уж конечно не думали, что наступит время, когда не то что места под солнцем — не найдем даже вечера, чтобы собраться и выпить по рюмке коньяку.

* В голодные годы войны ОРС (т.е. отдел рабочего снабжения) считался на любом предприятии самым теплым и сытым местом.

Итак, нас было четверо. Марк Шамран, которого с легкой руки Натансона звали просто Марой. Лева Эткин, которого неизвестно почему с первого же дня звали Леви. Затем были Натансон и я, которых никак не звали. И был еще спортивный, с отличной осанкой и множеством красных угрей на лице Паленых.

Папа Паленыха занимал пост заместителя председателя Моссовета, а сам он явно симпатизировал нашей компании. Его можно было бы даже назвать нашим попутчиком, если бы нас связывала хоть какая-то программа. Но никакой программы не было, а была лишь сразу приставшая к нам классная кличка ОРС.

Эту кличку мы придумали себе сами. Кто-то, кажется, Мара, во время сбора металлолома или другого мероприятия, какие в то время устраивали постоянно, умудрился от этого мероприятия увильнуть и при этом победно воскликнул:

— Я в ОРСе, а вы!?

Так пошло с того дня по классу: «Я — в ОРСе, а вы!» Странно, что от подобной нелепицы мог приклеиться к нам этот «ОРС» на многие годы.

Правда, тот же Мара, когда мы сидели в «Национале», пытался подвести под нее идеологическую основу. Изрядно выпив, он вдруг вздумал устроить анкетный опрос присутствующих:

— Ваше как фамилие? Перельман, а ваше — Натансон, а ваше — Леви, если не ошибаюсь, Эткин. А я, если позволите, Шамран. Вот и получается, что мы все в ОРСе. Паленых в Риме, а инженера Шамрана в Челябинскую область посылают... — Экстраполяция была явно непропорциональной — событиями 53 года неверно было объяснять происходившее в 45-м.

Когда в сентябре 44 года я очутился в восьмом классе «Б» 170-й школы, то на время вообще забыл, что я еврей, а если вспоминал, то, скорее, с затаенной гордостью. К ОРСу в классе относились в высшей степени уважительно. Если

он что-то решал, то это же решали все, если создавал о ком-то мнение, то оно становилось мнением всех. Это было негласное и добровольно признаваемое лидерство, которое могло по десять раз на день вышучиваться, но даже в самых едких шутках по поводу непревзойденного умения ОРСа всегда устроиться, не было и грана антисемитизма. Все это Натансон и пытался втолковать пьяному Маре, но тот упорно гнул свое:

— Ваше имя и отчество как — Виктор Иванович Натансон? Вы, кажется, русский? И вы, Лев Борисович, русский, у вас мама русская — и вообще все мы очень разные люди...

Произнося эту речь за ресторанным столиком, Шамран, разумеется не мог предполагать, что буквально через несколько дней «русский» Натансон и «русский» Эткин получат такое назначение, после которого, вероятно, уже до конца жизни не смогут подняться на ноги. Но в одном Мара был безусловно прав — мы были, действительно, очень разные люди.

Витя Натансон за полгода до прихода в 170-ю школу вернулся из Соединенных Штатов Америки, где его мама работала в советском павильоне на Международной выставке в Нью-Йорке. Среди нас он был воплощением деловитости. Все, о чем бы ни заходила речь, пропускал сквозь призму здравого смысла, играл в теннис и говорил сухим надтреснутым голосом. В биографии его было одно белое пятно. Натансон была фамилия его матери, и, когда его спрашивали об отце, он обычно сердито отрезал:

— Отца нет и прошу вопросы на эту тему не задавать.

Леви был педант, математик и редкий аккуратист. Василий Васильевич (он же «Васька»), наш математик, называл его Левушка и прочил ему будущее Ландау.

Шамран был завзятый театрал, лучше всех танцевал. Единственный из класса дружил с девушкой, по имени Юля, из соседней 635-й школы. Шамран обожал своего престарелого папу-корректора и вообще был не в меру сен-

тиментален, за что его сосед по парте Натансон и заклеил не вполне мужским именем Мара.

Все это, однако, не мешало ОРСу дружить и в полном составе ходить на занятия кружка бальных танцев. Танцевали па-де-патинер, па-де-грас, тарантеллу, мазурку, а в конце занятий, как бы на десерт, — фокстрот и танго. Вел кружок шестидесятилетний и прямой, как струнка, балетмейстер Шиттик, который добился разрешения девочкам и мальчикам заниматься вместе, что сообщало занятиям определенный ритуал и очарование.

Начинались они обычно в восемь, но ОРС встречался в половине восьмого. За мной заходил Натансон, живший в Козицком переулке. Одет он был в отличный английский костюм. И не успевали мы выйти из дому, как он извлекал из кармана брюк пачку «Северной Пальмиры». За ней он еще днем специально заходил на Центральный рынок (в киосках такие папиросы достать было невозможно). И, почувствовав себя уже настоящими мужчинами, мы закуривали.

Леви и Мара обычно ждали нас на углу Петровского переулка. Леви — в шляпе, Мара — вообще с непокрытой головой, откинув назад свои пышные волнистые волосы, и оба в предвкушении приятного вечера с красивыми и таинственными девочками из 635-й школы.

Натансон танцевал с серьезнейшим выражением лица, боком и слегка приподняв одно плечо — словно линкор, рассекающий волны. Мара был король танца. Он шел легко, чуть откинув свою пышноволосую голову, и, встречаясь с Натансоном, не упускал случая сострить:

— Вита, пифагоровы штаны на все стороны равны.

Все это происходило при дамах, и Натансон бросал на Шамрана зверский взгляд:

— Цыц, Мара!

Шиттик кричал:

— Стоп! — и сердито хлопал в ладоши: — Друзья, что за переговоры в танце! Танцы — это занятие королей, а не петухов...

И снова хлопок:

— Раз, два, три, раз, два, три...

И занятия продолжались. И мы, важные, как тамбовские гусаки, шествовали за Шиттиком по залу, держа своих дам за кончики пальцев, и в гусарских ритмах мазурки весело прыгали на зеркальном школьном паркете и учились делать паблеансе, которые Шиттик называл альфой и омегой современного танца. О, это были незабываемые мгновения! О них может вспоминать, но их не способен пережить вновь сорокатрехлетний человек.

Мы встречались взглядами с нашими, такими же, как мы, возбужденными королевами и открывали для себя новые стороны жизни, которых нас безжалостно лишила война.

Если нашим «официальным» попутчиком был Игорь Паленых, то была у нас и подпольная еврейская тень — троюродный брат Леви по папиной линии, Зяма, известный в ОРСе по довольно странному прозвищу «Малый».

Паленых жил по соседству с Натансоном на улице Горького. Он боготворил Натансона, провожал его до дому после школы и, как оруженосец, ни на шаг не отходил от него на школьных вечерах. Паленых был хорошим общительным парнем, но, имея папу заместителя председателя Моссовета, он плохо вписывался в нашу орсовскую компанию.

С «Малым» нас свела его богатейшая коллекция пластинок Лещенко и Вертинского, неизвестно когда и где приобретенная его папой, коммерческим директором какой-то трикотажной артели. Сам «Малый» появился в ОРСе неожиданно, когда мы уже учились в девятом классе. Был он наших лет, но из-за войны отстал. Когда мы перешли в девятый, он все еще сидел в седьмом классе. Говорил он с сильным еврейским акцентом, картавил, не выговаривал ни «р», ни «л», был некрасив, пучеглаз, с огромным, как паяльник, носом, за который его и окрестили «Малый с паяльником».

В ОРСе паяльник для удобства пользования решили опу-

стить и звали его просто «Малый».

Была у «Малого» слабость — к месту и не к месту поднимать еврейский вопрос. Он никогда не упускал случая заявить, что он стопроцентный «ид» и их, то есть «гоим», презирает всей душой. В ОРСе еврейский вопрос не дебатировался. На Зямыны разглагольствования смотрели как на местечковые штучки, и, если он позволял себе заходить слишком далеко, Натансон зло обрывал его: «Малый, заткнись, в морду получишь!»

Вообще жизнь ОРСа была полна парадоксов. В субботний или воскресный вечер странно было видеть Натансона расхаживающим по захлавленной Зяминой комнате в Столешниковом переулке и энергично насвистывающим в такт бешено играющей лещенковской пластинке: «Моя Марусечка, моя ты куколка, моя Марусечка, моя ты душечка...» Следом за Лещенко заводил свою пластинку «Малый».

— Такой певец и в Хумынии вынужден пхозябать. Очень он им нужен гоим, он нам, идн, нужен, это да!

Затем распахивалось настезь окно, чтобы концерт слышал весь Столешников.

— Ох, «Малый», не умрешь ты своей смертью, — первый не выдерживал Леви.

— Не умху? Это еще посмотрим, кто не умхет, а кто умхет. Что они мне сделают? Посадят? Хохошо, пусть сажают...

— Цыц, идиот! — рычал Натансон. — Дай послушать!

«Малый» смолкал, но вскоре начинал опять. Настоящий отпор его сионистским вылазкам был дан мамой Натансона, старой партийкой и ответственным работником СОВМИНа.

По какой-то причине музыкальный вечер устраивали на этот раз не у «Малого», а у Натансона, в Козицком. «Малый», как всегда, расфилософствовался, и до слуха Елизаветы Михайловны Натансон донесли его откровения по еврейскому вопросу. Елизавета Михайловна уже давно не одобряла ни наших музыкальных пристрастий, ни дружбы ее сына

с «Малым». И теперь, когда услышала из своей комнаты его рассуждения по еврейскому вопросу, чаша ее терпения переполнилась.

«Малого» она тогда напугала страшно. Я и сейчас не могу без улыбки вспомнить эту сцену. Стоит маленькая и пунцовая от возмущения мама Натансона и, размахивая указательным пальцем перед Зямыным паяльником, взывает к его гражданской совести:

— Как вам, Зяма, не стыдно? Что значит «мы» и «они». Я — сама еврейка по национальности, но горжусь, что выросла среди великого русского народа.

— Я тоже, между пхочим, гохжусь, почему нет, — миролюбиво пожимал плечами «Малый», — но я же имею пхаво любить свой евхейский наход.

— Бросьте, — уже побагровев от гнева, продолжала мама Натансона. — Пока есть партия и советская власть, еврейский народ ни в чьей защите не нуждается, завтра же позвоню вашему отцу и выясню, откуда у вас эти настроения.

Прошло 27 лет, а кажется, что это все было в прошлом веке. Давно я потерял из виду «Малого», но, как ни странно, время от времени вижусь с мамой Вити Натансона. Когда я захожу к нему, то нет-нет, да и переброшусь парой слов с семидесятипятилетней Елизаветой Михайловной. Она персональная пенсионерка, но, как пишут о таких в газетах, все еще сохраняет бодрость духа и живой интерес к жизни. Подле нее часто можно увидеть плечистого седого бодрячка — это Иван Арсеньевич, отец Натансона, объявившийся на горизонте после двадцати лет заключения.

Амнистированный и восстановленный во всех правах, он не отказывает себе в удовольствии выпить чашку чая с предметом своей юношеской любви, а она — принять у себя дома человека, которого более тридцати лет не желала знать, и даже в знак этого нежелания новорожденного сына своего назвала не Виктор Иванович, а Виктор Елизаветич.

Меня Елизавета Михайловна всякий раз, когда встречает, забрасывает вопросами, что слышно на белом свете. Начинает обычно с главного:

— Ну, Виктор, как там дела с нашим братом? Прижимают? Не знаю, что бы сказал Владимир Ильич, если бы он вышел из Мавзолея...

Признаться, я и сам не возьму в толк, что бы сказал Владимир Ильич, зато представляю, как бы торжествовал «Малый», если бы хоть краем уха услышал разговор мамы Натансона.

ЗАВЕРЯЕМ ТОВАРИЦА СТАЛИНА

Время — удивительнейшая штука. Старого, умудренного жизнью человека оно способно представить наивным и неумным простачком, а безусого, дурашливого юнца едва ли не мудрецом, глядящим сквозь десятилетия. Впрочем, возможно, дело и не во времени, а в нашей жизни. Она заставляет людей переживать такие метаморфозы, в которые они сами, отжив свой век, не в состоянии поверить.

Как далека была от меня философия «Малого»! Конечно, в детстве я изрядно настрадался от своего еврейства, но причем же тут рассуждения о «гоим» и «идн» и почему я должен говорить, что я «ид», и ненавидеть русских, если вся моя жизнь связана с Россией?

Год назад кончилась война, в которой моя страна одержала величайшую победу. В памяти неувядаемо жил День победы с ликующими людьми и тысячекзалпными салютами. Ну а то, что в этот день Сталин пил за великий русский народ, то, очевидно, так и нужно. Ведь это действительно великий народ. Русских в стране больше ста миллионов, а евреев сколько? Я не знал, сколько именно, но был уверен, что ничтожно мало. Постыдной и уничижительной кажется мне сегодня эта философия. Но я обязан ее излагать такой, какой она жила во мне тогда, в транскрипции 45 года, принесшего России не только сладость победы, но и горь-

кие запахи шовинистического угара. Чем он обернется для евреев, я еще буду писать. Пока лишь хочу засвидетельствовать, что в те послевоенные годы мы, то есть я, Натансон, Шамран, Леви, тысячи таких, как мы, верили в свое будущее и связывали свою веру с Россией.

В десятом классе я писал сочинение на вольную тему: «Мой друг, отчизне посвятим...» Эту же тему избрал почти весь ОРС. Исключением был лишь педант Леви. Его характер, признающий лишь точные измерения, сказался и здесь. Он предпочел «Художественные особенности драматургии Горького».

Вскоре было объявлено, что лучшие сочинения в районе написал ОРС, а лучшее из лучших — наш орсовский романтик и донжуан Мара Шамран. Всего в нашем 10 «Б» было 17 пятерок, и почти все за сочинения на вольную тему.

Наша преподавательница Лидия Герасимовна Бронштейн чувствовала себя именинницей.

Всего второй год, как в школах ввели экзамены на аттестат зрелости. Лучшим вручали золотые и серебряные медали, дающие право поступать в институт без экзаменов, а на пути к медали, как непреступная скала, стояла пятерка по сочинению. И когда впервые в 8 «Б» появилась похожая на вороненка взлохмаченная сухоньякая личность с красными воспаленными глазами и объявила, что будет у нас вести русскую литературу, то наши крикливые «Моллюски», два классных недоростка Орлов и Матузович, не выдержали и квакнули в воздух: «Иди ты!»

Не знали «Моллюски», да и никто из нас не думал, что эта малорослая и похожая на непричесанного подростка Лидия Герасимовна станет властительницей наших дум, ибо от нее, от ее благословенной пятерки, будут зависеть наши медали, открывающие дорогу в любой вуз. Нет, она была не Державиным, а, скорее, нашим Жозефом Фуше. Фуше в юбке, она поддерживала отношения едва ли не с каждым из преподавателей, корректируя при надобности их оценки и воздействуя на них в случае необходимости через ди-

ректора школы Панаско. Она интриговала и вступала в беспринципные компромиссы с математиком Василием Васильевичем и историком Сергеем Михайловичем. Тайными нитями была связана с руководителем РОНО*, от которых в канун экзаменов на аттестат зрелости пыталась выудить — и выудила-таки! — хранившиеся в страшной тайне темы сочинений. Она была до ужаса косноязычна, но необыкновенно целеустремленна. В 10 классе без конца устраивала контрольные сочинения, не зная устали натаскивала нас, отдавая все свои симпатии ОРСу.

В класс Лидия Герасимовна входила молча, держа под мышкой стопку наших тетрадей и загадочно улыбаясь:

— Натансон, от вас я ждала большего. Всегда столько мыслей, а сегодня? Тему развить не сумели, просто странно... Вот Шамран, приятно читать. Молодец, Шамран, очень хорошо! Если бы Шамран на аттестат так написал...

— Так что же вы мне поставили, Лидия Герасимовна? — не выдерживал Мара.

— Что поставила? Четверку с минусом. И то, между нами говоря, зависила. Как вам нравится, он не знает, как слово «объездчик» пишется. Стыд! Позор!

Снова молчание, и снова загадочная улыбка.

— А у Эткина? У Эткина не скажу что. Написано грамотно, толково, план хороший. Эткиным, кстати, и Василий Васильевич доволен. Между нами говоря, директор мне вчера прямо сказал: Эткин с Натансоном на медали идут. А вы, Перельман, троечку по алгебре схватили, молодец, нечего сказать!

По-своему готовился к экзаменам на аттестат и наш Васька. Он был полной противоположностью Лидии Герасимовны. Длинный, тощий, прыгающий в свои семьдесят два года через три ступеньки. Он экспансивно влетал в класс и начинал:

— Ну-с, милорды, на чем мы остановились в прошлый раз?

* Районный отдел народного образования.

В отличие от литераторши, у него все было окружено ореолом тайны, даже отметки он ставил не в журнал, а в свой собственный кондуит. Он носил его во внутреннем кармане пиджака и для большей конспирации обозначал отметки по-английски: five, four, three, two...

В ОРСе он более всех любил Леви, звал его Левушкой и каждый раз ставил ему «five».

Были среди милордов и такие, которые неизменно получали у Васьки колы. Лидировал среди них наш классный актер Серж Апостолов. Он был страшный позер, и когда Васька вызывал его к доске, то выходил он, откинув назад свою кудрявую лысеющую голову и кокетливо двигая узкими плечами. У доски, играя мелом, нес такую ахиною, что Васька довольно скоро не выдерживал и, выхватив из кармана кондуит, восклицал:

— О владыка живота моего, нельзя же быть такой бестолочью.

С той же гордо поднятой головой Серж возвращался на место. На перемене он говорил, что математика — не его ампула, он создан для театра и искусства. Особенно не любил Апостолова историк Сергей Михайлович. Серж был не только позер и пустомеля, но и непревзойденный в классе лентяй. И старый прожженный циник Сергей Михайлович видеп его насквозь. Вызывая Сержа к доске, он начинал не с урока, а с хронологии.

— Скажи мне, Апостолов, когда была Куликовская битва?

— По-моему, в 1483 году...

— «По-моему» не годится, история — точнее математики. Битва под Калкой?

— Точно не помню...

— Перечисли десять сталинских ударов.

— Сталин разработал...

— У товарища Сталина есть имя и отчество.

— Как правильно говорит Иосиф Виссарионович Сталин...

— Товарищ Сталин всегда правильно говорит и в твоих комплиментах не нуждается.

— Ну, тогда уж не знаю.

— Вот и я вижу, что не знаешь, садись, два!

Кроме Сержа, зубрили все. Когда начались экзамены, я, как и весь ОРС, перешел на осадное положение и по количеству кофе, выпитого в те дни, кажется, мог состязаться с Оноре де Бальзаком.

Помимо кофе употребляли еще феномин, чтобы после бессонных ночей сохранять ясность ума. Это было всеобщее подогреваемое самое школой сумасшествие. Не спали не только ученики, но и педагоги. И без того щупленькая — одни кости да кожа — Лидия Герасимовна от треволнений превратилась в тень, но своего все же добилась — семнадцать ее пятерок обернулись семнадцатью медалями. В числе медалистов был весь наш ОРС.

После экзаменов я свалился с острым сердечным приступом, но был счастлив сознанием, что отныне держу в своих руках звездный билет.

В последние годы мне почему-то дважды снилась наша школа и учителя — Лидия Герасимовна, Васька, давно уже отошедшие в мир иной. Причем являлись они в самом неприглядном виде — беспринципными циниками, плутами, только и требующими свои фэйфы (почему-то все ставили отметки по-английски), но с юности не внушившими никому из нас ничего святого и прекрасного.

Однажды к нам в школу приехал сам Сталин. Обошел классы и в конце поднялся к нам в 10 «Б». Прищурился взгляд, он спросил:

— А что, в этом классе евреи есть?

И директор, пожирая вождя восторженными глазами, доложил:

— Никак нет, Иосиф Виссарионович, ни одного.

Но в эту самую минуту Сталин вдруг увидел за партией Лидию Герасимовну и, поманив ее пальцем, сказал:

— Я знаю, что в этом классе еще много евреев, но они

себя правильно ведут и поэтому отныне будут считаться русскими...

Сон, как и всякий сон, довольно глупый и причудливый, навел меня на мысль, которая, если и имеет, то очень косвенное отношение к моим воспоминаниям.

В 47 году в стране уже процветал великодержавный шовинизм. Многоопытные отцы и матери, подобно маме Натансон, предусмотрительно записывали своих детей русскими, а в Петровском переулке, в центре Москвы, стояла школа, где явочным порядком отменили национальности — и едва ли не всей ее жизнью негласно правила бескорыстная фанатичка Бронштейн. Среди выпускников лидировала не юная поросль великого русского народа, а четверка еврейских ребят с вызывающе еврейскими фамилиями и к тому же присвоившая себе полуеврейскую кличку ОРС.

Лет пять спустя оказался я по случаю в Петровском переулке и решил заглянуть в родные пенаты. Хоть бы одно знакомое лицо — ни одного! В вестибюле висит доска с оттиснутыми на ней серебром фамилиями медалистов разных лет. Красуется на ней и ОРС в полном составе. Но чем дальше от 47 года, тем меньше еврейских фамилий, а в 52-м и вовсе одна только. Чудно это было видеть, как скудели на способных детей евреи, проживавшие в районе Петровского переулка.

Я спросил дежурившую в раздевалке техничку про Лидию Герасимовну. Она долго мучилась, никак не могла вспомнить, пока ее вдруг не осенило:

— Постой, постой, это такая евреечка настырная, все нечесаная ходила. Как же, уволили, их теперь всех увольняют, а эту и вовсе, стара стала.

На выпускном вечере Лидия Герасимовна произнесла прочувствованную речь — ту самую, в которой впервые назвала нас ОРСом и без конца вспоминала Эйнштейна и Бора. В заключение она сказала то, что обычно говорят в таких случаях, а именно, что с завтрашнего утра нас ждет другая, взрослая жизнь.

Она хотела добавить еще что-то, но потеряла нить и, достав из сумочки платок, вдруг стала тереть свои большие вороньи глаза. На том и кончила, не подозревая, насколько была точна, определив время, с которого взрослая жизнь взяла нас в оборот.

Наутро, после выпускного вечера ОРС в полном составе вызвали в райком комсомола и сказали, что нам, как самым талантливым, поручается ответственнейшее дело — подготовить обращение выпускников столицы к товарищу Сталину. Оно должно быть прочитано на общегородском собрании выпускников.

Нас инструктировала секретарь райкома, мощная полногрудая девица с хорошо поставленным звонким голосом. Она сказала:

— Письмо должно быть неподкупно искренним. Пишите о том, как хотите жить и кем себя видите в будущем. Вы кем хотите быть? — улыбнулась она Натансону.

— Ракетостроителем.

— А вы? — спросила она Леви.

— Тоже.

— А я, — не выдержала Мара, — тепловозником, в смысле конструктором тепловозов...

Текст мы подготовили за один вечер. Писали у меня. Не помню всего, что в нем было, но когда коснулись будущего, то именно так и написали, как советовала секретарь райкома: «Мы, завтрашние строители ракет и тепловозов, юристы и политические деятели», — добавил я. И за Сержа тоже написали: «...актеры и работники искусств», — добавил Мара. Все мы клялись великому вождю, что будем не покладая рук трудиться на благо Родины. Только в одном месте разгорелся спор. Я сказал, что надо коснуться дружбы народов и перечислить хотя бы основные национальности выпускников: русские, украинцы, белорусы, евреи, грузины, армяне, татары и т.д.

— Насчет евреев, контора — напрасный труд, — кисло протянул Натансон.

— Это почему же? — возмутился я.

— Почему? Потому что кончается на «у».

Но я все-таки настоял, чтобы евреев оставить, и, когда разошлись, еще два часа корпел над «Обращением». Дописал о партии, о нашей вере в комсомол и еще о чем-то в том же духе.

Текст в райком комсомола относил тоже я. И до последней минуты ждал оттуда звонка — ведь письмо кто-то должен читать. Шутка ли! — Сталин может услышать. И в зале Чайковского, где устраивали вечер, я первым делом разыскал нашего секретаря райкома и на всякий случай дважды попался ей на глаза. Она была страшно занята и на мое многозначительное «здравствуйте» едва кивнула головой.

Я понял, что в своих мечтаниях явно хватил лишку. Возможно, наше творение вообще выкинули в урну. Но когда открыли вечер, на сцену вышла пухленькая с косой девушка и слово в слово прочитала наш текст. Впрочем, нет, одно слово заменили: вместо «евреев» вставили «татар».

— Татаро-монгольское иго! — дурашливо прыснул сидевший рядом Мара.

— Цыц! — гаркнул Натансон и в антракте, раскрыв передо мной «Северную пальмиру», неизвестно к чему сказал: — А в остальном все точно, заявка ОРСа удовлетворена на сто процентов!

Вскоре выяснилось, что натансоновский оптимизм оказался преждевременным. Несмотря на золотые медали, ни его, ни Леви на факультет ракетостроения не приняли. Не помогло даже то, что оба числились по паспорту русскими. Ну, а дальше? А дальше «будущие ракетостроители» Натансон и Эткин окончили МВТУ, и направили их работать механиками. Одного — в Каширскую, другого — в «царевококшайскую» МТС (название я так и не запомнил). Конструктор тепловозов Шамран трубил пять лет в Челябинске — не то технологом, не то цеховым мастером. Ну а я, будущий Плевако, волей судьбы зацепился на бухгал-

терской ниве. Впрочем, так неаккуратно обошлись не со всеми заявками. Наш классный актер Серж Апостолов все-таки закончил с грехом пополам ГИТИС или ВГИК. Затем работал в ЦК профсоюза работников искусств. И еще где-то, и еще. И нигде, говорят, не справлялся. Но, несмотря на это, его никогда не снимали, а лишь передвигали с одной должности на другую. Пока он не оказался в Отделе культуры ЦК КПСС, где и по сей день довольно успешно курирует столичные театры. Говорят, не без его участия закрыли театр Эфроса и сняли с работы Любимова.

Поистине, вещими оказались слова Сержа, что он создан для театра и искусства. Но тогда, в зале Чайковского, никто не мог предвидеть такое развитие событий.

После того, как кончилась торжественная часть, оркестр грянул «Дунайские волны». А я все еще стоял расстроенный, что эта басовитая девица с косой так беспардонно отобрала у меня мое авторство на обращение к товарищу Сталину. Стоял, кажется, недолго. Подошла знакомая из 635 школы и потащила меня танцевать. Гремел оркестр, кружились в вальсе, и вскоре я забыл про свою неприятность. В конце концов, мне было только восемнадцать лет.

БУДУЩИЙ ПЛЕВАКО

Всякий раз, когда меня постигает в жизни неудача, отец и мать не упускают случая вспомнить сорок седьмой год, когда я поступил в Юридический институт. Шел бы в медицинский, с твоими способностями защитил бы диссертацию и плевал бы на все — любят евреев, не любят. Врач всегда врач.

Здорово рассуждая, старики, конечно, правы. Да только многое в моей жизни плохо согласовывалось со здоровым смыслом, хотя за плечами уже сорок три года.

Почему я решил стать юристом? Потому что был уверен, что ампула это мне подходит больше всего. При всей неубедительности такого ответа мне к нему нечего

добавить. Для непрошенных критиков у меня был припасен целый набор аргументов, ну, например, что мне плохо дается математика и что порядочного инженера из меня все равно не получится и что вообще самое интересное в жизни — работать с людьми, хотя, что это означает, я представлял довольно смутно.

Когда в ОРСе, где все, кроме меня, поступили в Бауманский и начинали надо мной иронизировать, я выпаливал обойму исторических примеров: юристами были Ллойд-Джордж, Клемансо, Черчилль, — разумеется, не отдавая себе отчета в том, что, будучи блестящими в споре, мои примеры в практической жизни ничего не значат. Да и думал ли я тогда о практической жизни? Мне было 18 лет, в классе говорили, что у меня отлично подвешен язык. И я решил сдать документы на юрфак Московского университета.

Если бы я обладал здравым смыслом, — все, что произошло дальше, должно было, по крайней мере, меня настроить. А дальше случилось то, что на юрфак меня не приняли, как не прошедшего мандатную комиссию. Вскоре я узнал, что та же участь постигла многих медалистов, имеющих в анкете «пятый пункт», и для каждого был свой аргумент. Что касается меня, то я для Московского университета вообще оказался недостаточно грамотным. На мандатной комиссии, которую возглавлял сам декан факультета, мне сказали: «Как же так, товарищ Перельман, в столичный университет хотите, а русского языка не знаете».

Затем было вслух зачитано мое заявление, где, сообщая свой адрес — название улицы, номер дома и квартиры, — я по рассеянности не поставил между ними двух запятых. Потерпев фиаско на юрфаке МГУ, я вспомнил о другой своей тайной мечте — стать редактором и журналистом и пойти на редакционно-издательский факультет Московского полиграфического института. Там мандатную комиссию представлял в единственном числе профессор Былин-

ский, встретивший меня с такой веселой, солнечной улыбкой, будто только и ждал моего прихода. После чего мы с ним уединились, и с тем же сияющим выражением лица он продиктовал мне диктант. Как я узнал позже, он преподносился далеко не мне одному, и одна из фраз его еще долго как анекдот ходила по Москве:

«На террасе, возле конопляника, тетушка Анфиса Петровна угощала винегретом вперемежку с кашей путевого объездчика Фаддея...»

Взяв у меня листок, Былинский толстенным красным карандашом, который он почему-то держал в кулаке, молниеносно поправил ошибки и, весело блестя очками, вывел дробь: тринадцать седьмых — тринадцать орфографических и семь синтаксических. «Не прошли, мой дорогой, проходная цифра у нас восемь вторых...»

Вот так и оказался я в Московском юридическом институте или просто МЮИ, в котором, слава Богу, вообще не было мандатных комиссий. Где-то наверху было принято решение укрепить судебно-прокурорские органы кадрами с высшим образованием. В институт надо было срочно набрать 480 человек, а заявлений было только 320.

В те же дни я сдал документы на заочное отделение Полиграфического института и стал одновременно студентом двух вузов.

Я прекрасно помню первый день в МЮИ и первую лекцию в малом зале на третьем этаже по Всеобщей истории государства и права. Читал ее доцент Черниловский, очень молоденький, с нежным детским лицом, впоследствии прозванный нами Зиночкой. Черниловский был в роговых очках, с большими залысинами и такого маленького роста, что голова его едва выглядывала из-за кафедры. Он объявил тему лекции — государство и право Ассирии-Вавилонии и законы Хаммураби. И с первой же минуты обрушил на нас весь блеск своей эрудиции, явно стараясь произвести впечатление. Но я почти ничего не слышал. Микрофон не работал, в зале была страшная духота. Из

буфета с первого этажа неслись всякие запахи. И, махнув рукой на законы Хаммураби, я принялся разглядывать окружение.

С самого начала, как переступил я порог института, он ошеломил меня. Оказавшись среди невообразимой суеты и гама, я вначале вообще не мог понять, куда идти. К доске объявлений невозможно было пробиться. По этажам и лестницам двигались потоки студентов. Все что-то обсуждали, о чем-то говорили, чего я в этом содоме даже не пытался уразуметь. Перед глазами мелькали стеклянные дощечки с таинственными названиями кабинетов — уголовного процесса, криминалистики, международного права. Все поражало новизной, все бурлило. И теперь, оказавшись на первой лекции, я, сгорая от любопытства, разглядывал лица своих сокурсников и сокурсниц.

В зале было много фронтовиков, иные с только что отпоротыми лычками и при всех регалиях, много евреев, чему я тотчас дал объяснение: евреи, как умная нация, естественно тяготеют к юстиции (позже выяснилось, что умная нация тут ни при чем, большинство, как и я, потерпело крушение в других вузах). Масса интересных женщин. Я почему-то так и произнес про себя — не «девушек», а «женщин», возможно, потому, что они ничуть не были похожи на девочек из 635 школы. Наконец, много просто необычных интересных лиц, во всяком случае, такими они мне казались.

Я разглядывал зал и сам ловил на себе взгляды. Все были заняты тем же, чем и я, и законы Хаммураби мало кого волновали. То было радостное, ни с чем не сравнимое предчувствие новой студенческой жизни. Я столько о ней слышал, и теперь наконец предстояло начать ее самому.

Лишь раз в жизни я ощущал нечто подобное. Было это в шестьдесят седьмом году, когда на плавбазе «Северодвинск» я уходил в Северную Атлантику. Как и тогда, в институте, на судне, стоявшем на рейде в Мурманске, собрались люди, совершенно непохожие и не знавшие друг

друга. Были среди них врачи, журналисты, студенты. Ошеломленные грандиозностью судна и охваченные сладостным предвкушением жизни, ждущей их в океане, люди дни и ночи, пока не вышли в море, бродили по палубам и салонам с добрыми, бессмысленными лицами лунатиков. Все были какими-то просветленными, готовыми делать друг другу добро. В те дни мне даже казалось, что доброта — не свойство характера, а состояние души человека.

Я не намерен сравнивать свою институтскую жизнь с плаванием — общим были тут разве лишь слепота и прозрение. Оказавшись на Банке Джорджес и глядя на обитателей «Северодвинска» не глазами лунатика, а глазами трезво мыслящего человека, я увижу во многих то, что было скрыто на берегу. И в институте по прошествии времени также наступит похмелье.

Но в те первые дни я, как замороженный, ходил по этажам и жадно читал объявления, появляющиеся буквально каждый день, — о заседаниях кафедр все с теми же таинственными и малопонятными мне названиями, ученого совета, о бесчисленных конференциях и собраниях.

Лекции кончались рано. Стояло бабье лето. На дворе шпарило сентябрьское солнце. Но, почувствовав вожделенную свободу, о которой мечтал в школе, я после занятий совсем не ощущал желаний идти домой и страшно завидовал старшекурсникам, которые могли жить столь бурной, наполненной жизнью, проходившей, как мне казалось, мимо меня.

К тому же я был уверен, что мне явно не повезло с группой, оказавшейся не такой, как другие. Там было много интересных женщин, много моих одногодок, и в первые же дни все успели перезнакомиться и даже на лекциях держались вместе.

У нас в группе в большинстве были фронтовики. Все великовозрастные, почти все не москвичи, а женщин было только две — провинциальная крикуха Китя Клейдман, у

которой подергивался от тика глаз и была странная привычка к месту и не к месту выдавать пушкинские цитаты из школьного учебника, и еще москвичка Борисова. Она всегда и всем улыбалась и ничем, кроме изящной фигурки и крошечного, как канцелярская кнопка, носика, не была примечательна.

Фронтовики держались особняком, на семинарах помалкивали, зато как по команде все являлись на лекции — даже к Софроненко, читавшей историю русского государства и права.

Читая лекции, Софроненко заикалась, окала и никогда не отрывала головы от конспектов. На ее лекциях зал был обычно пуст, но наши «лбы», как я их про себя называл, усаживались со своими тетрадочками на первом ряду и старались не пропустить ни единого слова. Выделялся среди них лишь Семен Каплан. Хотя он и прошел фронт, но был очень молод. И еще был необыкновенный говорун и спорщик. Когда выступал на семинарах, то так увлекался, что в конце обычно забывал все, что доказывал вначале.

Вчерашних десятиклассников в группе было раз два и обчелся. Самым любопытным из них был бородач Кленов, сразу же завоевавший успех у женщин своими крупными восточными глазами и длинными немужскими ресницами. В перерывах Кленов важно разгуливал по коридору и курил трубку, явно подражая Шерлоку Холмсу. Благодаря крупному с горбинкой носу и большому лысеющему лбу он и в самом деле имел что-то общее со знаменитым сыщиком.

Думал ли я, что этот манерный с длинными, как у девушки, ресницами Кленов станет моим лучшим другом и дружба эта сохранится на многие годы. Тогда я тоже расхаживал по коридору, с равнодушным видом, покуривая, — в институте курили все, — и старался ничем не выдать своей неудовлетворенности от того, что не знал, как и куда применить свою энергию.

Раньше ее поглощала школа, точнее жажда получить медаль. Теперь эта энергия высвободилась. И единственно,

куда я ее мог направить — так мне самому, по крайней мере, казалось, — были семинары по марксизму и политэкономии. Здесь каждый из нас мог демонстрировать блеск ораторского искусства, и я выступал не реже и с меньшим темпераментом, чем Семен Каплан.

На семинарах мы изучали ранние работы Ленина, без конца говорили о борьбе с пережитками прошлого, о журналах «Звезда» и «Ленинград» и через каждые два слова ссылались на товарища Сталина. И я тоже ссылался, и, как это было принято, всякий раз добавлял «с присущей ему гениальностью», «со сталинской мудростью», и, так говоря, испытывал ощущение, будто сам отныне был причастен к мудрой сталинской политике. В такие минуты мне казалось, что я должен быть политическим деятелем.

Но на первом же комсомольском собрании убедился, что не являюсь в этом смысле исключением. Оратором и политическим деятелем на курсе считал себя едва ли не каждый.

Четыре с половиной часа избирали бюро ВЛКСМ. В жизни я не видел такой активности. Кандидатов навывдвигали вдвое больше, чем требовалось. Каждого из выступавших на собрании заставляли рассказывать биографию, к каждому лезли в душу — кто отец, кто мать, почему так поздно вступил в комсомол, почему до сих пор не вступил в партию. В итоге половину всех выдвинутых забаллотировали.

Секретарем комсомольской организации избрали самого тихого и незаметного Эдика Боровского, его замом по воспитательной работе — Зивочку Циперсон. Казалось, если и был на курсе человек, не считавший себя ни политиком, ни оратором, так это был Боровский.

Сам он выступал редко, чаще присоединялся к точке зрения других и если брал слово, то обычно начинал так: «Ребята, хотел тут посоветоваться с вами по одному вопросу...»

На лице его всегда жило выражение неловкости оттого,

что ему, столь незаметному, приходится руководить такими умными людьми, какие были на курсе.

Зивочка, напротив, казалось, была рождена предводительствовать. У нее была очаровательная мордашка и низкий грудной голос. Когда она говорила, то так задорно вскидывала мордашку, что, казалось, вот-вот запоет. Она выступала почти на каждом собрании и начинала обычно так: «Товарищи, я, как молодая комсомолка, считаю...» Она всегда кого-то обвиняла в пассивности, говорила, что это просто нечестно и не по-комсомольски, когда каждый живет сам по себе, неизвестно, о чем думает и чем дышит.

Я еще не раз буду возвращаться к Зивочке и к Боровскому. Не только потому, что жизнь сталкивала меня с ними в самых разных ситуациях. Он и она, каждый по-своему, станут для меня в какой-то степени фигурами символическими, помогут понять, что же произошло в жизни института за четыре года.

И еще одна личность врезалась в память с того первого комсомольского собрания. Это — Жарков, мой старый быковский знакомый. К своему величайшему удивлению, я вдруг увидел его в президиуме собрания как представителя комитета комсомола института. Я слышал, что он учится в МЮИ, но не ожидал встретить именно здесь.

Если в жизни возможно раздвоение личности, то оно произошло на моих глазах. Вместо бесшабашного дачного весельчака, который один на всем свете мог взрываться таким смехом, шумно катаясь по нескошенной траве на участке Крыловых, сейчас в президиуме сидел типичный комсомольский деятель с сонным, скучающим выражением лица. Он что-то записывал в блокнот и время от времени с той же скучной бесстрастностью на лице давал справки по процедурным вопросам. Они были настолько разными, что я даже подумал, который из них настоящий — тот, кто весело катался по траве, или этот, с сонным надменным выражением лица.

Из института мы вышли вместе с Кленовым, долго броди-

ли по улицам. О чем только ни говорили в тот вечер, будто влюбленные, которые уже давно чувствовали влечение друг к другу и вдруг решили перестать таиться.

Его мечта — пойти по стопам отца, а отец всю жизнь служил в органах, работал в спецлагерях. В последнее время они жили на севере, пока отец не вышел в отставку и семья не переехала в Москву. Конечно, он, Кленов-младший, не собирается служить в лагерях. Его цель — стать следователем, и ради этого он, собственно, и выбрал Юридический институт.

Я говорил, что еще не решил, кем буду, но хочу пойти в государственный аппарат, на политическую работу.

Затем по косточкам перебрали каждого в группе и единодушно пришли к выводу, что в ней нет мыслителей.

К концу вечера мы явно почувствовали родство душ: оба евреи, хоть на еврейскую тему и не говорили, оба — интеллигенты и оба искали случая себя проявить.

ПИСЬМО БРАТЬЯМ-КОРЕЙЦАМ

Вскоре случай представился, и мы не преминули им воспользоваться. Однажды бродили мы по центру и совершенно случайно наткнулись на одного из наших сокурсников, Бориса Еравского. На курсе Еравский слыл выпивохой и эрудитом, сотрудничал на радио и в каких-то газетах. Встретив нас, он страшно обрадовался и незамедлительно сообщил, что у него к нам потрясающе важное дело. Что именно за дело, он изложил нам, когда мы втроем сидели за столиком в Коктейль-холле.

Только что началась война в Корее, и требуется срочно написать обращение к братьям-северокорейцам о том, что мы, советские люди, не оставим их в трудный час. Разумеется, он бы написал сам, но случилось одно непредвиденное обстоятельство, и, поскольку у него нет и минуты времени, он просит это сделать нас. Текст нужно сделать за ночь и не позже девяти утра передать нарсудье Фрун-

зенского района Иванову, который одновременно является обозревателем Всесоюзного радио. В десять обращение пойдет в эфир, и нас с Кленовым услышит весь мир. Надо было не иметь ни малейшего представления о реальной жизни, чтобы поверить в эту фантазмагорию. И мы его действительно не имели, если, обложившись газетами, всю ночь прокорпели над обращением к братьям-корейцам у Кленова на кухне, но к рассвету все же родили несколько проникновенных страниц.

Было в них все что полагается: и Сталин, и бешеная гидра империализма, и братская любовь к братьям-корейцам... Ровно в девять текст был доставлен по установленному адресу нарсудье Иванову. Он долго вспоминал, кто такой Еравский. Кажется, он действительно говорил о чем-то подобном, но тот все перепутал, ибо обращение к братьям-корейцам должно было идти от имени общественности, например, от рабочих автозавода имени Сталина. На что мы с Кленовым в один голос воскликнули: «Пожалуйста, пускай от них!» Лишь бы пошло в эфир...

Подобного бескорыстия я больше никогда не проявлял в жизни — нас с Кленовым не прельщала ни слава, ни деньги. Мы жаждали действия, и чего стоила какая-то несчастная ночь, если нам открывалась для этого возможность.

Вот так невинно все начиналось: письмо к братьям-корейцам и еще собрания в группе, на которых без устали говорили о комсомольском долге и чести. На первом же из них постановили: главное в нашей жизни — дружба. Воля товарищей — закон для всех. Отныне все решали сообща и даже в кино и театр ходили вместе.

Меня выбрали комсоргом группы, и теперь само положение обязывало меня выступать чаще других. Кленов был моей правой рукой, Каплан — левой. Говорили только по большому счету и от каждого требовали понимания великих задач, стоящих перед страной.

В те дни все было великим: великая Россия, великие

планы коммунизма и, разумеется, великий Сталин. В борьбе, которую вел великий народ, не было мелочей. Так писали газеты, и это же с убежденностью восемнадцатилетних повторяли мы.

Однажды я произнес сокрушительную речь против одной из двух наших женщин — Борисовой, прогулявшей подряд две вечерних лекции. Именно в эти часы ее видели в ресторане, и я потребовал обсудить ее поступок со всей комсомольской принципиальностью. Другой раз из-за такого же пустяка обрушился на крикуху Клейдман.

А чуть позже поднял прогремевшее на весь институт дело Ильиной. Она появилась в группе в середине года, и, кроме того, что ходила в вызывающе короткой юбке и красила перекисью волосы, никакой иной ее вины не помню.

На собрании, кажется, говорил, что таким не место в наших рядах, что не сегодня-завтра мы встретим ее у Метрополя. Перещеголяла меня лишь Зивочка Циперсон. Как молодая комсомолка она испытывала стыд и горечь оттого, что оказалась рядом с такой, как товарищ Ильина.

Напрасно та плакала и пыталась что-то объяснить. Я тотчас же прервал ее: «Довольно, она не искренна... Есть предложение исключить!»

Поднялся Боровский: «А может, Витя, слишком?» Но когда стали голосовать, первый поднял руку за исключение.

Сама судьба воздаст мне за эту несправедливость, да и за все, кем я стал, охваченный страстным желанием служить комсомолу по большому счету.

Пройдет немногим более двух лет, и в том же Малом зале, теми же, с кем рука об руку я боролся за честь коллектива, будет разбираться персональное дело Перельмана и Кленова. Оказавшись в военном лагере, они «попрали», как скажет Зивочка, свой комсомольский и воинский долг.

«Помилуйте, слышу голос читателя, одни речи да собрания, а где студенческая юность? Где первые свидания? Где, наконец, сам институт с его живым многоголосьем и

гениальными чудаками на кафедрах, о которых вспоминаешь до конца жизни?»

О Боже, все было! Свидания под часами у Петровских ворот и под многими другими часами. И веселые мальчишники все на той же кленовской кухоньке в Фурманном переулке, где писали письмо братьям-корейцам, где гоняли чай и уплетали черные сухарики с баклажанной икрой. Были и женщины, и танцы при потушенном свете, и бешеные ночи, после которых, едва волоча ноги, шли в институт и с видом покорителей вселенной глазели на окружающих.

Впрочем, это было позже, а вначале, коль скоро зашла речь о юности, были просто девочки, первые мои девочки — Люся Фридман и Нока Крастошевская.

С Люсей я познакомился на даче в Быкове, куда она приехала к подруге. Она была похожа на восточную принцессу — выше меня ростом, с длинной черной косой и глубокими лучистыми глазами. Я позвонил ей на другой день, и мы встретились под часами на площади Пушкина. Насколько храбр был я на комсомольских собраниях, настолько робок с девочками.

Я не знал, о чем говорить с Люсей, и все время расспрашивал ее, что она за последнее время прочитала и нравится ли ей русская классика. Потом встретились еще несколько раз, и снова я хотел казаться необыкновенно умным, и снова говорил о высоких материях, теперь, кажется, о законах Хаммураби.

Я продолжал настойчиво звонить ей, в мечтах обожал ее, но, не зная, как это выразить, я всякий раз с деланным безразличием задавал по телефону один и тот же глупейший вопрос: «Ты как, сегодня вечером свободна?» Теперь она все чаще говорила «нет». Тогда я спрашивал: «А завтра?» — «И завтра — нет». Я спрашивал: «А послезавтра?» — «Извини, но я вообще до конца недели занята».

Я сходил с ума от любви и еще больше от собственных унижений, не понимая, как она могла отвергать меня,

студента сразу двух институтов, такого умного, такого глубокомысленного.

Однажды я позвонил ей и сказал, что мне необходимо поговорить с ней по жизненно важному вопросу. Она долго не соглашалась, но я все-таки настоял на встрече. Жизненно важный разговор состоял всего из нескольких слов. Не глядя на нее, я заявил, что обдумал с начала до конца наши отношения и пришел к выводу, что она, то есть Люся, не нужна мне больше. Я так и сказал: «ты мне больше не нужна, будь здорова».

Она смотрела на меня как на сумасшедшего, а я, больше всего опасаясь выдать себя, тотчас повернулся и скрылся с ее глаз. Так окончилась моя первая любовь.

У другой моей симпатии, Ноки Крастошевской, я бывал дома в течение нескольких лет. Их было две сестрички — Нока и Стелла. Нокой ее звала мама. Настоящее ее имя было Регина. В отличие от Люси Фридман, она была рыженькой и просто очень обаятельной девочкой с полными женскими руками.

Обе сестрички после восьмого класса, не выдержав тягот учения, бросили школу, и мама, изверившись в способностях дочерей, частенько устраивала вечерние чаи в расчете найти для девочек что-нибудь «приличное». Звали маму Лилией Адольфовной. Она была неисчерпаемым источником еврейских анекдотов, бесконечных хохм, и вообще это было 90 килограммов сплошного веселья.

Внешне Лилия Адольфовна напоминала старешую одесскую бандершу. По ее собственным рассказам, она пережила бурную молодость. В шестнадцать лет ее умыкнул какой-то польский граф. От него, неизвестно как, она попала в руки к буденовскому комиссару. Затем вышла замуж за одного крупного снабженца. Снабженца посадили, и после этого Лилия Адольфовна ни за кого больше не выходила. Обосновалась с девочками — двумя дочерьми снабженца — в коммунальной квартире на Моховой и вся отдалась устройству их судьбы.

С красоткой Нокой я даже не мог говорить о законах Хаммураби, поэтому чаще всего сидел на диване и, покуривая, молча любовался ею. Иногда отпускал глубокомысленные замечания, кои должны были свидетельствовать, что друга их дома не зря учат в двух институтах. Максимум, что мне дозволялось, это иногда под патефон станцевать с Нокой танго. Так что, сверхумные мысли обычно проходили мимо ушей моей возлюбленной, и все же я нашел способ поразить ее воображение.

Однажды я сказал, что завтра принесу в конверте ее характеристику, но с условием, что она прочтет ее без меня. На листке, вложенном в конверт написал: «Это вино молодозелено, но когда оно перебродит, то получится напиток, достойный богов». (Так, кажется, кто-то из великих критиков сказал об одном из великих писателей — кто о ком, я напрочь забыл.)

На другой день Нока встретила меня сияющая и с этих пор не переставала мучить меня вопросом: «А кто же Бог? Нет его, перевелись все боги!..» Она весело кокетничала, оглядывая свои обнаженные полные плечи. А я смотрел на нее влюбленными глазами и по-прежнему молчал — не мог же я признаться, в ком хотел, чтобы она увидела своего Бога. А она, по-видимому, глядя на своего обожателя, на его нескладную сутулую фигуру и вечно торчащие волосы, никак не могла дойти до этой мысли. Вот так и жил я, и ходил на Моховую со своей тайной любовью.

Лилию Адольфовну моя робость не только не смущала, но, напротив, приводила в восторг. Предметом ее особой гордости были мои родители. Она никогда их не видела в глаза, но не уставала возносить в глазах приятельниц, таких же веселых бандерш и анекдотисток, придумывая им все новые и все более громкие титулы.

— Кто он? — слышал я, бывало, из-за спины вопрос.

— Пэрльман! — переходила на торжественный шепот Лилия Адольфовна.

— А кто отец, кто?

- Адвокат, крупный адвокат...
- Как ты сказала, Перльман? Что-то я такого не слышала. Знаю Брауде, Комодова...
- Ты не слышала, их вейс, она не слышала. То Брауде, а то Пэрльман.
- А мать тоже адвокат?
- При чем тут мать? Мать редактор...
- Редактор?
- Да, редактор, представь себе.
- И что, крупной газеты?
- Я знаю, крупной или некрупной, во всяком случае, какой-то областной газеты.

Лилия Адольфовна так высоко парила, что с моей стороны было бы просто жестокостью подрезать ей крылья. И я несколько лет продолжал ходить на Моховую, пока со своими серьезными намерениями не доходился до того, что обе сестрички вышли замуж за двух выпускников торфяного института Толю и Колю, которые увезли их вскоре в Сибирь.

Вот так и обстояло с девочками. Что же касается института и гениальных чудаков на кафедре, то были и они. Вспоминаю их и вижу себя в том же малом зале. На кафедре все тот же доцент Зиновий Михайлович Черниловский, что читал нам первую лекцию о законах Хаммураби. Для нас он уже давно Зиночка — именно так его зовут на курсе, — возможно, за маленький рост, возможно, за пухлые детские губки. Мне почему-то всегда казалось, что Зиночка был единственным ребенком в семье.

В своих черных профессорских очках лысеющий Зиночка похож на восточного философа. Он только что прочел, и как всегда, с блеском, лекцию о законах Перикла. Зал аплодирует, и сияющий Зиночка, стирая со лба капли пота, полный наполеоновского величия, не спеша спускается с кафедры.

Но вот в том же зале вижу другого Зиночку. От наполеоновского величия не осталось и следа. На детском Зиноч-

кином лице растерянность. Голос дрожит, и голова совсем скрылась за кафедрой. Но у зала нет сочувствия к безродному космополиту Черниловскому. В своих лекциях он игнорировал классовую сущность буржуазного государства и систематически пресмыкался перед западной демократией. За все это и держит ответ перед ученым советом института.

На смену Зиночке на кафедре появляется Володька Покровский, читавший нам историю политических учений. Впрочем, «появляется» — не то слово. На кафедру он, как обычно, взбегает, и как всегда, нечесаный, со съехавшим набок галстуком и изрядно навеселе. Отбросив в сторону изодранный портфель, он долго сморкается в свой широченный платок и, наконец упрятав его куда-то в карман брюк, говорит: «Ну, что же, коллеги, перейдем к Спинозе, к Боруху Спинозе». И далее: «Борух Спиноза, которого иногда неправильно называют Бенедиктом, был прежде всего сыном своего народа, хотя и известен как создатель философского учения о двух материях: «*natura naturans*» и «*natura naturata*». Спиноза тихо и скромно шел на любую жертву, чтобы жить согласно духовной позиции еврейства, сущность которой заключена в знаменитом ответе рабби Гиллеля язычнику». И дальше Володька рассказывал, как пришел язычник к суровому еврейскому теологу Шаммаю и сказал, что он готов перейти в иудейство, если рабби Шаммай изложит ему основы еврейского вероучения за то время, пока он сможет простоять на одной ноге. Рабби Шаммай прогнал этого человека. Тогда он обратился к рабби Гиллелю. «Почему нет, — ответил рабби Гиллель. — Что ты не хочешь, чтобы делали тебе, — не делай другому. Это все».

Володька цитировал Спинозу на чистой латыни, он знал ее в совершенстве, как, впрочем, и греческий, на котором цитировал Фому Аквинского, а однажды, будучи в ударе, прочитал нам на чистом иврите целую страницу из Библии.

Прошло почти четверть века, но так и врезался в память этот суматошный талантливый чудак, а вместе с ним и ушедший от мирской суеты гениальный Спиноза, обладавший великим даром — жить по убеждению.

...А теперь перед глазами желчный старичок с саркастической усмешкой на лице. Он сидит посредине сцены в своем пальтишке, отороченном мерлушкой, и зябко прячет свои вечно мерзнущие руки в рукава. Это — знаменитый Гурвич, бывший правовой консультант Ленина, автор текста первой советской конституции. Предмет Гурвича — ГУБС — Государственное Устройство Буржуазных Стран. В институте говорили: «Сдал ГУБС — жениться можешь».

Любимый конек Гурвича — двухпартийная буржуазная система.

Две партии — это две руки буржуазного государства. Они никогда не уступят и не упустят власть. Но, ловко манипулируя ею, передавая из одной руки в другую, государство умело создает иллюзию свободы и демократии.

Читал Гурвич певучим, петушиным голоском, который обычно тотчас умолкал, как только возникал малейший шумок. Он редко выражал недовольство вслух, но делал это в совершенно убийственной форме. Этот желчный голубоглазый старикашка обладал даром наводить ужас на студентов. И еще более на студентов, считая, по-видимому, свой предмет недоступным для постижения представительницами прекрасного пола. Из уст в уста передавались по институту его афоризмы, некоторые из них не могу не привести: «Ну-с, догогая (вместо «р» Гурвич произносил «г»), не знаю как вообще, а в госудагственном устгойстве бугжуазной Индии вы девственница». Или: «Ставлю вам пять. Два сейчас, а тги — когда пгидете». Не как анекдот, а как сущую правду рассказывали, что он умудрился выгнать с экзамена собственную дочь, да еще бросил ей вслед зачетку: «Вон! Вся в мать, дуга!»

Гурвич тоже окажется безродным космополитом, и мне еще придется о нем говорить. А пока вернемся назад и

попробуем понять обстановку, в которой жила страна, жили мы, когда просыпалась в нас жажда действовать на благо Родины.

Итак, 1948 год. Уходила в прошлое война, но в стране все еще царил разруха и людей не покидала бедность. В жизни их не было самого необходимого. Зато в изобилии была сталинская любовь к народу и сталинская ненависть к врагам. Великий вождь учил, что классовый враг не дремлет и по мере приближения страны к коммунизму все более жестокой становится классовая борьба. Газеты звали решительно бороться с пережитками капитализма в сознании людей и с их живыми, не складывающимися оружия носителями. Их становилось все больше, и в 1948-49 годах они уже плодились, как грибы после дождя — буржуазные националисты, морганисты-вейсманисты, буржуазные космополиты и прочие герои наших политзанятий. По странному стечению обстоятельств у них теперь все чаще оказывались еврейские фамилии.

Я не политик и не берусь судить, какие флюиды ощущала страна в целом, но хочу попробовать понять, как получилось, что мальчики и девочки, только и мечтающие отдать Родине души прекрасные порывы, за какие-то четыре года превратились в истеричных хунвейбинов, подчас терявших человеческий облик. Я не знаю, как шла к ненависти и антисемитизму любвеобильная Россия, но я видел, как шаг за шагом шел к этому мой институт. Впрочем, «видел» — это из лексикона свидетелей, а я, все мы, были жертвами этой чудовищной метаморфозы.

ГРОЗНЫЙ МЭТР ВЫШИНСКИЙ

В мае 1948 года в Московском юридическом институте выступил Вышинский. Его пригласили принять участие в обсуждении двух макетов учебников по теории государства и права — один профессора Денисова, другой — Института права Академии наук СССР. Обсуждение проходило бурно,

по многим вопросам теории высказывались противоположные точки зрения.

На юридическом фронте уже давно существовали разные направления, представители которых обвиняли друг друга в буржуазном нормативизме, и прагматизме, и прочих смертных грехах. На кафедрах один за другим появлялись борцы против тлетворного влияния буржуазной юридической науки.

Понятно, с каким нетерпением ждали выступления Вышинского. В зал невозможно было протиснуться, всюду появлялись пробки. Были забиты все проходы и подоконники.

Вышинский говорил четыре с половиной часа. Газеты называли его речь программной. Когда я вышел из зала, у меня разламывалась голова и перед взором все еще стоял этот седой желчный человек с отечным лицом и глазками, сверлящими зал из-под толстых линз очков. Тщетно я пытался привести услышанное в последовательность. Сделать это было невозможно, потому что Вышинский импровизировал, Речь его без конца прерывалась восторженным гулом. В этот день я впервые почувствовал, что значит охваченная экстазом толпа.

Вышинский опоздал на два часа, но не извинился, а лишь усталым голосом сообщил, что только что прибыл с сессии Генеральной Ассамблеи ООН, работа которой была чрезвычайно напряженной и где, кстати, только что было провозглашено государство Израиль. С этого события он и начал речь и еще долго не мог добраться до учебника Денисова.

Советский Союз одним из первых признал государство Израиль, и он как министр иностранных дел выражает надежду, что это государство будет проводить миролюбивую внешнюю политику. И еще он, кажется, добавил, что такая политика не только в интересах мира, но прежде всего самого государства Израиль. Пусть живут и другим не мешают!

В моей памяти запечатлелась интонация, с какой было сказано все это, и особенно это великодушное «пусть живут!» — «Конечно, раз уж на то пошло, мы признаем ваше еврейское государство. Но не забывайте, кто мы и кто вы. Мы — великий русский народ, а вы — всего-навсего евреи. Поэтому не очень-то задирайте нос, если не хотите нажать неприятности».

В своей речи Вышинский громил всех и вся. Казалось, учебник Денисова для него только повод для того, чтобы изничтожить других, находящихся в зале и извращавших в своих книгах и лекциях то, чему он так беззаветно служил всю жизнь.

Начал он глухим болезненным голосом, но, по мере того, как говорил, голос его креп, и его вялое, отечное лицо наливалось краской. И когда он обрушился на главного своего противника, профессора Гурвича, который без конца, «как говорят русские люди, выкаблучивается и выделяет всякие выкрутасы», — лицо его стало бордовым, и, казалось, ничто уже не способно было прервать его речь. «Оказывается, профессора Гурвича не устраивает определение государства, данное товарищем Сталиным, говорившим, что государство есть машина в руках господствующего класса для подавления сопротивления своих классовых противников. Оказывается, трудовому народу вообще больше не нужна такая машина. Да куда же нас, в конце концов, зовут? Может быть, вам, товарищ Гурвич, диктатура пролетариата тоже не нужна? Может быть, напрасно проливали кровь русские рабочие в 1917 году?»

Затем он с тем же темпераментом обрушился на другого своего противника, профессора Стальгевича. Начиная с 1938 года Стальгевич всякий раз, когда заходит речь о сущности буржуазного нормативизма, юлит и ловчит, не высказывая принципиальной марксистской позиции... Кому как не нашим недругам служит подобное ловкачество?

Каждую минуту зал взрывался бурей оваций, и сидевший со мной в одном ряду профессор Стальгевич тоже хло-

пал. И виновато улыбался, точно нашкодивший школяр, пытающийся своей извиняющейся улыбкой хоть немного смягчить гнев распекавшего его учителя.

Нет, Вышинский был не просто учитель, а беспощадный мэтр, на которого История возложила миссию карать врагов революции и сама История освободила его от жалости.

В зале Организации Объединенных Наций Вышинский обязан был выдерживать международный этикет, но теперь в Москве, в Юридическом институте, уже мог не стесняться в выражениях, как барин, удостоивший своим посещением задний двор. Громя всех и вся, Вышинский в самых неожиданных случаях вспоминал Израиль, который явно не давал ему покоя. Разделавшись со своими противниками, он повернулся к сидящему в президиуме Денисову и стал выпытывать, где у него в учебнике определение государственной машины.

— В конце, Андрей Януарьевич! В конце... — пробормотал Денисов.

— Ах, в конце! — желчно засмеялся Вышинский. — Вы слышите, товарищи, в конце! Может быть, вообще прикажете нам читать учебник справа налево? Но, простите, мы пока не живем в государстве, где читают справа налево. У нас, в России, слава Богу, читают слева направо!

Я не помню, чем он закончил. Кажется, говорил, что ему в жизни необыкновенно повезло, как, впрочем, и всем работникам правового фронта, вооруженным могучим оружием — марксизмом-ленинизмом и борющимся под руководством гениального учителя и вождя товарища Сталина.

Я не знаю, велико ли везение строить карьеру на гибели миллионов невинных людей, но со смертью Вышинскому действительно повезло. Он явно вовремя ушел из жизни.

23 ноября 1954 года Центральный Комитет коммунистической партии и Совет Министров с глубокой скорбью известили, что 22 ноября в Нью-Йорке скончался выдающийся государственный деятель, талантливый дипломат и

крупный ученый Андрей Януарьевич Вышинский. В газете был напечатан портрет мрачного седоволосого старика с тонкими губами. Публикуемый тут же некролог подчеркивал, что он был «верным сыном коммунистической партии, самоотверженным в работе, исключительно скромным и требовательным к себе». Но все это были уже ничего не значащие слова, ибо люди уже знали цену этому самоотверженному в работе выдающемуся деятелю партии и государства.

Листаю подшивки «Правды» и перечитываю речь Вышинского на процессе так называемого параллельного троцкистского центра в январе 1937 года. Он говорил: «Я обвиняю не один! Рядом со мной, товарищи судьи, я чувствую, будто вот здесь стоят жертвы этих преступлений и этих преступников — на костылях, искалеченные, полуживые... Я не один. Я чувствую, что рядом со мною стоят вот здесь погибшие и искалеченные жертвы жутких преступлений, требующие от меня как от государственного обвинителя предъявлять обвинения в полном объеме.

Я не один! Пусть жертвы погребены, но они стоят здесь, рядом со мной, указывая на эту скамью подсудимых, на вас, подсудимые, своими страшными руками, истлевшими в могилах, куда вы их отправили».

Вышинскому нельзя было отказать в красноречии, но то была лишь картина призраков, специально вызванных им в зал суда для того, чтобы отправить на тот свет живых и невиновных.

И вот теперь, спустя более двадцати лет, их тени поднимались из могил, чтобы предать проклятию своего палача. И проживи он еще немного, не избежать ему правосудия. Я знаю, оно свершилось бы, независимо от желания тех, кто действительно скорбел о его смерти.

Но тогда, в мае 1948 года, зал гремел от восторга. И я тоже был им переполнен. И дубасил ладонями даже тогда, когда Вышинский с издевочкой говорил о государстве, где читают справа налево. Что мне до этого Израиля? Жил без

него и дальше проживу. Другое дело, моя страна, мой институт...

Назавтра я всем, кому мог, с восторгом рассказывал, что слушал самого Вышинского. Значит, и нам кое-что доверено, если нас приглашают на выступления таких людей.

Выступивший на комсомольском собрании Боровский сказал, что речь Вышинского имеет прямое отношение и к нашему курсу, и он хотел бы посоветоваться с ребятами, в каком направлении вести дальше нашу комсомольскую работу.

Вслед за Эдиком взяла слово Зивочка Циперсон и сказала, что ее поражает тон выступления товарища Боровского. Как молодая комсомолка, она считает, что время советов прошло. Пора всем набраться мужества и спросить самих себя, нет ли среди нас таких, кто смотрит не туда и увлекается не тем чем надо. Кажется, именно в эти дни мне пришла мысль заняться делом Ильиной.

Атмосфера в институте явно накалялась. Хотя еще и речи не было о безродных космополитах, и в своей речи Вышинский громил не только евреев Гурвича и Стальгевича, но, повидавший жизнь зал уже кое-что предчувствовал. Неспроста же оживился растленный Запад и вместе с ним буржуазные нормативисты. И какой-то странный ветер подул с Ближнего Востока. И зачем-то появились те, кому не дорога была кровь русских рабочих. Не все было досказано, но столбик термометра явно рвался вверх, и осталось не так уж много, чтобы расставить точки над «і».

КАЮЩИЕСЯ БОЛЬШЕВИКИ

Летом 1948 года произошло событие, после которого я долго не мог найти себе места. Арестовали Сендаха и Летинского. Весть эту принес Генкин. Поздно вечером он заявился ко мне на дачу и от волнения не мог связно рассказать о случившемся. Да и сам он мало что знал. Разве лишь то, что Сендах взят по какому-то страшному обви-

нению, связанному с нашим литературным салоном, и что назавтра после этого Крыловы увезли Элю и Нелю куда-то на море.

Я решительно не представлял, по какому обвинению могли забрать этого не от мира сего Сендаха, который так легко сочинял стихи и так блестяще читал Пастернака и Ахматову. И тем более, за что взяли головастого добряка Летинского, оставшегося без куска хлеба после закрытия студии Еврейского театра. У меня не могло возникнуть и подозрения, что эти мечтатели могли быть по чьему-то навету обвинены в контрреволюционной сионистской деятельности и что их арест был первым предвестником событий 1949-50 годов.

С сократовским выражением лица «великий математик» ходил из угла в угол по отцовской мансарде и при помощи теории вероятности пытался вычислить, насколько велика возможность нашего с ним ареста. Вероятность оказывалась довольно большой, но меня почему-то занимал совсем другой вопрос — арестован ли вместе с Сендахом и Латинским Жарков.

Вскоре я убедился, что Жарков не был взят. На второй день после начала занятий мы нос к носу столкнулись с ним в раздевалке. Он был по-прежнему членом комитета, выглядел страшно занятым и, увидев меня, лишь едва кивнул головой.

А еще спустя некоторое время с треском сняли директора Московского юридического института Федькина. Доцент кафедры всеобщей истории Гаврила Иванович Федькин был рафинированным интеллигентом и оригиналом. В своих лекциях по истории римского частного права он приводил бесконечные юридические казусы и с помощью них пытался нам втолковать, чем отличаются вещи «res mancipi» от вещей «res nec mancipi». В этих казусах неизменно действовал римский гражданин pater familias Пабло Гелий. И сам Федькин, поджарый блондин с тонким с горбинкой носом и густой белой челкой, спадающей на лоб, был чем-

то похож на древнего римлянина. Особенно, когда начал на латыни цитировать Corpus Juris Civilis имепартора Юстиниана.

С большинством преподавателей директор был на «ты», старался по возможности все улаживать миром и всякий раз, когда вспыхивал конфликт, приглашал к себе секретаря парткома Иванова и говорил: «Вот, разберись с этими Монтеки и Капулетти, кто тут из них чистый, а кто нечистый».

Сняли Федькина за неправильный подбор кадров, семейственность и еще что-то в этом духе. Директором института был назначен некто Федор Михайлович Бутов, работавший перед этим в ЦК партии Молдавии. Что это за человек, никто не знал. Его появление было окружено ореолом таинственности. Говорили, что он работал вместе с Маленковым и до сих пор сохранил с ним приятельские отношения и что они встречаются даже семьями.

В отличие от Федькина, который вечно крутился в аудиториях и коридорах, Бутов, как забравшийся в нору крот, почти никогда не вылезал из директорского кабинета. И внешне он тоже был похож на крота. Бритоголовый, с маленькими сонными глазками, он шел лбом вперед, лениво переваливаясь с ноги на ногу и демонстрируя полнейшее безразличие ко всему, что делалось вокруг. Тогда мы еще не знали, что этот человек возглавит крестовый поход против так называемых безродных космополитов в Московском юридическом институте. В стране этот крестовый поход начался несколько раньше.

20 января 1949 года в «Правде» появилась статья «Об одной антипатриотической группе театральных критиков». Крупнейшие театральные критики — Юзовский, Борщаговский, Левин, Гурвич, Варшавский — обвинялись в том, что встали на путь преклонения перед буржуазной культурой, принижения роли русского национального театра.

Выступление «Правды» мгновенно подхватили едва ли не все газеты, объявившие критиков-космополитов людь-

ми без роду, без племени. Обстановка накалялась изо дня в день. И обвинения, носившие теперь уже явно выраженный политический характер, становились все более грозными.

В горении политических страстей, в разнузданной истерии и даже в самом стиле газетных статей уже виделись зловещие приметы 37-го года. Вот лишь два небезынтересных свидетельства. Первое — из отчета о судебном процессе над членами так называемого антисоветского троцкистского центра и, в частности, над одним из его руководителей и идеологов Карлом Радеком:

«...Он стоит перед судом народа, человек с двойной жизнью, подлый человек, одной рукой щедро даривший клятвы и заверения в своей верности, а другой — пытавшийся всадить нож в спину революции. Он стоит у барьера и, поблескивая стеклами очков, часто облизывая губы, ведет счет своим гнусным преступлениям, в которых значатся и диверсии, и террор, и взрывы, и отравления».

А вот как в феврале 1949 года «Литературная газета» писала о группе театральных критиков-космополитов: «...Обнаглевшие громилы имели свою штаб-квартиру в ВТО, проникли в редакции газет и журналов. Вместо того, чтобы правдиво, без уверток рассказать с трибуны о своей вине перед советским народом, о формах и методах деятельности антипатриотической группы, они юлили и извивались ужом и... цепь сознательно совершенных преступлений изображали как «случайные ошибки».

Будто два действия одного и того же представления. Творческий почерк одного и того же режиссера. Мир уже много знает об этом столь часто исполнявшемся перед его изумленным взором спектакле. Мне кажется, что я находился совсем близко от сцены и даже видел болезненные гримасы актеров, которых заставляли играть ненавистные им роли.

В марте 1949 года в Большом зале Юридического инсти-

тута состоялось расширенное заседание ученого совета Института права Академии наук СССР. На нем были подвергнуты уничтожающей критике безродные космополиты в советской правовой науке. Я был в этом набитом людьми зале, на этом совете, скорее напоминавшем суд святой инквизиции, нежели собрание людей науки. И даже расположившийся на сцене президиум был похож на судейскую скамью.

В первом ряду, среди членов святейшего суда, таких, как директор Института права профессор Коровин, завкафедрой Военно-Юридической академии Чхивадзе, сидел, поблескивая сонными глазками, и новый директор МЮИ Федор Михайлович Бутов. Выступивший с докладом доктор юридических наук Казанцев обрушился на академика Трайнина, профессора Левина, Строговича, Стальгевича, Шифмана. В своих учебниках они грубо исказили ленинско-сталинское учение о диктатуре пролетариата, восхваляли буржуазную демократию, умаляли роль великого русского народа в истории человечества.

Напрасно «уличенный в ереси» профессор Левин пытается что-то объяснить. Перед лицом святой инквизиции, жаждущей крови еретиков, последним еще никогда не удавалось оправдаться. Его выступление объявляется образцом формального признания, признания отписочного характера.

Проснувшийся вдруг Бутов, блестя своими сонными глазками, бросает ему из президиума — как это он, советский преподаватель, дошел до того, что стал ползать на животе перед буржуазными авторитетами, предал Родину и Россию...

Начиная с марта 1949 года почти каждый день, точнее каждый вечер, идут заседания ученого совета Московского юридического института. Двери открыты для всех, и борьба с Иванами, не помнящими, родства, идет при массовом стечении публики. Для каждого очевидно, что безродные Ивановы — это не более чем газетный камуфляж, неизвестно на кого рассчитанный.

По какой-то случайности в компании космополитов оказался профессор Юшков. Говорили, будто он настолько был возмущен обрушившейся на него несправедливостью, что прямо на заседании ученого совета воскликнул: «Товарищи, а меня-то за что, я ведь рязанский!»

Тогда для многих оставалось загадкой, кому и в каких целях понадобилось развертывать в 1949 году столь широкую кампанию против евреев, печатать истерические статьи, в которых презренные космополиты, так же как троцкистские изменники, «юлили и извивались» перед судом народа.

Эта смена ролей и декораций в гигантском сталинском спектакле сегодня уже не кажется случайной. Как не кажется случайным и снятие задолго до тридцать седьмого года Каменева с поста предсовнаркома и слова Сталина: «Еврей не может стоять во главе мужицкого государства». Как не кажется случайным обилие еврейских фамилий в числе руководителей так называемых троцкистско-бухаринских блоков. Как не кажется случайным массовое увольнение евреев с дипломатических постов накануне сорок первого года. Как не кажется случайным вообще оживление антисемитизма в конце тридцатых годов и особенно накануне войны...

Мне еще придется говорить об этом, в общем, закономерном процессе, а пока вернемся в актовый зал Московского юридического института, где при массовом скоплении публики шло разоблачение безродных космополитов.

Присутствие публики лишь подогревало страсти. В те дни после лекций мало кто уходил домой, почти все отправлялись в актовый зал. И я тоже шел туда и, примостившись где-нибудь на галерке, а то и на балконе, и изнемогая от царившей в зале духоты, наблюдал за тем, что происходило на сцене.

Громили космополитов по кафедрам. Начиналось обычно с того, что на трибуну поднимался один из руководителей кафедры и в своем вступительном слове задавал тон.

После него один за другим поднимались честные и принципиальные члены кафедры — люди, как правило, мало кому известные, но, судя по их гневным речам, уже давно страдающие от засилия космополитов.

В выражениях эти «честные и принципиальные» члены кафедры не стеснялись. Один из сотрудников Института права, некто Радьков, обрушившись на профессоров Левина и Шифмана, открыто заявил, что борьба с безродными космополитами есть борьба за честь и национальную независимость русского народа. Доказательствами были сами фамилии космополитов.

Одно выступление следовало за другим, и, когда спектакль достигал кульминации, слово брали те, кого подвергали критике, то есть сами безродные космополиты. По ходу пьесы они обязаны были признавать все без исключения, что им инкриминировалось. И большинство так и делало: каялись и били себя в грудь, независимо от того, считали себя виновными или нет.

О, сколько раз в жизни видел я эту милую картинку, столь типичную для эпохи Сталина! Маяковский в поэме «Владимир Ильич Ленин» нарисовал фигуру плачущего большевика. Погруженный в горе, стоит он у гроба вождя, и даже слезы его должны свидетельствовать о стальном большевистском характере. Лично я никогда не видел подобных картин, но, как символ эпохи, как главное лицо упомянутого выше спектакля, стоит перед глазами фигура кающегося большевика.

Все 17 обвиняемых, проходивших по сострянному органами НКВД делу параллельного троцкистского центра, признали себя полностью виновными и раскаялись на суде в несуществующих преступлениях. Вот последнее слово Пятакова: «Самое тяжелое, граждане судьи, для меня — это не тот приговор справедливый, который вы вынесете, это сознание, вам и всем стране, что я очутился, в итоге всей предшествующей преступной подпольной борьбы, в самой гуще контрреволюции — контрреволюции самой отврати-

тельной, гнусной, фашистского типа, контрреволюции троцкистской...»

Подсудимый Сокольников: «Наша программа была антинародной. Мы не могли опереться на массы... Кроме заговора, другого оружия у нас не оказалось в руках... Я не могу не ужаснуться от этой картины, картины наших преступлений».

Подсудимый Шестов: «13 лет я был членом контрреволюционной троцкистской террористической подрывной и фашистской организации... Здесь перед вами, перед лицом всего трудового народа, я в силу своих способностей расстреливал идеологию, в плену которой был тринадцать лет. И теперь хочу одного: с тем же спокойствием стать на место казни и своею кровью смыть пятно изменника Родины».

Ни один театр мира не знал такого вдохновенного и чудовищного спектакля! Подсудимые, сыграв по сценарию следователей НКВД свои трагикомические роли, спускались с подмостков «сцены», чтобы быть расстрелянными в темных тоннелях Лубянки.

Каялись не только узники 37-го года, осмелившиеся выступить против великого Сталина. Каялись и его ближайшие соратники, терпевшие крушения во внутрипартийной борьбе и интригах, каялись вейсманисты-морганисты, буржуазные националисты... Боже, кто только не каялся, стоя на коленях перед иконами партийных догм! Вожди революции, и убежденные седины рядовые коммунисты, и совсем еще молоденькие члены ВЛКСМ. Да и меня в годы юности — о чем еще буду писать — не обошла эта участь.

Что за загадка эта фигура кающегося большевика?

Еще Ллойд-Джордж после окончания процесса над участниками антисоветского троцкистского центра в газете «Санди-экспресс» писал: «Я должен сказать открыто, что очень трудно объяснить столь беспрецедентный феномен. Нет никаких доказательств, что были применены физические меры воздействия на подсудимых. Все ино-

странные корреспонденты соглашались на этот счет. Говорят, что подсудимых поили каким-то таинственным снадобьем. Но что это за снадобье? Никто не может указать, как оно называется. Думали, что обвиняемым обещали сохранить жизнь, если они сделают признание. Это неправдоподобно. Быть может, все дело в русской психологии, которая находится вне западного понимания».

Ллойд-Джордж не приблизился к загадке кающегося большевика. Совершенно ни при чем оказалась в данном случае русская психология, находящаяся «вне западного понимания». События культурной революции в Китае, повторившие в азиатском варианте 37-й год, явили всему миру интернациональный характер многих «беспрецедентных феноменов», рожденных эпохой сталинизма.

К концу тридцатых годов на Западе появится человек, который как никто иной приблизится к пониманию многих феноменов сталинской эпохи. Это замечательный писатель, философ и публицист Артур Кестлер, автор романа-бестселлера о 37-м годе «Тьма в полдень», переведенного на 31 язык, но так и оставшегося неизвестным советскому читателю.

Прочитав в рукописи Самиздата потрясающей силы роман неизвестного автора о последних месяцах жизни большевика Николая Залмановича Рубашова, которого автор провел со дня ареста до дня расстрела, я тогда еще не подозревал, что роман этот принадлежит Кестлеру.

Узнал это гораздо позже. Уже работая в «Литературной газете», среди материалов редакционного досье я наткнулся на статью Кестлера «Ценности в мире фактов», перед тем опубликованную в журнале «Нью-Йорк таймс-магазин».

То, что было создано талантом Кестлера-художника, теперь получило научное осмысление в исследовании Кестлера-философа.

Кестлер пишет в нем о биологической неполноценности человеческого вида, утверждая, что человек — это, по

существу, ошибка эволюции. Поэтому мы и являемся свидетелями неизбежной деградации личности в тоталитарном государстве. По мнению Кестлера, суть в особой психологии коллектива, эксплуатируемой тоталитарными системами и ведущей начало с доисторических времен, когда в условиях беспомощности первобытных пралюдей зародилось их биологическое стремление отождествлять себя с коллективом.

«Беспомощность человеческого детеныша, — пишет Кестлер, — оставляет в нем след на всю жизнь; этим отчасти объясняется готовность человека подчиниться авторитету коллективов или отдельных личностей, его внушаемость перед лицом доктрин и заповедей, его всепоглощающее стремление принадлежать целому, отождествлять себя с каким-то племенем, какой-то нацией и превыше всего с какой-то системой взглядов. Звуки национального гимна, лицезрение гордо реющего флага заставляют человека чувствовать себя частью восхитительного, любвеобильного общества. Фанатик готов отдать жизнь за предмет своего почитания, подобно тому, как возлюбленный готов умереть за свой кумир».

Не перед следователями НКВД и не перед тяжелейшими пытками, применяемыми в застенках Лубянки, а перед миллионами фанатично настроенных масс, объединенных вокруг догматичных сталинских лозунгов, не могли устоять узники 37 года.

Трагический герой Кестлера, бывший командарм и член ЦК Рубашов, дает свои показания бритоголовому крети-ну следователю Глеткину с не меньшим вдохновением, чем это делает один из руководителей троцкистского центра подсудимый Шестов. Отвергнутые массами, и тот, и другой «искренне» считают, что их место — на свалке истории.

Раскаяние здесь — лишь следствие психологического крушения, результат нравственной деградации личности, попавший в жернова тоталитарной системы. А сам «кающийся большевик», в какой бы ипостаси мы его ни виде-

ли — в лице ли троцкиста Пятакова, «верного ленинца» Хрущева или космополита Юзовского, — во всех случаях он остается трагическим и естественным порождением сталинской эпохи.

Но тогда, в 1949 году, я, разумеется, далек был от понимания этого и, потрясенный, наблюдал со своей галерки, как те, перед чьим умом и талантом я искренне преклонялся, повторяли о себе всю несусветицу, которую возводили на них их честные и принципиальные коллеги по кафедре. Но и это были цветочки. Ягодки начинались, когда к делу приступал глава святой инквизиции Федор Михайлович Бутов. Какими бы словами космополит ни бичевал себя, Федор Михайлович считал его все-таки неискренним или недостаточно искренним и, блестя своими сонными глазками, бросал из президиума:

— Вы не морочьте нам голову, вы дайте политическую оценку своим поступкам. Кто вы есть и кому служили своими действиями!

Поскольку человек и сам начинал теряться в домыслах, кто он есть, то в ответ бормотал что-то маловразумительное насчет своего недопонимания марксизма, другие продолжали дальше каяться и обвиняли себя уже в таких грехах, о коих не могли помыслить даже их честные и принципиальные коллеги по кафедре.

Но и искренних, и неискренних ждала одна и та же развязка. Последний акт представления обычно происходил за кулисами, и узнавал о них институт из приказов все того же Федора Михайловича Бутова.

Между тем жизнь в институте шла своим чередом, и положительно ничто не могло ее остановить. Казалось, чем более жестоко били космополитов, тем бесшабашнее и веселее были институтские вечера. Точно этим весельем, и звоном бутылок, несущимся из буфета, и грохочущим на все этажи джазом хотели заглушить то, что происходило на ученых советах. На вечерах все были равны: ни космополитов, ни нормативистов, ни «чистых», ни «нечистых».

Молодость не желала ни с чем считаться и брала от жизни свое. Кто только не приходил на вечера в МЮИ — очаровательные инъязочки, какие-то пышноволодые, в длинных пиджаках стилиаги, и совсем еще юные служители и служительницы Мельпомены из Вахтанговского училища и студии МХАТа, и всякий раз — масса евреев, и своих, и пришлых, но больше все-таки своих. Отлично одетые парни, анекдотисты и хохмачи, они приводили с собой лучших девочек и вообще задавали тон этому чудесному, пьяному веселью при полупотушенных канделябрах. И еще в МЮИ был лучший в Москве джаз и лучший ударник Жора Касабов.

Для порядка начинал джаз с «Дунайских волн», но тотчас врывалась бешеная линда и еще какие-то ритмы и, наконец, в разгар вечера — фрейлехс. Тут же выстраивался бешено хлопающий круг, и выплывал из него Валя Ивкер, друг мой и Кленова, главный на курсе хохмач и к тому же наш постоянный конференсье и куплетист. Обняв пальчиками лацканы пиджака и нежно помахивая платочком, он шел, как король, сверкая белками глаз и улыбаясь прекрасной, блаженной улыбкой всем стоящим в круге.

Через секунду выходила его королева, такая же некрасивая, пучеглазая, как Валерка, и, вскинув вверх такой же батистовый платочек, шла следом за ним. Из джаза вдруг выскакивал Жора Касабов и, косолапя своими короткими ножками, тоже шел вдоль круга. А вокруг бешено дубасили ладонями, и я чувствовал, как весь с ног до головы наполняюсь этим сумасшедшим весельем. Все неприятности: космополиты, ученые советы, Бутов, — все отступало перед этим буйным восторгом от звуков фрейлехса. которые невозможно передать словами. Если в природе существует голос крови, то, мне кажется, именно в эти мгновения я слышал его.

Я много думал над тем, что отличает еврея от нееврея. Вероятно, многое. Но среди этого многого не стоит ли на первом месте особый и вечно неунывающий дух, без ко-

того трудно представить еврейский национальный характер.

Спустя много лет после окончания института я в качестве корреспондента журнала «Советские профсоюзы» приехал в Биробиджан. Появились мы там в премерзкий дождливый день, и от этого деревянный, стоящий на болоте город, казался еще более неприглядным. Проехали из Хабаровска на машине километров 200 и после длинной и утомительной дороги завернули в небольшую вареничную. По виду это была одна из тех обычных забегаловок, которые существуют на окраине любого города и куда люди заглядывают лишь от нужды.

На раздаче стояла седовласая курносая толстуха и, ловко орудуя быстрыми, рыхлыми руками, наполняла тарелки. С лица ее не сходила веселая, лукавая улыбка. «Симпатичная какая хохлушка! — подумал я. — И в какую тьмутаркань забралась!»

И тут она открыла рот: «С чем тебе положить, с чем? С вареньем? С ума сошел! Возьми со сметанкой, сметанка просто объеденье. Чтоб я так жила, если пожалеешь...»

Через несколько минут я уже знал, что ее зовут тетя Рахилия. Ее мучила одышка, и она, по-видимому, страдала астмой. Но рыхлое, доброе лицо тети Рахилии не переставало улыбаться. О, какая это была улыбка! Я взял вареники, и она вдруг залилась глубоким, лающим кашлем, который долго не проходил. Наконец ей стало легче, и, заметив, как я за обе щеки уписываю вареники со сметаной, она вытерла платком рот и торжественно взглянула на меня:

«Ну, что, это можно кушать или нельзя? По-моему, можно, а этот мишигинер взял с вареньем — так пусть ему будет хуже...»

По крыше барабанил дождь. В окно было муторно глянуть. Неужто люди могли жить в этих местах? Оказывается, могли, и эта старая астматичка тетя Рахилия, неведомо когда и как попавшая на эти топи, пекла себе вареники со сметаной и радовалась жизни.

А тогда я сидел в актовом зале МЮИ и думал: «Неужто не найдется такой, кто взбунтуется и плюнет своим мучителям в физиономию?» Нашелся! Все тот же Георгий Семенович Гурвич, великий правовед и великий женоненавистник...

Настал день, когда он как безродный космополит должен был предстать перед ученым советом. Слух об этом пронесся по институту мгновенно, и в актовый зал невозможно было пробиться. В качестве «честного и принципиального» коллеги Гурвича по кафедре выступал недавно окончивший аспирантуру доцент Судариков, который тут же умудрился отмежеваться от своего научного руководителя профессора Стальгевича. И не только отмежеваться, но и обрушиться на него с сокрушительной критикой. Закончил Судариков довольно странным заявлением. «В зале собралась масса студентов, чтобы устроить овацию профессору Гурвичу. Так надо им разъяснить, какой вред советской правовой науке нанес этот космополит и псевдоученый».

Позже ходили слухи, что Гурвич разгромил ученый совет, сравнял с землей антисемита Бутова. Ничего подобного не произошло. Просто этот желчный, гордый старик в свои 65 лет не смалодушничал и остался самим собой даже перед лицом гражданской смерти (так что у «закона Кестлера», по-видимому, есть свои исключения).

«Тут доцент Судагиков заявил, что меня явились пгиветствовать студенты, — начал он, поднявшись на сцену и не снимая, как обычно, пальто, — никогда не думал, что являюсь кумигом студентов. Доцент Судагиков, как всегда, понял что-то наобогот. Ведь понимал же он наобогот в течение десяти лет своего учителя безгодного космополита Стальгевича».

Зал оживился. Проснувшийся Бутов загремел стеклянной пробкой по графину. Было ясно, что Гурвич не расположен каяться. Все с той же саркастической усмешкой он долго перечислял инкриминируемые ему обвинения и даже

вспомнил свой образ насчет «двух рук», которые Судари-ков квалифицировал как лживое умиление двухпартийной системой. Когда говорил, то смотрел не на Бутова, как прочие, а куда-то в зал, поверх голов, и называл его не Федором Михайловичем, как прочие, а в третьем лице — директор Бутов. Тот, разумеется, не выдержал и оборвал его:

«Что вы там морочите голову: буржуазная демократия, две руки, голова... Где у вас классовый подход? Скажите прямо, что не знаете истории партии!»

— Да, конечно, — улыбался Гурвич, — я не знаю истогию пагтии. Дигектог Бутов знает ее и потому не сегодня-завт-га станет кгупным ученым, а я, как невежда, уйду восво-яси. Что ж, пожелаем дигектогу Бутову успехов на твог-ческом попгище...»

Назавтра профессора Гурвича сняли с работы и исклю-чили из партии, а еще через несколько лет он умер, безвестный и забытый всеми, создатель первой советской конституции.

ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

ПОКИНУТАЯ РОССИЯ. ЖУРНАЛИСТ В ЗАКРЫТОМ ОБЩЕСТВЕ

Второе издание книги Виктора Перельмана, которая в 1976 году вышла очень маленьким тиражом в Изра-иле, полностью раскуплена и уже давно исчезла с кни-жного рынка. Книга выходит в новой редакции, с пре-дисловием Ефима Эткинда и послесловием автора. Автор книги, главный редактор журнала «Время и мы» и в прошлом известный советский журналист, рассказывает о своей жизни в СССР. Бывший корреспондент Московского радио, фельетонист газеты «Труд», спецкор и заведующий отделом информации «Литературной газеты» пишет о нра-вах советской печати, раскрывает малоизвестную широкому читателю кухню советских газет и руководящего ими пар-тийного аппарата.

Значительная часть книги посвящается жизни советских писателей и «Литературной газеты», которую автор называет «Гайд-парком при социализме». Он рисует образы известных советских писателей и журна-листов — Александра Маковского, Константина Федина, Сергея Михал-кова, Леонида Соболева, Федора Абрамова, Алексея Аджубея и многих других. В книге рассказывается о нравах высшего суда партии — Коми-тета партийного контроля, — через который в годы молодости лично прошел автор книги. Он раскрывает процветавший там антисемитизм, рисует образ одного из тогдашних вождей страны, председателя КПК Н.М.Шверника, показывает обстановку ненависти и лжи, царившую в высшем суде партии.

По существу это — исповедь бывшего советс-кого журналиста, который много лет служил, как он сам пишет, идолам лжи и который прошел долгий путь мучительного раздвоения и внутренней борьбы, преж-де, чем окончательно порвал с советским режимом.

**В книге 320 страниц, цена книги — \$18, по предвари-ельным заказам — \$15. Заказы и чеки высылать по даресу:
Time and We, 409 High wood Avenue, Leonia, N.J. 07605.**



ОН САМ СТРОГИЙ СУДЬЯ СВОЕМУ ИСКУССТВУ

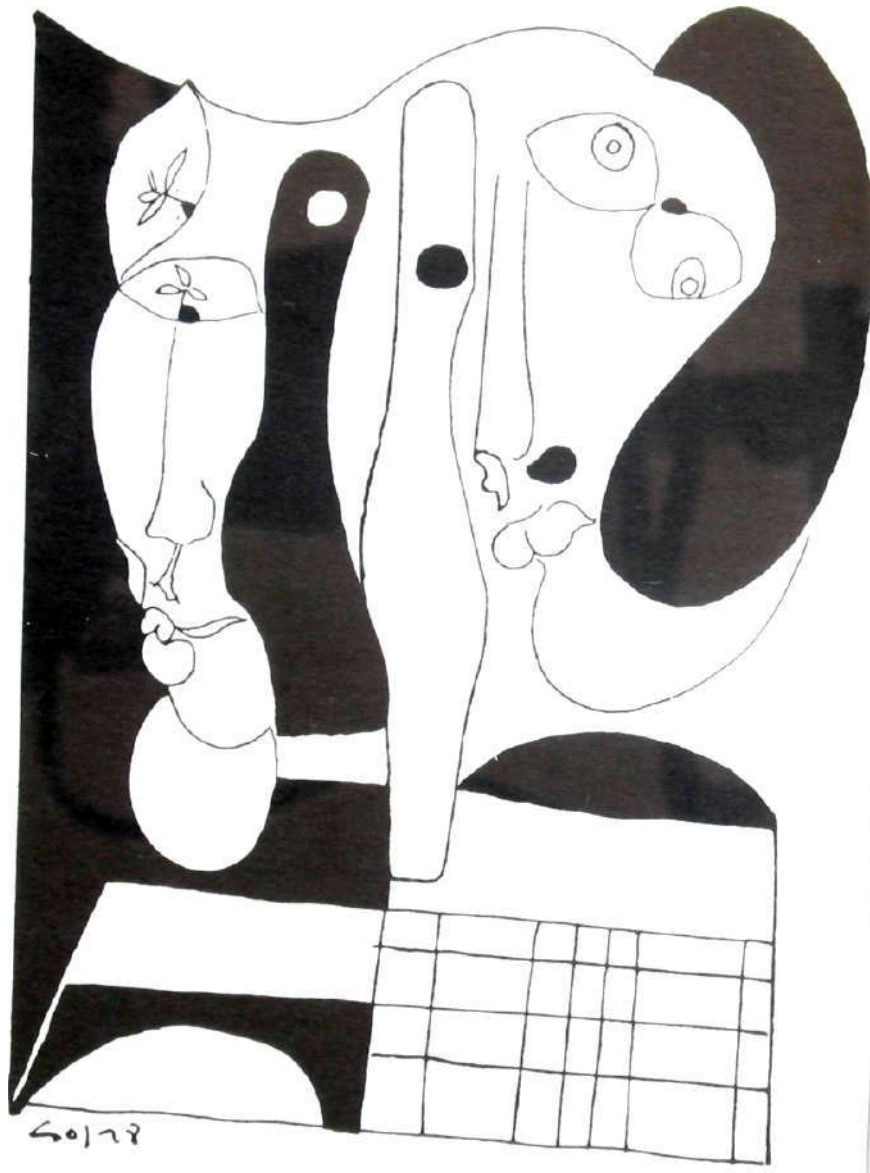
Так что же все-таки главное в этом живописце? Думаю, что по своему на этот вопрос пытаются ответить многие критики. И пишут они о манере художника, его стиле, его видении мира, его красках, но как часто, прочитав все это, мы так и остаемся в неведении, что же за живописец перед нами. Все как будто знаем. Все и ничего. Вот почему эссе о Соломоне Шукмане я начинаю с того, что он не прост для понимания, не из тех он, на чью работу достаточно взглянуть и преисполниться восторгом. Что-то, конечно, можно объяснить стилем художника, чьи работы выполнены в духе экспрессионизма. Это значит, что их автор прежде всего пытается выразить себя, свои переживания, настроение и видение мира. Но сказать только это — почти ничего не сказать о художнике. Мало ли современных живописцев пишут о своих переживаниях и именуют себя экспрессионистами и при этом не вызывают у нас ни страстей, ни эмоций, ничего, кроме холодного любопытства.

Когда я смотрю на работы Шукмана, меня прежде всего поражает полет и причудливость его фантазии. И еще более его индивидуальность. Критики, вероятно, без особого труда определят, к какой он принадлежит школе, к кому из современных мастеров наиболее близок. Для меня же он не похож ни на кого. Что-то мне у него

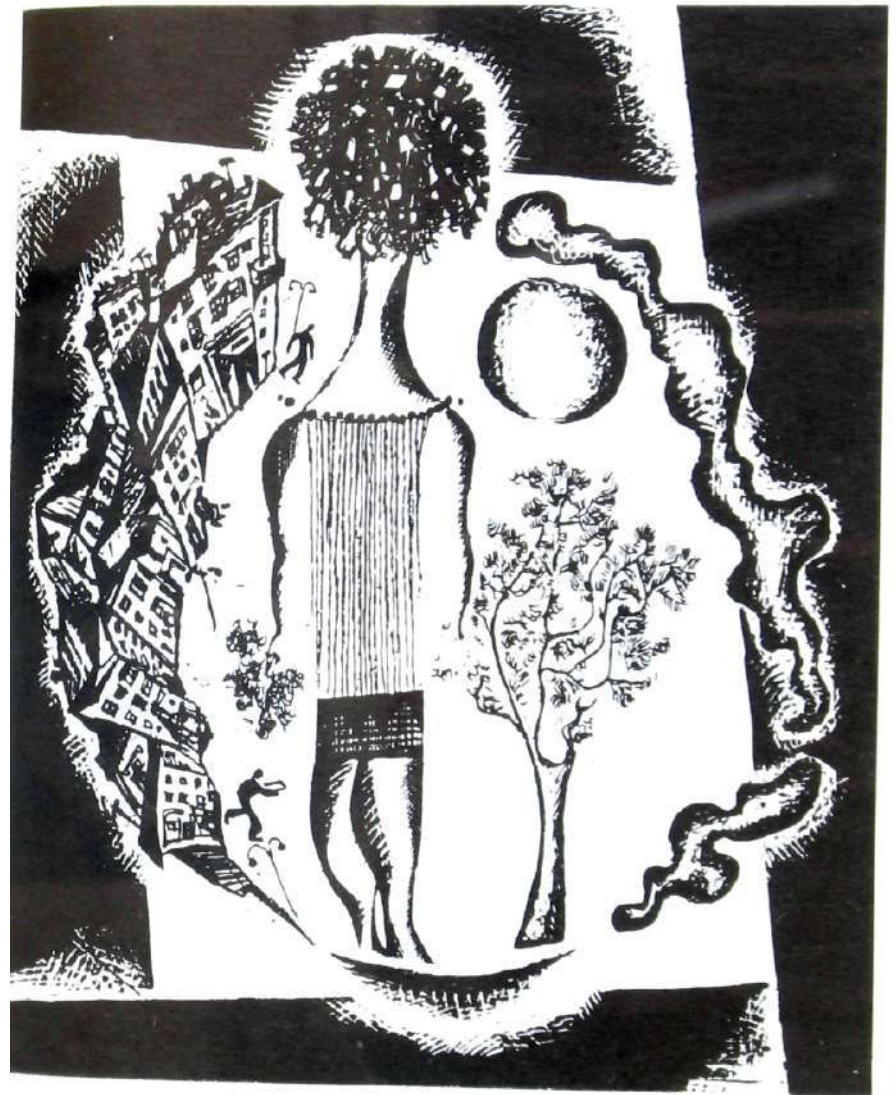
нравится больше, что-то меньше, что-то вызывает спор, но в любой из работ он непременно самобытен, спонтанен, непредсказуем. Взгляните на его рисунки последних лет: «Признание», «Ночной разговор», «Мечта», «Разлука», «Одиночество»... Или, скажем, на серию литографий: «Радость», «Улица, люди», «Проблемы», «Черное и белое», «Две женщины»... — в каждой из этих работ, да и во множестве других, Шукман не просто выражает себя, но выражает совершенно по-особому, вглядываясь не во внешний, а в свой внутренний мир и находя в нем истоки для вдохновения. И что, может быть, еще важнее — истоки своего настроения. Шукман — художник настроения. Заметьте: почти всегда он или грустит, или улыбается, или мечтает, или иронизирует и всегда... фантазирует. И вместе с ним грустим, улыбаемся, мечтаем, иронизируем и, конечно, фантазируем мы, его зрители. Он с поразительным мастерством делает из нас своих соавторов, а что может быть дороже для мастера, чем это?

Вот уж сколько я написал, и ни слова о биографии художника. Сознаюсь, сделал это намеренно, ибо многое в его жизни просто не понять, не познакомившись с тем, что он делает в искусстве. Не понять даже зачем ему надо было уезжать из России, где он достиг всего: широкого признания, положения в обществе, был он один из маститых членов Союза художников. Но остается все, и в 1974 году Шукман с семьей появляется в Соединенных Штатах, в Денвере, чтобы начать, в сущности, все с начала. Почему уехал? Достаточно представить, что делал он в искусстве, чтобы ответить на этот вопрос: не нужен, вреден был он казенному советскому искусству, и оно, это искусство, именуемое искусством социалистического реализма, естественно, стало тормозом для него. Несмотря на все свое признание, он уже там, в СССР, был не советским, а скорее западным живописцем и, приехав в Америку, окунулся в свою стихию. Этой его стихией была свобода, свобода искать, фантазировать и, что превыше всего, выражать свой внутренний мир. Без этой стихии не может быть художника. Без нее, думаю, не было бы и сегодняшнего Соломона Шукмана. участника многих американских и международных выставок, которому как большому мастеру отдают должное американские критики, энциклопедии, художественные справочники, но которому самый строгий и взыскательный судья он сам.

В. ПЕТРОВСКИЙ



«Двое», рисунок.



«Одиночество», рисунок.



«Радость», литография.



«Улица, люди», литография.



«Двое», литография.



«Две женщины», литография.



«Смог», литография.



«Письма», литография.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ФРИДРИХ ГОРЕНШТЕЙН — родился в 1932 году в Киеве, окончил сценарные курсы. В 1971 году по сценарию Фридриха Горенштейна Андрей Тарковский снял фильм «Солярис». По сценариям Фридриха Горенштейна поставлено восемь фильмов, в том числе три телевизионных. Однако ни одного прозаического произведения после 1962 года в России опубликовано не было. С 70-х годов Горенштейн начинает систематически публиковаться на Западе. В журнале «Время и мы» были опубликованы его повесть «Искушение» (№42), пьеса «Бердичев» (№50), повесть «Шампанское с желчью» (№92) и другие произведения. В настоящее время живет в Западном Берлине. В издательстве «Страна и мир» вышла книга Ф. Горенштейна «Псалом».

СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ — журналист и писатель. Родился в 1941 году в Ленинграде. С 1962 года стал писать прозаические вещи. В 1973 году, по распоряжению КГБ, была остановлена публикация его книги рассказов «Пять углов». За публикации своих книг на Западе подвергался преследованиям со стороны властей. Эмигрировал на Запад в 1979 году. Публиковался во многих газетах и журналах русского Зарубежья. Выпустил более десятка книг, четыре из которых переведены на несколько европейских языков. Лауреат премии американского ПЕН-клуба за лучший рассказ 1986 года. Первые рассказы Довлатова были опубликованы в журнале «Время и мы» в 1977 году.

МАКСИМ ШРАЕР — родился в 1967 году. После окончания средней школы поступил в МГУ, на факультет почвоведения, где проучился до самого отъезда, в 1987 году. В СССР не печатался. Живет в Провиденсе (Род Айленд). В 167 номере «Нового журнала» была опубликована подборка его стихов. В мае 1989 года заканчивает Брауновский университет.

ЛАРИСА МИЛЛЕР — см. вступительную заметку к подборке ее стихов.

ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ — писатель и журналист. Родился в 1933 году в Москве, окончил историко-филологический факультет Педагогического института. Работал зав. отделом науки газеты «Московский комсомолец». В СССР был членом Союза писателей, автор нескольких книг прозы и двух педагогических монографий. В 1977 году возбудил ходатайство об эмиграции, но разрешение на выезд получил только в 1987 году. Сейчас живет в Техасе и работает профессором Техасского университета. В издательстве Оверсис вышла книга Ю. Дружникова «Вознесение Павлика Морозова».

БЕЛЛА ДИЖУР — Большую часть жизни провела на Урале, в Свердловске, в с 1921 по 1928 годы жила в Ленинграде, где окончила химико-биологический факультет Педагогического института имени Герцена. Вернувшись на Урал, преподавала в медицинском институте биологию и вела исследовательскую работу. Выпустила ряд книг научно-художественного жанра для детей. Некоторые из них переведены в Германии, Польше и Японии. Выпустила три сборника стихов. За поэму «Янош Корчак» в Германии получила звание лауреата Корчаковской премии. С 1987 года живет в Нью-Йорке.

АЛЕКСАНДР ЯНОВ — историк и писатель. Родился в 1930 году. В 1953 — окончил исторический факультет Московского университета. В 1970 году защитил диссертацию «Славянофилы и Константин Леонтьев». В СССР печатался в «Вопросах литературы», «Новом мире», «Вопросах философии», «Литературной газете» и др. изданиях. В 1974 году эмигрировал в США. Автор шести книг, вышедших на нескольких европейских языках. Читал курсы советской политики и русской истории в крупнейших университетах США. В настоящее время — профессор политических наук Нью-Йоркского университета.

ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ — родился в 1926 году. Окончил Киевский университет в 1949 году и Московский статистический институт в 1950 году. Работал в Новосибирском университете, а затем в институте социологических исследований в Москве. В настоящее время профессор Мичиганского университета. Автор многих книг в области социологии. Постоянно выступает в американских газетах и журналах, а также по телевидению.

ЕЛЕНА ГЕССЕН — окончила институт иностранных языков, работала в Московской информационной библиотеке. Переводчик и публицист. Эмигрировала в США в 1980 году. Систематически печатается в русских зарубежных газетах и журналах.

БЕЛЛА ЕЗЕРСКАЯ — родилась и жила до эмиграции в Одессе. В 1952 году окончила филологический факультет Одесского университета. В СССР печататься начала в 1959 году, около десяти лет была внештатным сотрудником журнала «Театр». Систематически печатается в русских зарубежных журналах, а также сотрудничает в американском журнале «Интервью». В 1982 году вышла книга Беллы Езерской «Мастера», в 1987 году Б.Езерская закончила Хантер Колледж (Нью-Йорк) и получила степень магистра искусств.

РАДИЙ РАЙХЛИН — родился в 1929 году в Москве. Окончил Высшее военно-морское училище связи, кандидат технических наук. С 1970 года публикуется в Самиздате. В 1973 году эмигрировал в Израиль. Печатается в русскоязычной прессе. Живет в Хайфе. В журнале «Время и мы» публикуется впервые.

СОЛОМОН ЦИРЮЛЬНИКОВ — см. журнал «Время и мы» №96.

ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН — издатель и главный редактор журнала «Время и мы». Родился в 1929 году. Окончил Московский юридический институт и факультет журналистики Московского полиграфического института. Был корреспондентом Московского радио, фельетонистом «Труда», редактором социально-экономического отдела «Советских профсоюзов», спецкорром и завотделом «Литературной газеты». В 1973 году эмигрировал в Израиль. На Западе выступал в газетах «Нью-Йорк Таймс», «Стампа», «Фиера Летеррариа» (Италия), «Давар», «Едиот Ахронот» (Израиль) и др. В 1975 году основал журнал «Время и мы», который с 1981 года выходит в США. Автор книг «Покинутая Россия», удостоенной второй премии Иерусалимского университета, и «Театр абсурда».

Summary for the 102nd issue of "Vremya f My" ("Time and We")

FRIEDRICH GORENSHTEIN, "The Place". A second excerpt from the novel by the well-known emigre writer. (The first appeared in No. 100 issue.) The novel is about the fate of a young social and political misfit in the USSR. This excerpt shows the hero first in the company of Soviet liberals and then in the midst of Russian chauvinists but cannot find himself among either.

SERGEI DOVLATOV, "Life is Short". A psychological story by the famous emigre writer.

MAKSIM SHRAER, "The Long Nose". A controversial story about Soviet emigres in Vienna and in Rome.

LARISA MILLER, "In All the Simplicity of Court Reports". A selection of poems received through the Samizdat network.

YURI DRUZHNIKOV, "A Closed Circle". Political poetry.

BELLA DIZHOUR, "We Are Rusty Leaves". Lyrical poetry.

ALEXANDER YANOV, "A Word of Praise for Heresy". The well-known emigre historian and writer talks about the need to bolster the current Soviet *perestroika* (restructuring) with restructuring of the U.S. foreign policy with regard to the Soviet Union.

FILIMONOV, "The Kingdom of Distorted Mirrors". This article, received through the Samizdat network, deals with the way Soviet society warps many social and moral notions, and the impact of this process on the lives and the moral standards of Soviet people.

VLADIMIR SHLYAPENTOKH, "Stalin, Simonov and Others". The author, a professor at Michigan State University, analyzes the late-life memoirs of the once-famous Soviet writer Konstantin Simonov, focusing on the relationship between power and literature — in this case, between Stalin and Soviet writers.

HELENA HESSEN, "Soviet Theater in the Era of Perestroika". An emigre journalist back from a visit to Moscow writes about Moscow theaters under Gorbachev's perestroika.

BELLA EZERSKY, "A Saga of Moscow Prostitutes". A critical essay on the Leningrad Drama Theater's production of "Stars in the Morning Sky".

RADIY RAIKHLIN, "Will Israel Exist Until 2000".

SOLOMON ZIRULNIKOV, "A Libellous Lampoon Against the Israel Left Instead of Thoughtful Analysis".
The above two authors discuss the political life of Israel.

ILYA LUKIN, "Andropov's Double Gambit". An essay, received through the Samizdat network, analyzing Andropov's rise to power in the Soviet Union.

VIKTOR PERELMAN, "Moscow Law School". An excerpt from the second edition of "The Russia I Left: A Journalist in a Closed Society", a book that won the University of Jerusalem second prize.

ГЛУБОКАЯ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ СОТРУДНИКАМ ЖУРНАЛА «ВРЕМЯ И МЫ»

В связи с выходом сотого номера журнала «Время и мы» редакция выражает глубокую признательность его сотрудникам, принимавшим участие в работе редакции в разные годы; Доре Штурман (Израиль), Ефиму Эткинду (Франция), Рите Шифриной (Израиль), Асе Куник (США), Борису Орлову (Израиль), Георгию Бену (Англия), Эдуарду Штейну (США), Льву Ларскому (Израиль), Наталии Ларской (Израиль), Марии Голубевой-Мазиной (Израиль), Даниэлю Мазину (Израиль), Рае Гуревич-Вайман (США), Мордехаю Квашу (Израиль), Соломону Цирюльникову (Израиль), Лотару Роллу (Западный Берлин), Алле Перельман-Дубровиной (США), Алле Маневич (США).

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОМОЩЬ ЖУРНАЛУ

Редакция журнала «Время и мы» сердечно благодарит подписчиков и читателей, оказавших экономическую поддержку нашему журналу. Свои взносы в «ФОНД СОТОГО НОМЕРА» прислали: И. Вовк (США) — \$200, А. Виленкин (США) — \$150, А. Финкель (ФРГ) — \$100, С. Харунс (Канада) — \$100, С. Шукман (США) — \$100, И. Черняк (США) — \$100, Ян Гутман и Пьер Шенкман (фирма «Алиса Серджиал», США) — \$100, С. Цитрблат (Париж) — \$60, П. Дианова (США) — \$50, Э. Джодидио (США) — \$50, Е. Аш (США) — \$50, А. Хенкин (США) — \$50, А. Козушин (США) — \$50, И. Чиннов (США) — \$50, А. Туманова (Канада) — \$50, Рубина Шмер (США) — \$50, Р. Гудман (США) — \$50, М. Аллен (Канада) — \$50, Марина Меламед (Западный Берлин) — \$50, В. Райтис

(США) — \$50, Л. Хаялис (США) — \$50, Л. Новик (США) — \$50, Г. Вильдгрубе (США) — \$45, М. Шемякин (США) — \$45, Д. Черток (США) — \$30, И. Фастовский (США) — \$30, В. Краймер (США) — \$25, Джон Керри (США) — \$25, Л. Гурарий (США) — \$25, В. Ясновский (США) — \$25, В. Лемпорт (США) — \$25, О. Марута (США) — \$20, В. Годьяк (США) — \$20, Ногид Изелина (США) — \$15, Л. Мицнер (Израиль) — 100 шекелей. Поступление взносов в «ФОНД 100 НОМЕРА» продолжается. Как мы уже отмечали, экономическую помощь журналу редакция рассматривает как важное общественное и культурное дело, способствующее дальнейшему развитию нашего издания в сложных условиях эмиграции. Редакция высоко ценит эту поддержку. Мы будем и в дальнейшем отмечать на наших страницах всех, кто считает необходимым помогать журналу «Время и мы».

А. И. РУБИН

ФИЛОСОФСКИЙ ДНЕВНИК. КАНТ И МАРКС.

Издательство «Кахоль-Лаван», **Иерусалим, 1988**

160 стр. Цена — 5 долларов с пересылкой.

Автор (1888-1961) был философом и большим знатоком русской литературы, однако работы его не могли быть напечатаны в Советском Союзе, поскольку его взгляды не укладывались в рамки советской идеологии.

В книге опубликованы философские размышления, найденные после смерти автора в его дневнике.

Статья «Кант и Маркс» была напечатана в Израиле в переводе на иврит в 1971 году.

Заказы направлять по адресу:

I. Rubin, Gilo 62/15. Jerusalem 93756. Israel.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ В СВЯЗИ С ВЫХОДОМ СОТОГО НОМЕРА

Главному редактору журнала «Время и мы»
Виктору Перельману

Я хотел бы поздравить Вас и редколлегию «Время и мы» с выходом сотого номера журнала, который я считаю одним из наиболее интересных журналов, способствующих развитию русской литературы и советологии. Это большое достижение успешно развиваться в течение столь долгого периода времени. Я уверен, что журнал «Время и мы» доживет до 200 и даже своего трехсотого номера.

*Петер Реддавей,
директор института Кенана, Вашингтон*

Уважаемый г-н редактор!

Ваш юбилей — выход сотого номера журнала — совпал с небольшим юбилеем нашей семьи: исполнился ровно год со дня нашего выезда из СССР после восьмилетнего отъезда. Знакомство с Вашим журналом, конечно, очень эпизодическое и поверхностное, началось у нас еще в Ленинграде. Здесь же, работая в библиотеке, я получила возможность прочитать всю Вашу подписку от корки до корки. Высокий профессионализм авторов, интереснейшая подборка тем, корректное отношение к критическим замечаниям в адрес журнала, а также освещение различных точек зрения — все это, мне кажется, выгодно отличает вас от многих других русскоязычных изданий Зарубежья.

Мне не хочется сейчас давать конкретных оценок, но все-таки приятно отметить отличные статьи Доры Штурман и Ефима Эткинда, письма В.Шляпентоха, прозу Вас. Аксенова, А.Галича, стихи И.Губермана и Инны Лисянской. И, конечно, острое публицистическое перо самого Виктора Перельмана.

Что этот журнал есть для нас? Мы, ленинградцы, не были полностью отгорожены от бесцензурной литературы. Но информации доступной нам не хватало, чтобы иметь объективное представление о русской литературе Зарубежья. Кроме того, возникшее недоверие к одним, отечественным, писателям автоматом переходило и на других, эмигрантских. Вот и составилось мнение об угасании и полной незначительности современной русской литературы. Благодаря же Вашему журналу, мы несколько заполнили вакантные литературные места. Вот за эту реабилитацию для нас русской литературы и хочется пожелать Вам многих удачных будущих выпусков.

*Алла Котлер
Цинциннати*

Дорогой Виктор!

Примите мои искренние поздравления с юбилеем вашего журнала, устоявшего в наши быстротечные времена и помеченного сотым, вековым номером. Причастность к вашему журналу мне всегда памятна.

*Искренне Ваш,
Андрей Назаров, Дания*

Уважаемый Виктор Перельман!

Желаю Вам лично и журналу успеха и долголетия: Вам до 120, а ему до 200 для начала, а там можно будет и добавить.

*С уважением С. Натис,
Нью-Йорк*

Дорогой Виктор Борисович!

Посылаем Вам поддержку не по долгу, а по большому желанию. На нашем языке бизнесменов это называется купить удовольствие. Мы ведь не только торгуем и делаем бизнес, но еще и читаем. И детей наших во все вре-

мена старались выучить на доктора, или, в крайнем случае на инженера. А трамвай — это вам не ишак, хороший журнал держать труднее, чем компанию «Форд». Поэтому и преклоняется коллектив «Алиса Сарджикал» перед вашей титанических усилий деятельностью. Ваш труд только внешне похож на сизифов — результаты разные.

Обнимаем, берегите себя и журнал
Ян Гутман,
Филадельфия

Многоуважаемый г-н Перельман!

Поздравляю Вас и всех Ваших сотрудников со знаменательным юбилеем — выпуском сотого номера журнала «Время и мы». Сто выпусков журнала — это огромное дело. Но дело не в количестве, а в качестве! «Время и мы» заслуживает такого юбилея, как и дальнейших успехов, до удвоения цифры сто. С пожеланием всех благ и успехов,

Ваш Олег Марута,
Калифорния

Поздравляем главного редактора, «многочисленную» редакцию и редколлегию с замечательным юбилеем — выходом сотого номера журнала «Время и мы». Пожелания наши скромные — надеемся держать в руках 200-й номер журнала.

Суважением к вам и вашему труду
Алла и Александр Тумановы
Канада

Дорогой Виктор Борисович!

От всей души поздравляю Вас с замечательной «сотней». Будьте здоровы и постарайтесь так держать.

Ваш Иосиф Черняк,
Миддл Вилледж, Нью-Йорк
P.S. Огромное спасибо за «Место» и за весь сотый номер.

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА "АНТИКВАРИАТ"

- И. АКСЕНОВ. Пикассо и окрестности.* — 12 долларов.
М. БАХТИН. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и ренессанса. — 36 долларов.
А. БЕЛЫЙ. Христос воскрес. — 5 долларов.
К. ВАГИНОВ. Труды и дни Свистонова. — 10 долларов.
Е. ДУМБАДЗЕ. На службе Чека и Коминтерна. — 10 долларов.
П.П. ЗАВАРЗИН. Работа тайной полиции. — 10 долларов.
А. КОТОМКИН. О чехословацких легионерах в Сибири.
— 10 долларов.
П.Н. КРУПЕНСКИЙ. Тайна императора. — 7 долларов.
В.И. ЛЕБЕДЕВ. Борьба русской демократии против большевиков. — 12 долларов.
И. РЕЗНИКОВА. Пушкин и Собоньская. — 5 долларов.
А. РЕМИЗОВ. Пляс Иродиады. — 12 долларов.
И. СЕВЕРЯНИН. Колокола собора чувств. — 5 долларов.
В. ШКЛОВСКИЙ. Ход коня. — 12 долларов.
В. ШКЛОВСКИЙ. Гамбургский счет. — 15 долларов.
В. ШКЛОВСКИЙ. Сентиментальное путешествие.
— 20 долларов.
В. ШКЛОВСКИЙ. Техника писательского ремесла.
— 10 долларов.
Э. и О. ШТЕЙН (составители). Чтобы Польша была Польшей.
— 9 долларов.

Готовится к печати:
В. КРЕЙД (составитель и автор комментариев). Георгий Иванов — Несобранное. Ориентировочная цена — 25 долларов.

Деньги и чеки присылать по адресу:

E.SZTEIN'S ANTIQUARY

594 Chestnut Ridge Rd.

Orange, CT 06477, USA.

ТАМАРА МАЙСКАЯ «КОРАБЛЬ ЛЮБВИ»

Второй сборник произведений Тамары Майской. Первый «Погибшая в тылу», киносценарии и пьесы вышел в США в 1984 г. Рассказы и статьи Т. Майской регулярно печатаются в русскоязычной прессе США, а также в переводах на английском языке.

Книга состоит из трех частей.

1. БРАК БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ — рассказы, написанные автором еще в Советском Союзе подпольно.

«Т. Майская изображает советскую жизнь правдиво, без прикрас, с глубоким пониманием того, что видела и выстрадала» (А. Андреев «Новое русское слово»).

«Она приподнимает завесы над многими сторонами советского общества. Автор ставит в своих произведениях общечеловеческие проблемы» (Майкл Эндрюз, д-р наук, проф. русского языка и литературы).

2. АННУЛИРОВАННОЕ ДЕЙСТВИЕ — автор на основе личного опыта — преподавателя русского языка для иностранцев в СССР — показывает психологию советского человека, вынужденного вести двойную жизнь: думать одно, а вслух говорить другое.

«Аннулированное действие» — проза, написанная в современной исповедальной форме.

3. КОРАБЛЬ ЛЮБВИ — рассказы, написанные автором в США. Русский читатель-эмигрант найдет в них яркое описание своих переживаний: трудности первых лет жизни в чужой стране, заботы и радости... сбывшиеся и несбывшиеся мечты...

Выходит в издательстве «Время и мы».

Объем книги 321 стр. Цена 12 долларов.

Заказы и чеки посылайте по адресу:

Tamara Mayskaya
11501 Mayfield Rd., No. 306
Cleveland, OH 44106, USA

Владимир СОЛОВЬЕВ, Елена КЛЕПИКОВА БОРЬБА В КРЕМЛЕ — ОТ АНДРОПОВА ДО ГОРБАЧЕВА

Вслед за американским изданием (издательство "Додд, Мид"), весной 1986 года "Время и мы" выпустило книгу Владимира Соловьева и Елены Клепиковой "Борьба в Кремле — от Андропова до Горбачева".

Для русского издания авторы предоставили дополнительные материалы, не вошедшие в английское издание книги.

Авторы — журналисты и политологи, постоянно выступают во многих американских газетах ("Нью-Йорк Таймс", "Вашингтон Пост", "Дейли Ньюс", "Чикаго Трибюн" и др.). Их перу принадлежит вышедшая в издательстве "Макмиллан" и широко нашумевшая книга "Андропов".

СОДЕРЖАНИЕ

**ПРЕДЕЛЫ ПОНИМАНИЯ ЧТО МИР ЗНАЕТ О КРЕМЛЕ И ЧТО
КРЕМЛЬ — О МИРЕ**
**О ТОМ КАК СТРАНА УПРАВЛЯЛАСЬ СО СМЕРТНОГО ОДРА
ДУЭЛЬ У ГРОБА АНДРОПОВА, ИЛИ О ТОМ, ЧТО ПРОИЗОШЛО
В КРЕМЛЕ ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ МЕЖДУ ЕГО СМЕРТЬЮ И ЕГО
ПОХОРОНАМИ**
ИНТЕРМЕЦЦО С КОНСТАНТИНОМ ЧЕРНЕНКО
ТАЙНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ИМПЕРИИ — КГБ
ГАМЛЕТОВЫ СОМНЕНИЯ КРЕМЛЯ: КАК БЫТЬ С ПОЛЬШЕЙ
ПРОИСХОЖДЕНИЕ КРЕМЛЕВСКИХ МАФИЙ, ИЛИ ПОЧЕМУ
В КРЕМЛЕ НЕТ ЕВРЕЕВ, ЖЕНЩИН, МОСКВИЧЕЙ И ВОЕННЫХ?
КОРОЛЬ УМЕР — ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ!
ЗНАКОМЬТЕСЬ: МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
ВОЗВРАЩЕНИЕ В СТАВРОПОЛЬСКИЕ ПЕНАТЫ
БАЛОВЕНЬ ПОЛИТБЮРО
ТЕНЬ СТАЛИНА НАД КРЕМЛЕМ
КРЕМЛЬ, ИМПЕРИЯ И НАРОД, ИЛИ ПАРАДОКС НАРОДОВЛАСТИЯ
Цена книги — 16 долларов.

Заказы и чеки высылайте по адресу:

Time and We
409 High wood Avenue
Leonia, NJ 07605, USA

ФОНД 100 НОМЕРА ЖУРНАЛА «ВРЕМЯ И МЫ»

В связи с выходом 100 номера журнала «Время и мы» и в целях его дальнейшего развития принято решение основать ФОНД 100 НОМЕРА ЖУРНАЛА «ВРЕМЯ И МЫ».

Журнал «Время и мы» был создан в Израиле в 1975 году и за истекшие 13 лет стал одним из самых авторитетных и популярных русских изданий на Западе. За эти годы в общей сложности было выпущено и разошлось по миру более 150 тысяч экземпляров журнала, из них десятки тысяч ушли по разным каналам в СССР, находя там все новых благодарных читателей.

Но выпустив 100 номеров, редакция считает необходимым со всей откровенностью заявить, что финансовое положение журнала и после 13 лет его существования остается тяжелым. И по сей день каждый его номер создается ценой невероятных усилий, путем огромных затрат средств и интеллектуальной энергии.

Содействие журналу редакция рассматривает как важное общественное дело. Поэтому все, кто внесет средства в ФОНД 100 НОМЕРА, будут отмечены на его страницах.

По договоренности с Координационным центром американских литературных журналов (Coordinating Council of Literary Magazines — CCLM) чеки необходимо выписывать на имя этой организации, с указанием в нижней части чека: «Для поддержки журнала «Время и мы», и высылать в адрес редакции ("Time and We", 409 Highwood Ave., Leonia, New Jersey 07605, USA).

В соответствии с уставом CCLM, все внесенные в ФОНД средства подлежат списанию с налогов.

ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ И МЫ» — 1988

УСТАНОВЛЕННЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Стоимость годовой подписки в США — 55 долларов; с целью экономической поддержки редакции — 60 долларов; для библиотек — 79 долларов.

Цена в розничной продаже — 19 долларов

Подписка оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США, и высылаются по адресу: **"Time and We"**.

409 HIGHWOOD AVENUE, LEONIA, NJ 07605, USA
TEL: (201)592-6155

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Фамилия.....

Имя.....

Адрес.....

Подписной период

Прошу оформить подписку на журнал «Время и мы» на год. высылать с номера.....

Журнал высылать обычной (авиа) почтой по адресу

Подпись

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

MAIN OFFICE:
409 Highwood Avenue, Leonia, NJ 07605
(201)592-6155

**Набор, монтаж и подготовка к печати выполнены
компанией NAME Advertising Co.**

OCR и вычитка — Давид Титиевский, июль 2011 г.
Библиотека Александра Белоусенко

**На первой странице обложки коллаж Вагрича Бахчаняна:
«Сталин, Симонов, Эренбург и Твардовский».**

На четвертой странице обложки: Соломон Шукман «Черное и белое».

